

КАЗУС

1996

Индивидуальное
и уникальное
в истории

*Под редакцией
Ю.Л. Бессмертного
и М.А. Бойцова*

Москва
1997

ББК 63.3 (0)
К 14

Художник
Л.Н. РАБИЧЕВ

ISBN 5-7281-0156-9

© Коллектив авторов, 1997
© Российский государственный
гуманитарный университет, 1997
© Российская академия наук, 1997

- 7 Ю.Л. Бессмертный
Что за "Казус"?

Казус в поведении

- 29 Ю.Л. Бессмертный
Это странное ограбление...
- 41 Ю.П. Малинин
*"И все объаты пламенем
любовным, без помыслов
дурных"*
- 55 О.Е. Кошелева
Побег Воина
- 87 А.И. Куприянов
*"Пагубная страсть"
московского купца*

Казус в политике

- 111 М.А. Бойцов
*"Ребенок и глупец избрш и
короля..."*
- 137 Л.А. Пименова
*Дело об ожерелье Марии
Антуанетты*
- 165 А.В. Ревякин
*Был ли заговор
роялистов?
(Жозеф Кайо и дело
"Аксьон франсэз ")*

- 7 Yu.L. Bessmertny
What is the "Casus" about?

Casus in Behaviour

- 29 Yu.L. Bessmertny
That Strange Robbery...
- 41 Yu.P. Malinin
*"And All Are Buming
in the Flames o/Love,
No Ill Intending..."*
- 55 O.E. Kosheleva
Voin's Escape
- 87 A.I. Kupriyanov
*"The Pemicious Passion"
o/a Moscow Merchant*

Casus in Politics

- 111 M.A. Boitsov
*"The Child and the Foo/
Chose the Юng..."*
- 137 L.A. Pimenova
*The Diamond Necklace
Aifair*
- 165 A.V. Revyakin
*Did 'e Comp/ot des
Panoplies 'Real/y Exist?
(Joseph Cai/laux and
"Action Franraise ")*

*Казус
в праве*

- 199 О.И. Тогоева
*Несостоявшийся
поединок: Уильям Фелтон
против Бертрана
Дюгеклена*
- 213 П.Ю. Уваров
Два брата-адвоката
- 225 О.В. Дмитриева
*Пьянящее вино свободы
(Дело о несостоявшейся
государственной измене
сэра Джона Смита)*

*Казус
в традиции*

- 251 В.И. Райцес
*"Пастушка из Домреми":
генезис и семантика
образа*
- 265 А.А. Котомина
*Маргарита Наваррская:
"Non inferiora secutus"*

*Размышления
о казусе*

- 291 Э. Гренди
Еще раз о микроистории
- 303 Споры
о "Казусе"
- 321 *Summaries*

*Casus
in Law*

- 199 O.I.Togoyeva
*The Duel that Didn't
Take Place: William
Felton vs Bertrand
du Guesclin*
- 213 P.Yu.Uvarov
Two Brothers Barristers
- 225 O.V.Dmitriyeva
*The Heady Wine of
Freedom (The Case of
of Sir John Smith's
Alleged Treason)*

*Casus
in Tradition*

- 251 V.I.Raitses
*"The Shepherdess of
Domremi": The Genesis
and the Semantics of the
Image*
- 265 A.A.Kotomina
*Marguerite de Navarre:
"Non inferiora secutus"*

*Pondering
on Casus*

- 291 Eduardo Grendi
Ripensare /a Microstoria
- 303 *Debates
on "Casus"*
- 321 *Summaries*

Что за "Казус"??

Читатель, взявший в руки этот альманах, вероятно, задумается над его названием. Что вкладывают в него редакторы и авторы? В классической латыни, к которой восходит слово "казус", оно могло обозначать и крах, иконец, и падение, и несчастье ... Мы имеем в виду совсем иной смысл этого слова: случай, происшествие, событие. Именно такое словоупотребление казуса чаще всего можно встретить в современных европейских языках, включая и русский. Каждое из приведенных значений может в свою очередь быть истолковано по-разному: например, случай исключительный, неожиданный или же случай банальный, ординарный: случай как конфуз и случай как образец и т.п. Эта многозначность "казуса" найдет свое отражение в статьях нашего альманаха. Однако она не должна заслонить и то общее, что сближает самые разные "случаи", объединяя их всех под одним понятием.

Это понятие подразумевает при разговоре о прошлом прежде всего нечто конкретное, поддающееся более или менее подробному описанию. Выбирая название для нашего альманаха, мы имели в виду, среди прочего, этот простейший смысл слова "казус". Нам хотелось ответить на легко ощутимую в среде читающей публики потребность увидеть общество прошлого возможно более конкретно. Такое видение естественно предполагает рассказ о самых различных "случаях", наполняющих человеческую жизнь. Выявить их в источниках, говорящих о прошлом, рассмотреть их во всех подробностях, дать читателю возможность почувствовать с их помощью аромат времени - такова ближайшая (хотя и не главная) задача всех наших авторов. Издательское первое объяснение названия нашего альманаха.

Надо ли, однако, говорить, что, если бы мы ограничились простым рассказом о различных казусах, нам грозила бы опасность превратить альманах в собрание исторических анекдотов, быть может забавных, но вряд ли провоцирующих думающего читателя на серьезные размышления. Такого рода *рассказывающая история* уже существовала в прошлом веке. Историк выступал

в ней в роли всезнающего рассказчика, повествующего о днях былых с уверенностью очевидца. Исследователю тогда явно недоставало рефлексии над своеобразием исторических текстов (всегда содержащих некую интерпретацию прошлого авторами этих текстов) и собственной деятельностью. Фиаско этой истории относится еще к началу нашего столетия, когда выяснилась ее ограниченность и недостаточность.

Изучая отдельные казусы, мы стремились учесть не только этот урок. Сознывая сугубо относительную достоверность любого сообщения о прошлом, мы будем интересоваться не только самими казусами, но и обстоятельствами, побудившими составителя исторического памятника избрать ту или иную версию случившегося. Выбор этой версии - тоже "казус", и притом заслуживающий не меньшего внимания, чем самое случившееся: как и любой поступок индивида, избранная автором источника позиция может пролить свет на роль в прошлом действий отдельно взятого человека, уяснить которую нам особенно бы хотелось. (И в этом еще одно объяснение нашего интереса к казусам.)

Выбор человеком конкретной линии своего поведения мог порождать казусы разного типа. В одних "случаях" люди осознанно (или неосознанно) действовали в согласии с принятыми в данной общественной среде правилами, ориентируясь на массовые представления о должном и запретном. Поступки таких людей - это казусы, воплощающие господствующие в обществе стереотипы. Встречались, однако, люди, для которых подобное конформное поведение почему-либо оказывалось невозможным. Одни из них осмеливались пренебрегать обычаями, нарушать законы; другие, наоборот, стремились реализовать в обыденной жизни то, что считалось недостижимым идеалом. Почти всегда тот, кто решался на нестандартный поступок, вступал на трудную тропу. Нередко ему грозило прямое или скрытое осуждение окружающих или даже активное противодействие с их стороны. Казусы этого рода представляют, на мой взгляд, особенный интерес. Кто чаще всего на них решался? Какие обстоятельства могли этому способствовать? Анализ таких казусов смыкается с рассмотрением проблемы, привлекающей интерес многих наших современников, - проблемы возможностей, которые существовали у индивида в разных обществах. Что мог в те или иные периоды прошлого отдельно взятый человек? Могли ли его поступки изменять принятые в обществе поведенческие стереотипы? Доступно ли это для так называемых рядовых людей?..

Анализ подобных вопросов тесно смыкается также с изучением общественного резонанса уникальных и случайных событий. Неординарные поступки отдельных индивидов могли быть среди предпосылок их возникновения. Взрывая рутину, такие поступки именно из-за своей нестандартности привлекали к себе внимание современников и невольно побуждали их задумы-

вався над укоренившейся традицией. Если неординарное поведение какого-либо индивида вызывало подражание других, сложившееся в данном обществе равновесие тенденций могло оказаться под угрозой: возникало "состояние неустойчивости", благоприятствовавшее возникновению тех или иных новых явлений, в том числе и в сфере поведенческих стереотипов. Очевидно, что современный исследователь не может не интересоваться тем, какие условия в разные периоды прошлого способствовали такому резонансу уникальных казусов (включая в их число и нестандартные поступки отдельных индивидов). И в этом еще одно оправдание выбора проблематики нашего альманаха.

Эта проблематика в ряде аспектов отличается от традиционной для последних десятилетий. Едва ли не целое столетие в мировой исторической науке почти неуклонно нарастали тенденции ко все более углубленному анализу больших социальных структур, долговременных процессов, глобальных закономерностей. Историки искали способы формализации исторических данных, чтобы иметь возможность переходить от частных наблюдений ко все более общим. Агрегируя частные показания разных источников, они формировали "серийные" данные, надеясь с их помощью уяснить пути развития целых классов, сословий, больших профессиональных (или производственных) групп. У многих исследователей сложилось убеждение, что подлинная история - это в первую очередь история больших масс, молчаливого большинства, история ведущих тенденций, проливающих себе дорогу сквозь любые частные отклонения, история средних цифр, "среднего человека".

Те же серийные данные легли в основу и такого яркого цветка науки XX в., как история ментальностей. Раскрывая присущие разным обществам модели мира, история ментальностей освещала массовые представления, которыми люди могли руководствоваться в тот или иной период в своих действиях. Однако, выявляя эти общие возможности поведения (или говоря иначе - поведенческий инвариант), ментальные исследования по необходимости ограничивались характеристикой того, что *могло* быть присуще всем вообще, индивидуальные же особенности кого бы то ни было в отдельности оставались нераскрытыми.

До поры до времени недостаточность этого подхода не слишком бросалась в глаза. Еще совсем недавно казалось более чем оправданным вопрошать: «Что вы ищете в истории - уникальное или типическое? Нацелено ваше внимание на выявление неповторимого или же на раскрытие тех понятийных форм, "матриц поведения", "моделей мира", которые таились даже и за этими уникальными цветами культуры?» Ответ на эти вопросы подразумевался сам собою, ибо матрицы поведения казались обладающими несравненно большей познавательной ценностью, чем уникальное.

2

3

4

Я далек от того, чтобы недооценивать подобные подходы к пониманию прошлого. И объясняется это не только тем, что я сам их долгое время разделял и защищал. Вряд ли нужно доказывать, что выявить и уяснить индивидуальное и уникальное можно, лишь зная массовое и стереотипное.

Еще десять лет тому назад Л.М. Баткин в ставшей классической статье "О двух способах изучать культуру" сформулировал принцип "дополнительности" двух методов: социологического анализа массовой деятельности и культурологического анализа индивидуального и субъективного. К сожалению, реализовать этот принцип удалось до сих пор крайне редко. И одна из важнейших причин, на мой взгляд, - в недооценке познавательной ценности нестандартного поведения отдельных людей. Осознанно или неосознанно, в анализе такого поведения обычно видят нечто второстепенное, способное лишь подтвердить противостоящий стандарт. Между тем в исключительных и уникальных казусах может раскрываться нечто гораздо более важное. Речь идет об уяснении *культурной уникальности* времени.

Ее трудно уяснить, ограничиваясь анализом того, что чаще всего встречается. В общепринятом, стандартном поведении немало элементов традиционного, усредненного, даже вневременного. Сквозь них непросто рассмотреть то, что *особенно* как раз для данной эпохи. Иное дело - казус, который позволяет увидеть пусть лишь одного-двух ее современников, но с полнотой, достаточной для осмысления их специфических чаяний и приоритетов. Конечно, это не подменяет анализ господствующих структур и процессов. Но в то же время невиданно приближает к тому Другому, которого стремится рассмотреть в прошлом всякий историк. Более того, создаются предпосылки для *прорыва* в познании культурного универсума исследуемой эпохи: ведь в том "*особенном*", что раскрывается в уникальных казусах данного времени, полнее всего проступает своеобразие исторического мира культуры, в каковом, по выражению Л.М. Баткина, "нет никакого всеобщего, кроме особенного". С этой точки зрения, изучение отдельных казусов, освещающих поступки и действия хотя бы немногих персонажей прошлого, представляется одним из перспективнейших на сегодня инструментов познания прошлого. Нужно ли еще дополнительно оправдывать появление издания, специально посвященного индивидуальному, уникальному и вообще казуальному в истории?

Изучение таких казусов вписывается в относительно новую научную тенденцию к пересмотру сложившихся в XX в. подходов к изучению прошлого. Эта тенденция характерна для нескольких вновь сложившихся - или же переживающих глубокую внутреннюю перестройку - историографических школ. Их работа, несомненно, стимулирует наше начинание. Без осмысления степени нашей близости к этим направлениям в нау-

ке и, наоборот, наших различий обойтись невозможно. Только уяснив эти сходства и различия, удастся раскрыть и своеобразие нашего собственного подхода.

Еще в 1985 г. известный французский историк Мишель Вовель, обозревая развитие исторических штудий в предыдущее десятилетие, писал о назревшей потребности в индивидуализации стереотипов. Отмечая нарастающую неудовлетворенность синтетическими построениями в истории - не только "огрубляющими" видение прошлого, но и "мистифицирующими" читателя кажущейся ясностью исторической ретроспективы, - Вовель констатировал, что в глазах ряда исследователей переход к "использованию микроскопа" в истории выступает как "эпистемологическая необходимость". Вовель связывал такой переход с новым этапом в развитии исторического знания, с возвратом на новых основах к качественному анализу (в противовес количественному), с поиском более аутентичного облика прошлого.

6

Одну из форм реализации этой эпистемологической необходимости можно найти в исследованиях, предпринимавшихся с конца 70-х годов некоторыми молодыми в ту пору итальянскими историками, называвшими свое направление "микроисторией". Хотя их взгляды были далеко не едиными, этих исследователей роднило то, что они стремились противопоставить распространенной в Италии этого времени "риторической" концепции истории - как науке о глобальных, вековых колебаниях в развитии человеческих обществ - гораздо более скромную по своим задачам концепцию исторического познания. Все они отличались пристрастием к выбору очень небольших исторических объектов: судьба одного конкретного человека, события одного единственного дня, взаимоотношения в одной отдельно взятой деревне на протяжении относительно небольшого периода. Каждый из таких объектов рассматривался в очень крупном масштабе. Исследование не привлекавших раньше внимания подробностей позволяло увидеть этот объект в принципиально новом свете, рассмотреть за ним иной, чем виделся предшествующим поколениям исследователей, круг явлений.

7

Правда, возможности генерализации собранных наблюдений оказывались здесь под вопросом. Еще менее ясным представлялся способ включения изученного микрообъекта в более широкий социальный контекст. Незаработанной оставалась и концепция индивидуальности, неповторимости предмета исследования. Но зато конкретность и полнота анализа создавали предпосылки для изучения причин и мотивов поступков всех "действующих лиц".

8

К этой ранней итальянской микроистории близка по обстоятельствам возникновения и некоторым подходам немецкая Alltagsgeschichte. Ее складывание относится к середине 80-х годов, когда несколько разных по своим научным и политическим

9

взглядам групп молодых историков выступили против господствовавших в послевоенной немецкой историографии методологических концепций. Их критика была направлена (как и в Италии) против преувеличения возможностей глобальных подходов в понимании прошлого, против безудержного научного оптимизма, а также против того варианта немецкого историзма, которому было свойственно преимущественное внимание к повторяющемуся и закономерному. Критикуя слепое следование англосаксонским традициям в понимании социальной и институциональной истории, демократически настроенные сторонники *Alltagsgeschichte* сочувственно относились к историко-антропологическим подходам французской школы "Анналов". Особое внимание уделялось также изучению действий и сознания "маленьких людей" и их роли в "большой истории". Именно в этом направлении с особой силой проявилась тенденция разрабатывать историю "снизу" (*Geschichte von unten*), с тем чтобы раскрыть своеобразие (*Eigensinn*) каждого отдельного субъекта, его способность быть творцом собственной истории, а не только игрушкой в руках надличностных сил и структур.

Важной особенностью *Alltagsgeschichte* можно считать подчеркиваемое всеми ее сторонниками стремление опираться при изучении прошлого на так называемый экспериментальный подход, провозглашавшийся также последователями итальянской микроистории. Суть его специально не разъясняется, но, как показывает знакомство с конкретными исследованиями, под ним подразумевается установка на отказ от любых априорных суждений и постулатов. Историки этого направления считают основой анализа конкретные исследовательские опыты, которые как бы сами по себе должны раскрыть и своеобразие изучаемых индивидов как таковых, и их связи и взаимосвязи, и наиболее эффективные исследовательские приемы.

На этом же зиждется и подход ряда историков данного направления к проблеме взаимодействия микро- и макрообъектов, которой они уделяют гораздо большее внимание, чем итальянские последователи микроистории в прошлом десятилетии. Эта проблема решается, однако, разными историками далеко не однозначно. Одни удовлетворяются констатацией взаимосвязи микрообъекта с его социальным "контекстом", возникающей уже в силу простой включенности каждого индивида в то или иное локальное сообщество (Ю. Шлюбойм, П. Критде). Другие делают упор на то, что *всестороннее* изучение индивида само собой предполагает выявление его социальных взаимосвязей и зависимостей, как и влияния на него тех или иных социальных факторов (Г. Медик). Третьи ставят проблему шире и говорят о том, что всякий индивид, хочет он того или нет, вынужден так или иначе интерпретировать свои взаимоотношения с макросообществами, членом которых он оказывается; со-

ответственно, всякий исследователь микроказуса, анализирующий действия индивида, в состоянии воспроизвести не только собственный мир этого индивида, но и трактовку последним его связей с более широким социальным универсумом; в результате "из изучения самой социальной практики отдельных людей выявляются невидимые извне социальные структуры", характеризующие взаимодействие индивида и его социальной среды (А. Людтке).

Показательно, что для всех этих вариантов характерно понимание отдельных казусов как более или менее *типичных* для рассматриваемого аспекта прошлого. Это, конечно, облегчает выход на проблему взаимодействия микро и макро, единичного казуса и целостности. В то же время подобный подход существенно затрудняет возможность анализа подлинно уникального, индивидуального, нестандартного. Ведь основное внимание уделяется повторяющимся, *типичным* феноменам, а не исключениям, в которых воплощалось неординарное поведение отдельных индивидов.

Однако в спорах вокруг *Alltagsgeschichte*, продолжающихся по сей день (и может быть даже усилившихся в самые последние годы), обсуждается не только мера исключительности и индивидуальности рассматриваемых казусов. Некоторые критики ставят под вопрос самую оправданность проводимого сторонниками этого направления противопоставления макро и микро. Отмечается, что существование этой дихотомии было известно со времен Аристотеля, что многим поколениям философов и историков уже не раз приходилось констатировать важность изучения малых и мельчайших объектов - так же как продуктивность познания любых тотальностей через *переход от частного к целому* - и что поэтому в современном повороте ряда исторических школ к специальному изучению микрообъектов нет ни чего-либо нового, ни даже чего-либо продуктивного.

Мне кажется, что эта критика не учитывает своеобразия сегодняшней постановки вопроса о макро- и микроанализе в изучении прошлого. Вечность данной дихотомии не смогла почему-то на протяжении многих десятилетий нашего века воспрепятствовать явному крену в истории в изучение массовых явлений. Этот крен оказался неразрывно связанным и с фактическим признанием детерминированности и телеологичности исторического процесса, его подчиненности надличностным силам и структурам. И это было характерно не для какой-нибудь одной, идеологически зашоренной научной школы, но для многих (если не большинства) историографических направлений. Что-то глубинное в подходах историков мешало в эту пору осмыслить потребность в соразмерном исследовании и макро и микро. Что-то заставляло многих и многих историков истолковывать вечную истину о продуктивности принципа отправлять-

12

13

ся от частного при изучении исследуемых явлений - лишь в том смысле, что прошлое следует восстанавливать по крупницам, разбросанным везде и повсюду, без обязательной их привязки к конкретным людям. Что-то побуждало считать, что целое в истории может быть как бы суммой равноценных частных слагаемых.

Это "что-то" заслуживает специального внимания. По-видимому, речь идет прежде всего о некоторых имманентных потребностях научного анализа, соответствовавших имевшимся в начале и середине нашего века исследовательским возможностям и отвечавшим общим запросам гуманитарного знания того периода.

- И то и другое испытало в последние годы глубокую перестройку. Новые интересы, новые обстоятельства, о которых я уже упоминал выше, побуждают к смене ряда подходов. Разумеется, разные научные школы воспринимают это веление времени не сразу и не одновременно. Для некоторых из них это вообще оказывается невозможным, так как расходится с их основополагающими установками. Но тут уж ничего не поделаешь. К тому же, не впадая в крайний релятивизм и не ставя под сомнение реальность исторического прошлого, нельзя не иметь в виду, что это прошлое не есть нечто сохранившееся раз и навсегда: всякий раз заново реконструируемое, оно поддается восприятию не в рамках какой бы то ни было одной-единственной концепции, но только на основе некоторой их совокупности. Такой плюрализм ничуть не исключает необходимости критического отношения к каждой из этих концепций. Прав О.Г. Ёксле, выступающий против "бесхребетного историзма" (Ёксле заимствует это выражение у Вернера Гофмана), "который не способен ничего отвергнуть, потому что он ко всему стремится отнестись с пониманием".

- Применительно к рассматриваемой историографической ситуации это означает оправданность не только сочетания, всюду где это возможно, макро- и микроанализа, но и трезвого соизмерения плодотворности того или иного из этих подходов в разных исследованиях и на разных этапах развития историографии. Не приходится также забывать, что параллельное их применение выступает как трудно достижимый идеал. Ведь взгляд на какой бы то ни было феномен прошлого "с близкого расстояния" не способен воспроизвести одновременно и "общий план": для этого нужен совсем иной "объектив", который, увы, будет скрадывать детали. В то же время трудно не заметить, что на разных этапах историографии интенсивность использования этих двух вариантов анализа не остается неизменной, подчиняясь как внутренним потребностям развития исторической науки, так и запросам общества. Именно они определяют необхо-

димось сегодняшнего акцента на исследовании индивида и на анализе его субъективного мировидения.

В контексте всего сказанного легче уяснить возникновение и особенности наиболее выраженного в современной историографии поворота к изучению индивидуального и казуального, который происходит с конца 80-х годов во Франции. Попытки осмыслить ситуацию, сложившуюся к этому времени в мировой исторической науке, отличались здесь, пожалуй, наибольшей глубиной. Не случайно развернувшиеся во Франции дискуссии втянули и историков других стран – в первую очередь итальянских сторонников микроистории и немецких последователей *Alltagsgeschichte* – и подтолкнули их к известному уточнению или изменению собственных позиций. Главную лепту в обсуждение данной проблематики внесли дискуссии в известной всем специалистам школе “Анналов”.

О необходимости пересмотра использовавшихся парадигм редакторы “Анналов” открыто заговорили в 1988 г. Позднее весь период с конца 70-х годов будут называть в этом журнале временем “эпистемологической анархии”, “периодом сомнений и растерянности” или – еще резче – эпохой “кризиса”. Этому времени, именуемому ныне в “Анналах” первым периодом “критического пересмотра”, противопоставляют его второй период – середину 90-х годов, характеризуемую как этап утверждения новых подходов к изучению прошлого, как время рождения *“другой социальной истории”*.

Главное отличие этой истории – говоря словами Бернара Лепти, одного из инициаторов ее разработки, – в изменении самого предмета исторического исследования. Раньше под таким понималось общество как совокупность “структур большой длительности” (экономических, идеологических, культурных, ментальных и т. д.). В рамках новой социальной истории общество рассматривается как “продукт взаимодействия участников общественных процессов”, как “социальная практика действующих в этих процессах лиц” (*acteurs*); иначе говоря, общество предлагается изучать не через посредство безликих и более или менее неподвижных его составных элементов (таких, как экономика, культура, ментальность), но через прямое наблюдение над взаимодействием субъектов исторических процессов, как оно складывается в каждой конкретной ситуации. Преимущество этого ракурса усматривается, во-первых, в том, что в центре внимания оказываются *конкретные индивиды*, во-вторых, в том, что берется установка на изучение постоянно *меняющихся ситуаций* конкретной практики, в-третьих, в том, что воздействие базовых общественных структур (экономики, идеологии и пр.) исследуется не абстрактно, но через их влияние на конкретных субъектов, способных испытывать и преобразовывать это воздействие *сугубо индивидуально*.

17

18

19

20

21

По мысли сторонников этого подхода, на его основе можно с недоступной никогда в прошлом полнотой реконструировать индивидуальные стратегии отдельных участников исторического процесса и их биографии. Ведь исходным материалом оказывается “*прагматическое положение*” каждого человека, его индивидуальные особенности, а не — как прежде — его принадлежность к той или иной из больших социальных или производственных групп (класс, сословие, профессия и пр.). Не случайно второй этап “критического пересмотра” частенько именуется в “Анналах” “прагматическим поворотом” (или “праксиологическим” — от слова *praxis* = практика — поворотом).

22 В качестве характерного примера Лепти приводит исследование, выявившее решающее значение для судеб ткачей южно-французских городов в начале XIX в. не столько их принадлежности к классу рабочих и не столько необходимости для них подчиняться действовавшему в то время законодательству, сколько их конкретных договоренностей с отдельными хозяевами, достигнутых в обход всех общих юридических и экономических 23 установлений. Ситуации подобного рода встречаются, по мнению Лепти, на каждом шагу, свидетельствуя о том, что прагматические обстоятельства и индивидуальные стратегии могут для конкретных индивидов быть гораздо важнее их общего социального статуса.

Хотя это наблюдение не вызывает у меня принципиальных возражений по отношению к новому времени — с характерным для него юридическим равенством контрагентов, — я сомневаюсь, что оно равно актуально и для предшествующих периодов. В традиционных обществах прагматические ситуации тоже, конечно, влияли на положение индивида *внутри* каждого из социальных разрядов, но могли ли они устранить глубокие различия в правах и обязанностях людей, предопределенные их разным происхождением? Достаточно сравнить, скажем, статус средневековых рыцарей и современных им крестьян: часто ли прагматическое положение самого удачливого из крестьян позволяло ему смыть пятно сословного неполноправия?.. Вообще своеобразие средневековых и древних обществ не находит пока, на мой взгляд, должного рассмотрения в дискуссиях об использовании микроанализа. Тем не менее плодотворность внимательнейшего отношения к прагматическому положению индивида не вызывает сомнений и по отношению к обществам отдаленного прошлого.

То же следует сказать и об акценте на изучение конкретных форм “согласия” (*accord*), которых достигают между собой те или иные индивиды в самых разных житейских ситуациях. Замеченный у известных французских социологов Люка Болтанского и Лорена Тевено акцент на этом исследовательском 24

подходе предполагает специальное изучение двусторонних соглашений, которые, с точки зрения их участников, были способны придать ореол “оправданности” (justification) и справедливости сложившимся договоренностям и связям или же формам поведения и представлениям.

25

Такие временные соглашения представляют, с точки зрения Лепти, Гренье и других французских авторов, тем больший интерес, что они позволяют выявлять постоянно меняющиеся формы межличностных отношений. Подчеркивая важность анализа таких изменений, эти исследователи противопоставляют свой подход тому, который был характерен в недавнем прошлом для историков ментальности. Хотя конкретные имена называются редко, ясно, что имеются в виду такие ученые, как Ж. Легофф, Ж. Дюби, А. Бюргьер.

В центре внимания последних были устойчивые, очень медленно меняющиеся — или же неизменные на протяжении целых эпох — социокультурные структуры и модели мира. Сторонники прагматического поворота отказываются признавать за этими структурами решающую роль в определении смысла социальных отношений; на их взгляд, этот смысл определяется всякий раз конкретной житейской ситуацией; абсолютизация же роли ментальных традиций и культурных штампов неизбежно ведет к недооценке изменчивости социальных отношений, к представлению о неподвижности или квазинеподвижности истории. На этой основе формулируются тезисы об оправданности “исторического поворота” (т. е. акцента на изучении исторической изменчивости) во всех социальных науках и о необходимости пересмотреть те прежние суждения о прошлом, которые базировались на признании приоритета культурных традиций (и вытекающего отсюда акцента на изучении исторической статике).

26

Как историку-практику, мне не может не imponировать призыв к исследованию изменений в истории. Что может быть важнее этого сюжета! Однако оправданно ли при этом жертвовать ролью культурных традиций, игнорировать влияние преемственно сохранявшегося варианта той или иной культуры?..

Особое внимание конкретным формам согласия в обществе (вполне оправдывающееся общей установкой на первоочередное изучение повседневного опыта *acteurs*), естественно, побуждает сторонников данного направления отдавать решительное предпочтение микроисторическому подходу. Однако при этом его трактовка, по сравнению с тем что было характерно для итальянских и немецких ученых, существенно изменяется.

27

Суть микроистории, на взгляд Ревеля, Лепти и их последователей, отнюдь не в простом сужении географических (или событийных) рамок исследования (хотя таковое имеет место). С их точки зрения, широко распространенная *локальная* история, как

и *событийная* история, не имеет почти ничего общего с подлинным микроанализом. Ведь они ориентированы (как и сериальная макроистория) на изучение прежде всего социальной структуры и функциональной зависимости, которая связывает с этой структурой поведение тех или иных социальных групп и категорий: различие лишь в том, исследуются ли эти сюжеты в узколокальных или, наоборот, очень широких рамках. Новая микроистория отличается от макроистории (и любого ее локального или событийного варианта) самым предметом исследования. Это история автономно действующих субъектов, способных *выбирать* стратегию своего поведения, способных по-своему переформулировать имеющиеся установки; это *антифункционалистская* история, в которой, хотя и признается значение объективно существующих структур в жизни и поведении людей, исходят из возможности каждого из них всякий раз по-своему актуализировать воздействие этих структур.

28 В этой трактовке предмета микроистории содержатся, как я думаю, очень важные моменты, которые можно было бы использовать и при решении задач, встающих перед авторами настоящего альманаха. Ведь рассматриваемые здесь казусы особенно интересуют нас, как отмечалось, в плане того, насколько задействованные в них индивиды способны выбирать нестандартные решения, насколько возможны для них индивидуальное восприятие импульсов, исходящих от социальных структур, и отклонение от принятых стереотипов поведения.

С моей точки зрения, это не значит, что можно было бы игнорировать функциональные связи между поведением индивида и социальным контекстом, в котором ему приходится действовать. Рассуждая об антифункционалистской истории, французские исследователи на практике тоже не отказываются от признания важности такого контекста, хотя и существенно сужают его пространственные рамки. Наиболее определенно возражают они лишь против упрощенного понимания взаимосвязи между поведением индивида и социальной структурой, внутри которой ему приходится действовать.

Эта взаимосвязь действительно не содержит какого бы то ни было автоматизма. Выявить ее своеобразие в каждом конкретном случае очень непросто. Для начала здесь следует признать принципиальную недостаточность при таком изучении одних только *типичных* казусов, анализ которых — при всей его важности — оставляет нас в рамках сериальной истории (выявляя лишь свойственные людям данного времени стереотипные представления и формы поведения). Удовлетвориться этим нельзя не потому, что сериальная история “плоха” сама по себе, но из-за невозможности на ее основе дать ответ на некоторые вопросы, волнующие сегодняшнего человека.

В первую очередь речь идет об уже упоминавшемся стремлении понять место и функцию индивида в разных обществах. Из громадного числа аспектов, заслуживающих при этом рассмотрения (понимание индивида, индивидуальности, личности, социума, социального контекста и др.), я хотел бы выделить один, особенно, как мне кажется, актуальный. Я имею в виду *взаимодействие единичного опыта и массовых стереотипов*. В общем плане проблема “присвоения” отдельным человеком надындивидуальных явлений, поднятая уже во времена Анри Берра, не перестает волновать историков на протяжении всего XX в. 30

В рамках предлагаемого в нашем альманахе подхода акцентируется лишь один из возможных способов ее исследования. Не поможет ли осмыслению того, как в различные эпохи совершался переход от единичного и индивидуального к массовому и общепринятому, анализ нестандартных, нетипичных казусов?

При изучении данного перехода прежде всего важно осмыслить, в зависимости от каких особенностей индивида и социального контекста этот переход оказывался возможным или, наоборот, невозможным, как в процессе такого перехода изменялся сам индивид, каковы были пределы таких изменений в разных обществах, как на смену старым рождались новые стереотипы и т. д. Для решения подобных вопросов изучение нетипичных казусов открывает особые возможности. *Именно такие казусы нагляднее всего демонстрируют взаимодействие принятых сценариев поведения и индивидуального выбора*. Индивидуальная интерпретация массовых стереотипов составляет здесь самую суть поведения человека. Читатель легко убедится в этом, когда познакомится с публикуемыми ниже конкретными очерками. 31

По своему содержанию рассматриваемые нами казусы достаточно многообразны. Одни из них относятся к сфере повседневной жизни, другие — к политическим событиям, третьи — к правовым конфликтам, четвертые — к научной практике самих историков. При всей неоднородности этих случаев во всех них речь идет о поступках конкретных людей. Сосредоточение внимания именно на *поступках и действиях* индивидов составляет, пожалуй, еще одну из отличительных особенностей нашего общего подхода. 32

В современной историографии при характеристике так называемого “открытия” индивида и индивидуальности наибольшее внимание уделяется обычно аспектам самосознания и самоидентификации. В отличие от этого в данном альманахе на первом плане не саморефлексия индивида, но его социальная практика, его действия, в том числе и неотрефлексированные. Их анализ представляется многообещающим способом изучения места и функций индивида в разных обществах. Этот метод высвечивает различия в возможностях выбора решений, которые были характерны для разных исторических периодов, для разных регионов, для разных типов индивида. Нетрудно таким об- 33

разом заметить, что избранный нами подход открывает возможность широких историко-сравнительных сопоставлений и ориентирован на посильную реализацию принципа “дополнительности” микро- и макроанализа.

Мы пытались одновременно найти и наиболее подходящую форму повествования. Ее выбор, как всегда, взаимосвязан с разрабатываемой проблематикой, с применяемой методикой, с самим масштабом исследования. Отправляясь от изучения конкретных поступков индивидов, мы, естественно, использовали форму рассказа. Однако это не рассказ “всезнающего” автора, раскрывавшего все тайны минувшего. Непрозрачность прошлого (особенно когда речь идет о действиях индивида) побуждала нас сознавать сугубую гипотетичность предлагаемых интерпретаций. Стремясь раскрыть перед читателем всю неоднозначность имеющихся в нашем распоряжении свидетельств источников, мы не скрываем ни лакун, ни неясностей в анализированных текстах. Не случайно почти все заголовки наших очерков не слишком определены. Подчеркивая этим неоконченность, предварительность наших решений, мы хотели бы привлечь читателя к совместному размышлению над имеющимися данными, сделать его соучастником исследования. Одновременно нам было важно отметить, что речь идет лишь о некотором опыте истолкования (или перетолкования) текстов, о некоторой версии в понимании поступков индивида.

В этих поступках могут раскрываться принятые стереотипы или же, наоборот, нестандартное, девиантное поведение. В любом случае это конкретные действия конкретных людей разного происхождения, совершенные в столь же конкретных житейских ситуациях. Думается, для описания всего этого нет лучшей формы изложения, чем рассказ, как вид связного изложения событий и поступков. Однако рассказ о конкретном казусе составляет по большей части лишь “зачин” в каждом из публикуемых в альманахе очерков. Вслед за этим читателю предлагается попытка осмыслить *контекст* рассмотренного случая. Здесь анализ действий индивида как бы пересекается с анализом социальной ситуации и более протяженных общественных процессов. Изучение конкретного фрагмента сменяется исследованием его социального резонанса и последствий. В этой части публикуемых очерков рассказ уступает место обзору накопленных по данному вопросу научных сведений, с тем чтобы на этой базе можно было бы осмыслить суть и последствия изученного казуса. Именно здесь эксплицитно или имплицитно освещается роль индивида в общественном развитии.

Структурно наш альманах состоит из нескольких разделов. В первом из них рассматриваются казусы, являющиеся элементами некоторой поведенческой коллизии, во втором пространстве казуса оказывается политика, в третьем — правовая сфера. Условность этого членения отрицать трудно, поскольку в ре-

альной жизни все эти сферы переплетались. Но и различия между ними заслуживают внимания. Более очевидно отличие очерков четвертого и пятого разделов, где в центре — деятельность самих историков, способных порождать “квазиказусы” в наших представлениях о прошлом.

Эта структура альманаха — проблемная, а не хронологическая — отнюдь не означает, что редакторы недооценивают своеобразие возможностей и функций индивида в разные исторические периоды. Придавая этому своеобразие особую важность, мы включили в поле зрения не только ситуации, относящиеся к новому времени (или же к раннему новому времени), как это делалось до сих пор во всех предшествовавших опытах микроисторического анализа, но и казусы средневековой эпохи. Нам хотелось бы иметь возможность уяснить соответствующие различия эпох. Тем не менее мы положили в основу структуры альманаха разграничение по сферам деятельности, надеясь таким образом учесть не только хронологические различия в истории индивида, но и нечто сходное в его функционировании в каждой из сфер.

В последнем — пятом — разделе публикуются дискуссии вокруг микроистории и казуального подхода. Перевод недавней статьи итальянского историка Эдуардо Гренди, едва ли не первого зачинателя микроистории, знакомит с попыткой переосмысления опыта этого направления в Италии. Материалы обсуждения, состоявшегося в сентябре 1996 г. в Москве, знакомят с различными суждениями о казуальном подходе некоторых российских специалистов.

Хотелось бы надеяться, что этот альманах привлечет внимание к проблеме индивидуального и уникального в истории, как и к новой функции исторического рассказа. Если эти надежды оправдаются, данный выпуск “Казуса” окажется первым в ряду других, следующих за ним.

Примечания

¹ Это, однако, не означает, что роль индивидов в социальной практике высвечивают только случаи явно девиантного поведения. Не приходится недооценивать и те ситуации, в которых принятые в обществе правила допускали одновременно несколько разных вариантов поведения. В таких случаях не меньшее познавательное значение имел выбор одного из возможных сценариев действий.

² Сорос Дж. Алхимия финансов. М., 1996. С. 53: “Мы можем разделить

события на две категории: обыкновенные, повседневные события, правильно предвосхищаемые участниками, и уникальные исторические события, которые влияют на предпочтения участников и ведут к дальнейшим изменениям...”. Специфика “состояния неустойчивости” и возникающие при этом бифуркации интенсивно исследуются в последнее время в рамках синергетики (см.: Пригожин И., Стенгерс И. Стрела времени // Вестник РГГУ. М., 1996. № 1. С. 58).

- ³ *Vovelle M.* Histoire sérielle ou “case studies”: vrai ou faux dilemme en histoire des mentalités // *Histoire sociale, sensibilités collectives et mentalités*. P., 1985. P. 41–42.
- ⁴ *Гуревич А.Я.* Еще несколько замечаний к дискуссии о личности и индивидуальности в истории культуры // *Одиссей*, 1990. М., 1992. С. 87; ср.: *Ginzburg C.* Micro-Histoire // *Historische Anthropologie*. 1993. № 1. S. 181, п. 49: «...в противовес недифференцированному понятию “коллективная ментальность” я настаиваю на важности исследования мыслительных представлений каждого отдельного индивида»; см. также: *Chartier R.* Histoire intellectuelle et histoire des mentalités // *La sensibilité dans l'histoire*. Clamecy, 1987. P. 26.
- ⁵ *Баткин Л.М.* Леонардо да Винчи. М., 1990. С. 22.
- ⁶ *Vovelle M.* Op. cit. P. 44.
- ⁷ О ранней истории этого направления см. в цитированной выше статье К. Гинзбурга (S. 173 ff), а также в статье Э. Грейди, публикуемой в настоящем альманахе. Библиографию работ этого направления см.: *Бессмертный Ю.Л.* Некоторые соображения об изучении феномена власти и о концепциях постмодернизма и микроистории // *Одиссей*, 1995. М., 1995. С. 10 и след.
- ⁸ В 80-е годы ранняя итальянская микроистория выступала в некотором смысле как антагонист англо-американской культур-антропологии (представленной в первую очередь трудами Клиффорда Гирца и его школы) с характерным для нее в ту пору увлечением квантитативными методами. См.: *Lepetit B.* De l'échelle en histoire // *Jeux d'Échelles. La micro-analyse à l'expérience*. P., 1996. P. 78. Однако в 90-е годы картина существенно меняется и в англо-американской историографии постепенно формируется новое направление “биографической” или “персональной” истории (см.: *Репина Л.П.* Персональная история: биография как средство исторического познания — готовится к печати), во многом близкое современ-ным итальянским и французским течениям (см. ниже).
- ⁹ Я оставляю название этого направления без перевода, чтобы не создавать иллюзию его тождественности французской Histoire de la vie quotidienne. Об основных особенностях этого направления см.: *Alltagsgeschichte. Zur Rekonstruktion historischer Erfahrungen...* / Hrsg von A. Lüdtke. Frankfurt a. M., 1989.
- ¹⁰ Внутри этой школы существует и правозкстремистское крыло, возглавляемое историком реваншистской ориентации Эрнстом Нольте.
- ¹¹ *Lüdtke A.* *Alltagsgeschichte...* S. 8; *Werner M.* Proto-industrialisation et Alltagsgeschichte // *Annales. HSS*. 1995. № 4. P. 719; *Schlumbohm J.* Quelques problèmes de micro-histoire... // *Ibid.* P. 801.
- ¹² *Sozialgeschichte. Alltagsgeschichte, Micro-Histoire. Eine Diskussion* hrsg. von Winfried Schulze. Goettingen, 1994 (см. особенно статьи Ю. Кокки, У. Даниель и В. Гартвиг); *Oexle O.G.* Nach dem Streit. Anmerkungen über “Makro-” und “Mikrohistorie” // *Rechtshistorisches Journal*. Frankfurt a. M., 1995. № 14. S. 191–200.
- ¹³ Этот крен критикуют сегодня не только сторонники немецкой *Alltagsgeschichte* или итальянской микроистории, но и представители школы “Анналов”, непосредственно причастные к разработке и внедрению в исторические исследования ряда макроисторических подходов (см. ниже).
- ¹⁴ *Ginzburg C.* Op. cit. S. 188–189; *Revel J.* Présentation // *Jeux d'Échelles*. P. 10–13; *Lepetit B.* De l'échelle en histoire. P. 91–93; *Kortum H.* Menschen und Mentalitäten. Einführung in Vorstellungswelten des Mittelalter. Berlin, 1996. S. 14; *Lachir B.* La variation des contextes dans les sciences sociales. Remarques épistémologiques // *Annales. HSS*. 1996. № 2. P. 399.
- ¹⁵ *Экссле О.Г.* Немцы не в ладу с современностью. “Император Фридрих II” Эрнста Канторовича в политической полемике времен Вей-

- марской республики // *Одиссей*, 1996. М., 1996. С. 216.
- ¹⁶ *Ginzburg C.* Op. cit. S. 181: “Недавно М. Вовель отверг альтернативу между сериальным исследованием и анализом истории отдельного индивида как ложную. В принципе я с этим согласен. Но на практике эта альтернатива возникает...”
- ¹⁷ Как уже отмечалось выше, эта общая тенденция находит свое выражение и в так называемой персональной истории, развивающейся в последние годы, в частности, в Англии и США.
- ¹⁸ См. нашу статью: Школа “Анналов”: переломный этап? // *Одиссей*, 1993. М., 1993.
- ¹⁹ *Revel J.* Micro-analyse et construction du social // *Jeux d'Échelles*. P. 18: “Модель социальной истории (восходящая к Симиану, Блоку, Февру, Лабруссу и Броделю) начала переживать кризис на рубеже 70–80-х годов, т. е. — по странной иронии судьбы — в момент, когда она, казалось, переживала свой наивысший триумф... Осознание кризиса наступало очень постепенно, так что нельзя с уверенностью сказать, что большинство историков и сегодня это поняли”; см. также: *Desrosières A.* La politique des grands nombres. Histoire de la raison statistique. P., 1993; *Delacroix Ch.* La falaise et le rivage. Histoire du “tourmant critique” // *EspacesTemps*. P., 1995. № 59–61. P. 87–109; *Dodier N.* Les sciences sociales face à la raison statistique // *Annales*. HSS. 1996. № 2. P. 410; *Kortüm H.* Op. cit. S. 22. Небезынтересно отметить, что, когда в 1989 г. я выступил с тезисом о кризисе школы “Анналов”, моя точка зрения была оспорена как руководителями этой школы (включая Ж. Ревеля), так и моими соотечественниками (см.: Споры о главном. Дискуссии о настоящем и будущем исторической науки вокруг французской школы “Анналов” / Отв. редактор Ю.Л. Бессмертный. М., 1993. С. 107, 118, 120 и др.).
- ²⁰ См. коллективный труд “Les formes de l'expérience” под редакцией Б. Лепти, в заголовок которого внесено: “Une autre histoire sociale”; см. также работы, цитированные в предыдущем примечании.
- ²¹ *Lepetit B.* L'histoire prend-elle les acteurs au sérieux // *EspacesTemps*. 1995. № 59–61. P. 112–122; *Idem.* Histoire des pratique, pratique de l'histoire // *Les formes...* P. 10–16; *Revel J.* Présentation // *Jeux d'Échelles*. P. 9–10; *Dodier N.* Op. cit. P. 419 et suiv.
- ²² *Lepetit B.* L'histoire... P. 112; *Kortüm H.* Op. cit. S. 22.
- ²³ *Lepetit B.* Le présent de l'histoire // *Les formes...* P. 283–288; *Idem.* L'histoire... P. 118.
- ²⁴ *Boltanski L., Thevenot L.* De la justification. P., 1991.
- ²⁵ *Lepetit B.* Histoire des pratique... P. 15; *Idem.* L'histoire... P. 120.
- ²⁶ См.: *Lenemu Б., Гренье Ж.И.* О некоторых изменениях в журнале “Анналы” в 1994 г. Ответы на вопросы Ю.Л. Бессмертного // *Одиссей*, 1994. С. 318.
- ²⁷ *Revel J.* Présentation... passim.
- ²⁸ *Revel J.* Micro-analyse... P. 25.
- ²⁹ Именно такую трактовку казуальной истории предлагал фактически в упомянутой выше работе М. Вовель (*Vovelle M.* Op. cit. P. 48–49).
- ³⁰ См., в частности: *Chartier R.* Intellectual History and History of Mentalities // *Modern European Intellectual History*. L., 1982; *Burgier A.* Notion de mentalité chez M. Bloch et L. Febvre // *Revue de synthèse*. P., 1983. № 111–112; *Revel J.* Présentation // *Jeux d'Échelles*. P. 10–13; *Lepetit B.* De l'échelle en histoire. P. 72–73.
- ³¹ Как уже отмечалось выше, кроме случаев девиантного поведения, определенные возможности для изучения индивидуального выбора открывают и ситуации, допускающие сосуществование нескольких сценариев поведения.
- ³² Понятие “индивид” используется здесь в своем самом общем смысле, без отнесения к какому бы то ни было историческому типу и, тем более, без того, чтобы подразумевать под ним новоевропейского индивида. См.: *Баткин Л.М.* К спорам о логико-историческом

определении индивидуальности // Одиссей, 1990. С. 59 и след.

³³ См. новейший обзор по этой тематике: *Aertsen J.A.* Die Entdeckung

des Individuum // *Individuum und Individualität im Mittelalter* / Hrsg. Aertsen J.A., Speer A. Berlin; New York, 1996.

Ю.Л. Бессмертный



Это странное ограбление...

Настоящий рыцарь спит чутко. И никогда не проспит он звук женского голоса...

... Достаточно было даме, ехавшей по дороге, чуть слышно промолвить: “О Боже, как я устала”, чтобы славный рыцарь Гийом Ле Марешаль (герой одноименной повести трувера Жана), прикорнувший рядом с проезжей дорогой под охраной оруженосца Эсташа, сразу же вскочил на ноги:

– Что это я слышу?

– Женщина и мужчина едут на двух могучих иноходцах, — отвечал Эташ. — Дама говорит, что сильно устала. К седлам обоих коней приторочены богатые вьюки.

Реакция Гийома была мгновенной:

– Хочу знать, кто они, откуда, куда едут и зачем.

Сомнений в праве остановить незнакомцев посреди дороги у Гийома не возникает, но обращается он к ним в высшей степени галантно:

– Мне хотелось бы, досточтимый сир, узнать, кто вы.

Путник не очень склонен отвечать на вопросы. С достоинством он произносит:

– Сир, я — человек.

– Хорошо вижу, что вы не животное, — сразу же меняет тон Гийом и, заметив под плащом незнакомца меч, приказывает Эташу подать оружие.

Путник смиряется:

– Сир, я в вашей власти. Я монах... Эта женщина — моя подруга, я увожу ее из родной земли. Мы едем на чужбину.

Благородный рыцарь Гийом обеспокоен вдвойне:

– Скажите, красавица, кто вы, какого рода-племени?..

Отвечая, женщина понурила голову, на ее глазах выступили слезы. Она стыдливо призналась, что приходится сестрой сеньора Радульфа Ленского из Фландрии, но возвратиться в родные края — как это тут же предложил ей Гийом — ей теперь уже никак нельзя.

– На что же вы будете жить? — продолжал беспокоиться Гийом.

В ответ монах достал тугой кошель: 48 ливров!

— Но что сможете вы, милые друзья, на них сделать?!

— Охотно вам объясню, — ответил монах. — В каком-нибудь чужом городе я буду давать их в долг, и мы сможем жить на проценты, которые получим...

Едва были произнесены эти слова, Гийом весь переменялся. Вместо заботливого защитника сирых и слабых, в качестве которого он выступал до сих пор, перед путниками предстал суровый и беспощадный ненавистник обирал-ростовщиков.

— Ростовщичество?! Не потерплю!.. Эсташ, отберите у них деньги! А вы — раз не хотите вернуться домой и возвратиться к доброй жизни — убирайтесь к дьяволу!

Путники поспешили уехать, а Гийом направился к дому, повелев Эсташу никому не рассказывать о случившемся.



Рыцарь XVIII в. Миниатюра из современной рукописи.

Репродукция из кн. R. Rudorff. The knights and their world. London, 1974

В замке Гийома встретили двое соседей-приятелей — благородные сеньоры, ожидавшие его с трапезой.

— Мы из-за вас очень проголодались, Марешаль.

— Не печальтесь, сеньоры. Я добыл больше, чем всем нам может понадобится, и охотно поделюсь с вами. Эсташ, вытряхните-ка кошель... Здесь хватит расплатиться со всеми вашими долгами.

— Откуда столько денег, Марешаль?

— Потерпите...

Когда все вдоволь поели и попили и сосчитали высыпанные из кошелька деньги (их оказалось ровно столько, сколько сказал монах, и притом в хорошей монете), Марешаль рассказал все как было.

Выслушав Марешаля, один из присутствовавших — Гуго де Хамелинкурт — вскричал:

– Клянусь Богом, вы были слишком добры к этим проходцам! Дать им уехать, оставив им лошадей и вещи! Эй, моего коня! Я сам с ними разберусь!

– Дорогой сир, – остановил Маршалль сеньора Хамелинкурта, – ради Бога не гневайтесь на меня; я не решился забрать у них остальное, ведь они бы остались без всего...

Когда на третий день Маршалль и его друзья прибыли ко двору молодого короля Генриха, сколько было разговоров об этом происшествии!..

Первое, о чем вправе был бы спросить читатель, познакомившись с пересказанным текстом, – заслуживает ли он какого бы то ни было исследовательского внимания? Разве это не заурядный “исторический анекдот”, приведенный трувером, лишь чтобы восславить своего героя?..

Именно таким “забавным анекдотом”, “не представляющим какой бы то ни было исторической ценности”, называет весь этот пассаж издатель “Истории Гийома Ле Марешаля” Поль Мейер – известный эрудит конца прошлого–начала нынешнего века, крупный знаток средневековой французской литературы. П. Мейер по-своему прав: описанный случай “разбоя на большой дороге” решительно ничем не дополняет те “первичные факты” прошлого, в поиске которых видел главный смысл своей познавательной деятельности историк-позитивист.

Современный исследователь способен подойти иначе. Исключить, что описанный эпизод – выдумка автора поэмы, действительно трудно (хотя П. Мейер не сомневается в его реальности). Однако не это определяет наше отношение к приведенному тексту. Нас ведь интересует не только то, что конкретно предпринимали рыцари, подобные Гийому, на “больших дорогах”, но и что вообще считалось для них возможным с точки зрения их современников, включая, естественно, и такого бывалого человека, как автор “Истории Гийома” трувер Жан. Поэтому для нас существен уже самый факт включения данного эпизода в ткань повествования: видимо, он казался автору поэмы чем-то поучительным.

Познавательный интерес этого рассказа еще более возрастает, когда мы знакомимся с обстоятельствами создания всей поэмы. Она была написана не позднее чем через семь лет после смерти Гийома (скончавшегося в 1219 г.) по заказу сына покойного и на его средства. Иными словами, “История Гийома” сочинялась по горячим следам описываемых событий, среди ее читателей, наверняка, были их непосредственные участники, и это не могло не ограничивать до некоторой степени “полет фантазии” автора: трудно представить, чтобы он мог вовсе игнорировать их расхожие представления и не учитывать их знакомства со многими конкретными фактами того времени.

Я вовсе не хочу сказать этим, что от трувера ждали строго достоверного (в современном понимании слова) изложения про-

исходившего, хотя как раз на рубеже XII и XIII вв. антитеза поэтического “вымысла” и нерифмованной “правды” (“*mensonge*” — “*véraie ystoire*”) впервые стала предметом специального обсуждения в среде французских хронистов и писателей. Слушатели трувера были ориентированы на определенный повествовательный жанр, в рамках которого реалистическое и фантастическое могли более или менее переплетаться. Традиция предписывала труверу изображать деяния его героев в лаудативном ключе, но разрыв между литературным рассказом и обыденными представлениями слушателей и читателей о должном — да и о незаурядном! — не должен был шокировать.

Это особенно важно иметь в виду по отношению к рассматриваемому сочинению. Ведь ее герой — вполне реальный человек, знакомый многим лично. За семь лет, прошедших после его смерти, его реальный облик вряд ли был забыт. Специальный анализ, проделанный в свое время П. Мейером и значительно углубленный несколько лет тому назад Дэвидом Краучем, показал, что многие конкретные факты, упомянутые в “Истории Гийома”, как и почти все крепости, города, селения и сеньории, названные в ней, вполне достоверны и имеют прямое отношение к Гийому Маршалю. Его действия, описанные в поэме, в большинстве случаев поддаются проверке по современным хроникам, хартиям и королевским дипломам. “История Гийома” оказывается, таким образом, ближе к биографической повести, чем к рыцарскому роману. Нас могут в ней, следовательно, ждать не только трафаретные, традиционные образы рыцарского мира, выстроенные по законам романного жанра; мы вправе искать в ней и отсвет живой повседневности, пусть переосмысленной автором, но тем не менее заставлявшей его изображать своих персонажей и их поступки с оглядкой на конкретику недавних лет. Во всяком случае, представления современников о том, как следовало бы вести себя рыцарю и что для него обычно, а что необычно, не могли не наложить в этой поэме сильнейший отпечаток на всю ткань повествования и на ее составные элементы.

Не дает ли это оснований считать по-своему поучительным и анализ отдельных поступков персонажей поэмы? Конечно, такой анализ непригоден для характеристики поэмы как некоей литературной целостности. Непригоден он и для воссоздания общего облика отдельных действующих в поэме персонажей. Но для воспроизведения авторского видения характерных черт этих персонажей и особенно того, как пристало им, на взгляд автора, поступать в различных ситуациях, подобный анализ представляется небесполезным. Авторский дискурс может отразить здесь и общепринятые нормы, и то, что считалось неординарным.

В применении к приведенному выше эпизоду поэмы это значит, что — независимо от меры его реальности — он может по-своему высветить не только взгляды автора поэмы, но и то, что

было на слуху у рядового рыцаря, что выглядело в его глазах достойным внимания и подражания, а что казалось необычным. Все это и определяет мой интерес к данному казусу.

Начиная с наиболее простого, отмечу прежде всего характерные черты авторского восприятия рыцарского быта, проглядывающие сквозь текст пересказанного эпизода. Рыцарь рисуется автору всегда готовым к столкновению с неожиданным. Даже во сне он настороже. Если его сморила усталость, он не ищет комфорта: постелью ему может служить и придорожная пыль. Но и в этом случае он мгновенно переходит от сна к действию; именно действие — его призвание и долг.

Рыцарь чувствует себя частицей куртуазного универсума. Ему дела нет, что этот канон признается лишь в узком кругу его сподвижников. Не считается он и с игровой природой этого канона. Он живет в нем как в коконе, по возможности пренебрегая любыми иными поведенческими нормами. Все не принадлежащие к куртуазному миру — это те “другие”, которым рыцарь противопоставляет себя, но от которых он в то же время требует признания, подчинения и которым он навязывает установленные куртуазией правила игры. В соответствии с каноном куртуазии рыцарь чувствует себя как бы ответственным за все происходящее. Именно поэтому он считает себя вправе допросить любого встречного, тем более что узкие рамки мира, составляющего его универсум, позволяют ему, не без оснований, полагать, что ничего и никого неизвестного ему в этом мире вообще быть не может.

Особое место в куртуазном универсуме рыцаря занимает благородная дама. Как почти во всяком мужском сообществе, образ Женщины овевая волнующей дымкой и особой притягательностью. Не случайно слова, произнесенные женскими устами, услышаны спящим рыцарем даже тогда, когда они выговорены тихим шепотом. Сама дама, естественно, прекрасна собой. До поры до времени неясно лишь, женщина она или девица: именно это особенно интересует автора поэмы (и, видимо, его героя). И первая забота доброго рыцаря — вернуть даму в лоно ее благородной семьи, конечно же известной ему лично.

Постыдность и невозможность подобного возвращения женщины, ставшей сожительницей монаха, не вызывает у рыцаря сомнений. Но и какого-либо особого осуждения он по этому поводу прямо не высказывает. Хотя дело происходит уже после включения в XII в. брака в число главных христианских таинств, Гийом Ле Марешаль знает, насколько обычными остаются в его кругу неофициальные половые союзы, непризнанные или даже — как в данном случае — категорически осуждаемые официальной церковью. И потому ни одного слова не произносит он по поводу противозаконности этой связи. Это не его прерогатива осуждать греховность плотской близости, не освященной узами церковного брака. И он как бы вовсе ее не заме-

чает. Быть может, дополнительным моментом, примиряющим автора поэмы (и Гийома вместе с ним) с этим противозаконным союзом, служит то обстоятельство, что сам монах — могуч и красив, т. е. таков, каким и должен быть с точки зрения рыцаря настоящий мужчина.

- 13 Гийома в поведении монаха раздражает не то, что он осмелится умыкнуть знатную даму, не то, что он покинул свой монастырь и пренебрег исполнением духовного обета, не то, что он мечтает о сладкой жизни с любимой женщиной где-то в далеком краю. Все это укладывается в сознание рыцаря и во всяком случае не требует от него личного вмешательства. Осуждающая тональность возникает впервые тогда, когда обнаруживается, что монах — скопидом: ведь он накопил целых 48 ливров (и при том “в хорошей монете”!). Куртуазный стереотип не признает никакого скопидомства: все, что добыто, собрано или захвачено, — все должно быть тут же благородно растрчено. Уже самое наличие тугого кошелька выглядит поэтому в глазах доброго рыцаря как презумпция виновности. Она превращается в повод для решительных действий, как только обнаруживается, что этот кошелек и в дальнейшем будет источником наживы.

- 14 Отнимая деньги, Гийом выглядит в собственных глазах — и конечно же в глазах автора поэмы — отнюдь не как банальный грабитель. *Он творит справедливый суд.* Это суд по нормам куртуазного универсума, в рамках которого всякое богатство, особенно денежное, имеет строго конкретное предназначение и должно использоваться по определенным канонам.

- 15 Само по себе богатство, безусловно, желанно и необходимо. Но обладание им может украсить прежде всего благородных. Все остальные не то чтобы лишены прав на него, но от природы неспособны распорядиться им куртуазно. А это значит — не столько обеспечить за его счет повседневные нужды, сколько использовать для вознаграждения “со-ратников”, друзей, подчиненных. Распоряжаясь богатством таким образом — и делая это на глазах у всех равных и со всеобщего ведома! — рыцарь как бы демонстрировал миру свое представление о социальных ценностях. Не случайно первое, что предпринимает Гийом после возвращения в замок, — он опорожняет отобранный им у монаха кошелек в присутствии своих соседей-приятелей. Вместе с ними он пересчитывает деньги, вместе с ними же определяет качество монеты. И тут же предлагает разделить добытые деньги, чтобы все смогли расплатиться с долгами. Гийом как бы *не ощущает себя собственником.* Ему чуждо стремление к неограниченному, единоличному распоряжению богатством или, тем более, желание его сохранить и приумножить.

16 Отсюда не следует, что деньги не играют в жизни Гийома важной роли. Публичное их растрчивание имеет свое оправдание. Вспомним, что весь описанный казус служил своеобразной “притчей во языцех” в разговорах при дворе принца, которому

служил Гийом. Его поступок мог лишь укрепить за ним славу истинного доброго рыцаря. А эта слава многого стоила. И не только в переносном смысле слова. Можно, например, не сомневаться, что, когда приятелям Гийома, одаренным им, удастся в очередной раз захватить богатую добычу, они не преминут поделиться с Гийомом так же, как он поделился с ними. Более того. Прославившись своим поступком, Гийом вполне мог рассчитывать, что многие рыцари — и из числа его соседей, и из числа других сподвижников принца Генриха — почтут за честь сопутствовать ему, если он отправится в поход или на турнир. Да и на “брачном рынке” его шансы после этого эпизода не могли не улучшиться. (Гийому было в то время 39 лет, но он все еще оставался холостым.) Реноме доброго рыцаря представляло, таким образом, вполне материальную ценность. Публичное расточение богатства было лишь предпосылкой для дальнейших приобретений и в этом смысле выступало как одна из форм циркулирования в обществе материальных ценностей.

Все это, однако, не дает оснований недооценивать чисто нравственный аспект в обычае рыцарской щедрости. Одаривание присных как нравственная норма не могло не порождать определенных моральных стереотипов, сколь бы избирательной ни была сфера их действия. Сходным образом мог воздействовать на власть имущего рыцаря обычай соразмерять свои распоряжения с моральным одобрением окружающих: деспотизм находил здесь определенные пределы, поскольку, заботясь о престиже, рыцарь должен был остерегаться выходить за обычные границы проявления самовластия.

Теперь нетрудно представить, насколько чуждым должно было казаться Гийому поведение монаха. Мало того, что он тайно *копил* деньги. Он намеревался столь же приватно пускать их в рост, *накапливать*, одалживая таким же благородным рыцарям, как и сам Гийом. Любопытно, что, возмущаясь намерением монаха заняться ростовщичеством, Гийом даже не вспоминает о церковном осуждении этого занятия. Ему нет необходимости подкреплять свое решение отобрать деньги ссылками на церковные запреты. Ему вполне хватает собственной убежденности в том, что такие действия — вопиющее нарушение куртуазного канона и не могут быть терпимы. Отбирая у монаха кошелек, он действует как своего рода “судебный исполнитель”, осуществляющий неписаные нормы светского куртуазного общества. (Противостояние двух разных ценностных систем выступает здесь со всей очевидностью.)

Почему же Гийом не отобрал заодно и всего остального? Судя по реакции сеньора Хамелинкурта, такая возможность ничуть не исключалась. Во всяком случае, сам этот сеньор не преминул бы забрать и коней, и поклажу. Такое поведение не вызвало бы недоумения у рядовых рыцарей. Но Гийом не рядовой, он — “лучший рыцарь во всем мире”. Ему приличествует

действовать не так, как все, но как того требует достижимый лишь для немногих идеал. Согласно этому идеалу рыцарь — защитник сирых и слабых. Он не оставит в беде того, кому грозят невзгоды. Отобрать у монаха — пусть нечестивого — все, что у него было, и оставить его — вместе с подругой — ни с чем посреди большой дороги, значит обречь этих людей на погибель. Такое не может себе позволить идеальный рыцарь. Ведь его действия не могут быть стандартными, они *должны* отличать его от рядовых, как бы “превышая” обычную норму.

Да и зачем ему все добро монаха? Гийом не ищет обогащения. С него довольно и того, что он уже забрал у монаха. Думать о богатстве назавтра не в его привычках. *Он живет днем сегодняшним*. К тому же и сам монах, и его красивая подружка для Гийома не безликие путники. Он не забыл, чья сестра эта женщина, откуда она родом, не забыл и того, что монах не обманул его ни насчет количества денег, ни насчет качества монеты. Среди тех, кто заслуживает внимания Гийома, т. е. среди тех, кто *равен* ему (или хотя бы может на это претендовать), каждый человек — на особицу.

Нетрудно заметить, что в рассказе о Гийоме — особенно в тех его частях, о которых только что шла речь, — немало черточек редкостного, нестандартного, идеального поведения, представлявшегося автору поэмы более или менее явным исключением. Откуда это идет? Зачем трувер Жан — как и многие ему подобные — так часто касался дихотомии идеала и обыденного? Ведь “обратная связь” с рыцарской аудиторией, казалось бы, навязывала светскому автору акцент в первую очередь на обыденном.

Обдумывая этот аспект, стоило бы, видимо, принять во внимание не только те особенности данного литературного жанра, которые предполагали создание образа утопического рыцаря без страха и упрека. *Напряженный поиск идеала мог выражать и подспудную критическую оценку обыденности*, т. е. был результатом известной неудовлетворенности ею и самого автора, и его читателей. Здесь, конечно, сказывалось противопоставление мира горнего и мира суетного, обычное для христианского Запада. Но пропущенное сквозь мировоззрение светского писателя, это противопоставление неизбежно обретало иной, более конкретный и приземленный смысл. Утверждалась возможность противостоять расхожим вариантам рыцарского поведения. Сами же они выступали как заслуживающие критики. Совершенствование обыденного поведения выступало не только как возможное, но и нравственно оправданное. Соответственно, приходилось признавать допустимыми и отклоняющиеся, нестандартные действия персонажа, ищущего путь к преодолению рутины. *Образ идеального рыцаря с этой точки зрения мог выразить и стимулировать неудовлетворенность суущим.*

* * *

Не свидетельствует ли предшествующее изложение о том, что единичный казус может быть эффективным познавательным средством не только при выяснении второстепенных деталей? Заведомая ограниченность масштабов уже сама по себе создает предпосылки для особенно пристального рассмотрения всего, что находится в поле зрения. Особые возможности открываются для исследования отдельного индивида. Интенсивный микроанализ позволяет увидеть (и осмыслить) интенции и поступки каждого героя по-новому — не как функцию внешних по отношению к нему социальных сил и не как “продукт” одного только интеллектуального осмысления со стороны современного исследователя; благодаря конкретности и детальности всего описания отдельные *“действующие лица”* могут быть восприняты в большей или меньшей степени как бы изнутри их собственного мира, сохраняющие всю теплоту личного присутствия, всю свежесть сиюминутного действия. На первом плане исследовательского видения здесь оказываются *acteurs* как таковые.

Иными словами, микроанализ может высветить специфические для каждого из *acteurs* формы восприятия, конкретные мотивы поступков, их видимые и скрытые последствия, т. е. все то, что так трудно заметить при общем обзоре. Но это открывает дорогу более глубокому постижению и *взаимосвязей* отдельных индивидов с более обширным социальным целым. Таким образом, отправляясь от интенсивного описания “неповторимо индивидуального”, мы оказываемся затем в состоянии интерпретировать индивидуальное в рамках некоторого контекста.

Как известно, во всяком обществе его структура накладывает свой отпечаток на любого индивида. Это не лишает его, однако, большего или меньшего “зазора свободы”. Именно благодаря этому “зазору” индивид сохраняет *возможность выбора* в своих действиях (сколь бы ограниченной эта возможность ни являлась). Микроистория решает свои познавательные задачи в первую очередь через анализ этого индивидуального выбора.

В применении к исследуемому литературному тексту речь может идти, конечно, лишь об изучении мира воображения. В нем действуют герои, которые — при всей их близости (в рамках данной поэмы) к конкретным прототипам — выступают не более чем персонажи литературного произведения. Это, безусловно, придает микроанализу свою специфику. Но характера исследовательских процедур это качественно не изменяет.

Прочитав этот этюд, иной скептик, может быть, скажет, что предпринятый здесь анализ облика рыцаря дал результаты, мало отличающиеся по своему содержанию от уже известных науке. Соглашусь: характерные черты этого облика, выясненные на основе микроанализа, не расходятся с тем, что было установлено при использовании иных исследовательских подходов. Одна-

ко я вижу в этом факте свидетельство достоинств данного метода: он “выдержал экзамен”, он не извращает картину прошлого, какой она рисуется на базе других методик.

В то же время он высвечивает в интересующем нас “мире воображения” и новые грани рыцарского облика. Становятся виднее такие разноплановые черточки образа рыцаря, как основополагающая роль куртуазного видения мира, всецелая поглощенность днем сегодняшним, сугубая конкретность всех суждений об окружающих, психологические формы оправдания самовластья, презрение к накопительству, право на присвоение богатств “другого” и т. п.

Но, может быть, еще важнее выявление тех особенностей идеального рыцаря, которыми он отличается от остальных своих собратьев. В нем как бы персонифицируется тенденция противостояния обыденности. Важность этой тенденции не в обширности ее проявлений (их пока что немного), но в самом факте ее существования. Как бы свидетельствуя о том, что мир не сводится к обыденному и стандартному, персонаж идеального рыцаря возвещал миру возможность не быть “как все”. В противовес варьированию стереотипов он оправдывал поиск того, что могло бы им противостоять. Идеальный рыцарь оказывался в этом смысле антагонистом рутинной повседневности.

Примечания

¹ L'Histoire de Guillaume le Maréchal, comte de Striguil et de Pembroke régent d'Angleterre de 1216 à 1219. Poème française, p. p. la Société de l'Histoire de France par Paul Meyer. T. 1–3. P. 1891–1901. Авторство трувера Жана (Johan) отмечено непосредственно в тексте поэмы — V. 19189. Как показал П. Мейер, опираясь на даты жизни и смерти самого Гийома и действующих в поэме исторических лиц, она была написана между 1219 и 1226 г. (L'Histoire... Т. 3. P. VII–X). Пересказываемый здесь эпизод излагается в т. 1 поэмы, стихи 6677–6868; он относится к 1183 г. и предшествует внезапной смерти принца Генриха (1155–1183) — старшего сына короля Генриха II Плантагенета. В текстах XII–XIII вв. этот принц, получивший в удел от отца Нормандию, именуется обычно “молодым королем”.

² Meyer P. Une bonne aubaine // Romania. 1886. P. 58.

³ Ibid.

⁴ Судя по высказываниям трувера и событиям, которые он упоминает, в момент написания поэмы ему было около шестидесяти лет. По его словам, он пользовался письменными заметками о жизни своего героя, предоставленными ему последним из оруженосцев Гийома — Жаном д'Эрле, а также другими имевшимися в его распоряжении письменными материалами, включая даже административные акты. Особенно настойчиво трувер подчеркивает, что он пишет только о том, что видел своими глазами или узнал от надежного свидетеля и что является истинной правдой (см.: L'Histoire de Guillaume... Т. 1. P. 43, 47, 49, 50, 63, 85, 87, 176, 225, 231, 247, 269 etc). В этих ремарках звучит, видимо, отклик на обвинения в адрес *поэтов*, склонных по мнению ряда современников к выдумкам — в противоположность хронистам, предпочитавшим прозаические жанры (см.: Примеч. 6).

- ⁵ Яркую характеристику трувера Жана дает Дж. Дюби: *Duby G. Guillaume le Maréchal ou le meilleur chevalier du monde*. P., 1984. P. 40–43.
- ⁶ *Gabrielle M. Spiegel. De l'oral à l'écrit: la sémiotique sociale de la prose française au XIII siècle // Histoire et société*. P. 1992. Vol. IV. La mémoire, l'écriture et l'histoire. P. 20 et suiv.
- ⁷ Под этими представлениями я понимаю здесь (вслед за Франсуа Артогом) в первую очередь субъективные “représentances”, а не объективные “représentations” (*Hartog Fr. L'art du récit historique // Passés Recomposés*. P., 1995. P. 193).
- ⁸ “История Гийома Ле Марешаля” не раз использовалась в качестве одного из источников при изучении истории рыцарства. Наиболее интересная работа, основывающаяся на этом тексте, — названная выше книга Дюби. Спустя шесть лет после ее опубликования английский исследователь Д. Крауч (*Crouch D. William Marshal. Court, Career and Chivalry in the Angevin Empire*. L.; N.Y., 1990) подверг ее довольно резкой критике, в частности, за то, что в ней не использован источниковедческий анализ поэмы, сделанный в свое время С. Пейнтер (*Painter S. William Marshal*. Baltimore, 1933), и вовсе игнорируются сохранившиеся грамоты самого Гийома о его поземельных и иных сделках. Предпринятое Краучем исследование этих грамот позволило заметно уточнить данные о земельных владениях Гийома, об основанных им монастырях и о рыцарях, связанных с ним вассальными отношениями. В результате образ Гийома стал еще более реальным и конкретным.
- ⁹ О принадлежности к куртуазному миру как о важнейшем для рыцаря критерии социального деления см.: *Duby G., Bronislaw Geremek. Passions communes*. P., 1992. P. 86.
- ¹⁰ *L'Histoire de Guillaume... V. 6689–6692*: “Si com li Maresch. dormeit, // E vos... une femme bele, // Ne sai s'ert dame ou damisele...”.
- ¹¹ *Duby G. Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale*. P., 1981. P. 99.
- ¹² См. об этом: *Бессмертный Ю.Л.* К изучению матримониального поведения во Франции XII–XIII вв. // *Одиссей*, 1989. М., 1989. С. 98 и след.
- ¹³ *L'Histoire de Guillaume... V. 6689–6691*: “Si com li Maresch. dormeit, // E vos uns home qui beals esteit // E granz...”; *V. 6749–6750*: “...ce fu le plus bel moigne // Que l'en trovast dusque Coloingne...”.
- ¹⁴ *Guiraut de Bornelh. Era can vei reverdezitzt. V. 57-64 (Kolsen A. Samtliche Lieder des Trobadors Gir. de Bornelh. Halle, 1910)*: Cudes s'avers fos ajostatz // Que's cregues ni's dobles engans? // Non es semblans! // Mas, desque seri'acolhitz // Fos gen partitz, // Ses desmezure'e ses desrei. (Ужели для того растут богатства, // Чтоб рос и множились обман? // Да нет, никак! Лишь только соберешь добро, // Поделено оно должно быть благородно, // Без дозволя и неправды. (*Пер. Р.А. Фридман.*)
- ¹⁵ Особенно ясно высказывался об этом один из современников Гийома — Бертран де Борн: см.: *Gouiran G. L'amour et la guerre: L'oeuvre de Bertran de Born*. Aix-en-Provence, 1985. P. 99 et suiv.
- ¹⁶ Как известно, именно в конце XII в. французские хроники засвидетельствовали примеры своеобразного рыцарского “потлача”, когда похвалявшиеся largesse рыцари засеивали на глазах у соратников свои поля тысячами монет, приказывали варить еду на огне восковых факелов или же сжигали собственные конюшни вместе с дорогостоящими боевыми конями (см. об этом в описании праздника II Плантагенета в Бокере в честь заключения в 1174 г. мира между королем Арагона и герцогом Нарбонны, которое приводит лимузенский хронист Жофруа де Вижуа (*Geoffroi de Vigeois*); хроника опубликована: *Lable Ph. Novae bibliothecae manuscriptorum librorum*. 1657. Т. II. Об этой черте рыцарского поведения писали многие специалисты, в частности М. Блок (*Bloch M. La Société féodale*. P., 1968. P. 432) и А.Я. Гурье-

вич (Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 226–227). Однако редко удается увидеть описание этого поведенческого стереотипа столь конкретно, как в действиях Гийома.

- ¹⁷ Как полагает Д. Крауч (*Crouch D.* Op. cit. P. 7), трувер Жан дает Гийому столь лестную характеристику не только из-за его собственных заслуг, но, возможно, в пику соперникам Гийома из рода Уорика, чей легендарный представитель Gui de Warewick выступал в рома-

не, написанном за 10–20 лет до поэмы о Гийоме, именно с этим титулом.

- ¹⁸ При этом противоречие жизненного опыта идеалам и их литературным воплощениям не ведет ни к исчезновению самих идеалов, ни даже к уменьшению их притягательности (см. об этом на другом материале: *Kharaeva D.* L'Occident dans l'imaginaire russe // Information sur les Sciences sociales. P., 1994. № 33/1).

Ю.Л. Бессмертный

“И все объяты пламенем любовным, без помыслов дурных”

Двор анжуйского герцога, обычно называемого “добрым королем Рене” (1409–1480), в середине XV в., соперничая с бургундским двором, славился пышными и изобретательными рыцарскими празднествами. Одно из наиболее славных было устроено в замке близ Сомюра летом 1446 г. В центре празднества было рыцарское состязание, которое в литературе обычно, начиная с XVII в., именуется турниром (tournoi). Но для его участников и зрителей это был никоим образом не турнир, а джостра (joute). Различие между этими двумя видами игр во Франции уже в XVII в. было, видимо, изрядно забыто, чему, надо полагать, способствовал запрет турниров в стране, введенный в середине XVI в. после того злосчастного состязания, на котором был смертельно ранен король Генрих II. В XV же веке хорошо знали, что турнир — это бой двух отрядов рыцарей. И король Рене в “Книге турниров”, где расписал организацию именно турниров, подчеркнул, что их участники “сходятся для сражения отрядами” (par troupeaux).

Джостра же представляла собой серию поединков, когда на поле ристалища выезжали по двое. Поэтому автор описания сомюрского состязания называет его только джострой. Один из участников этой джостры, Луи де Бово, вспоминая о ней в своем сочинении, посвященном другой джостре, устроенной позднее королем Рене в Тарасконе, также в обоих случаях использует слово “joute”.

В свою очередь джостры различались между собой в зависимости от игровой организации. Во Франции в XV в. были популярны джостры, называвшиеся “pas”, или “pas d’armes” (“проезд”, “обороняемый проезд”). В этом случае организаторы джостры как бы перекрывали какой-либо проезд и требовали от всех имеющих право сражаться, благородных людей, вступить с ними в бой, дабы иметь возможность проехать или добиться проезда для прекрасной дамы. Такой, например, была джостра, устроенная весной 1446 г., незадолго до сомюрской, в которой принял участие король Рене. Ее организаторы, четверо

1

2

3

- 4 благородных рыцарей, возвестили, что по дороге между городками Разийи и Шинон дамы и барышни могут проезжать лишь в сопровождении благородных воинов, обязанных сразиться с защитниками проезда и сломать в бою два копья.



Фрагмент титульного листа рукописи

- 5 Прежде чем говорить о сомюрской джостре, “pas de Saumur”, как называли ее современники, необходимо сказать, благодаря чему до нас дошло ее подробное описание. Оно сохранилось в единственном рукописном тексте, находящемся в собрании Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге (бывшей Публичной). Это рукопись XV в., богато иллюминированная: помимо прочих миниатюр, в ней даны изображения всех участников джостры в рыцарских одеяниях. В XVII в. она принадлежала канцлеру Пьеру Сегье, в XVIII в. поступила в библиотеку аббатства Сен-Жермен-де-Пре, а в конце этого столетия ее приобрел знаменитый русский библиофил П.П. Дубровский, и в составе его коллекции она в 1805 г. поступила в Публичную библиотеку Санкт-Петербурга. С тех пор она исчезла из поля зрения французских ученых, занимавшихся жизнью и творчеством короля Рене и сильно сожалевших о ее пропаже. О ней, однако, знали, ибо еще в середине XVII в., когда она принадлежала Сегье, ее читал ученый эрудит Вюльсон де ла Колонбьер, и он на ее основании дал подробное описание сомюрского турнира (с большим количеством ошибок) в своем труде “Истинный театр чести и рыцарства”. Благодаря именно
- 6 Вюльсону об этой джостре специалисты хорошо знали, и лишь

в 1914 г. французский ученый П. Дюррье обнаружил в Петербурге рукопись, которую долгое время считали исчезнувшей. Первую же развернутую характеристику рукописи дал известный русский филолог-романист В.Ф. Шишмарев, который имел даже намерение опубликовать ее текст, но сделать этого не сумел по независящим от него причинам.

Год проведения сомюрской джостры, 1446, был примечательным. Как пишет автор текста нашей рукописи, это был “год, наступивший после того, как бедствиям войны был положен конец” (9). Он имеет в виду перемирие, заключенное королем Карлом VII с англичанами в мае 1444 г. на 22 месяца, которое благодаря продлениям продолжалось до 1449 г. Это перемирие было особенно важным для короля Рене, поскольку при его заключении с английскими послами было достигнуто соглашение о браке его дочери Маргариты с английским королем Генрихом VI. Бракосочетание состоялось в 1445 г. И в этом же году он выдал другую свою дочь, Иоланту, за Ферри, графа де Водемона, или Ферри Лотарингского, который вместе с женой участвовал в сомюрском празднестве 1446 г.

Об этом времени хронист Матье д’Эскуши писал: “В течение 1446 г. благодаря перемирию между англичанами и французами, которое строго соблюдалось, у сеньоров и благородных людей не было серьезных военных занятий, и тогда было устроено несколько джостр королем Франции и другими государями и знатными сеньорами, а также и другие дорогостоящие развлечения, дабы занять людей военными упражнениями и весело провести время. И среди прочих короли Франции и Сицилии устроили несколько джостр в Сомюре... Тогда через герольдов во многих местах было возвешено, что несколько рыцарей будут охранять проезд, которому было дано название, против всех желающих через него пройти или проехать”. Хронист при этом ошибся, полагая, что в Сомюре был король Карл VII. В его представлении явно совместились несколько джостр, в том числе и организованная в Нанси в 1445 г., где действительно присутствовал французский король. Но характерно, что сомюрский праздник для него как бы затмил другие. Видимо, молва о нем распространилась столь широко, что в воображении сторонних людей, по прошествии определенного времени, все крупные рыцарские состязания той поры казались проходившими в Сомюре.

Праздник в Сомюре начался 26 июня и должен был продлиться 40 дней. Но по истечении этого срока Рене добавил еще два дня, и поэтому он завершился в воскресенье 7 августа (213). Где, однако, он проходил? Дело в том, что в историографии на сей счет утвердились две легенды, никак не подтверждаемые ни документами, ни текстом рукописи. Во-первых, начиная с Лекуа де Ла Марша ряд исследователей утверждают, что все происходило в небольшом замке Лоне, недалеко от Сомюра. Замок был приобретен королем Рене незадолго до этого события,

7

8

9

в 1444 г. Но ни в сохранившихся документах, ни в рукописном тексте замок Лоне ни разу не указывается в качестве места проведения джостры. Как отмечает К. де Мерендоль, Рене, купив замок, предпринял большие работы по его перестройке, которые во время джостры были в полном ходу. Поэтому устраивать там празднество было невозможно. Дошедшие же до нас счета по оплате этих работ Леуа де Ла Марш принял, видимо, за счета по оплате расходов на джостру.

Второй легенде начало положил Вюльсон де ла Коломбьер, написавший, что король Рене специально для джостры построил искусственный деревянный замок. Версию об этом замке подхватил Катрбарб, а от него она перекечовала в “Осень средневековья” Й. Хейзинги. В действительности никакой деревянный замок не возводился. Это впервые отметил современный исследователь рукописного текста Дж. Бьянчотто, справедливо указавший на то, что праздник был устроен в самом Сомюрском замке. Вюльсон неправильно истолковал слова автора рукописного текста, сказавшего о Сомюрском замке как о “chastel fait par artifice” (31), имея в виду, конечно, большое искусство, с каким он был отстроен. Он и в другом месте отмечает великолепие замка (3), который и в самом деле в те времена был одним из наиболее красивых во Франции. Ставший с 1360 г. главной резиденцией деда Рене — герцога Людовика I Анжуйского, он был им перестроен с таким расчетом, чтобы соперничать с лучшими замками его братьев — короля Карла V и герцога Жана Беррийского.

Итак, празднество проходило в прекрасном Сомюрском замке, и было бы слишком странной и неоправданно расточительной затеей строить рядом с ним какой-то деревянный замок. На расстоянии в полполета стрелы от него на мраморном столбе был вывешен щит, который охраняли два льва с приставленными к ним двумя “сарацинами”. Рядом был раскинут шатер, в котором находился карлик, обязанный всякий раз, когда кто-либо наносил удар копьем по щиту (вызывая тем самым одного из “защитников проезда” на бой), давать знать об этом в замок, откуда в сопровождении прекрасной дамы появлялся “защитник”. Как и в других джострах позднего средневековья, здесь использовалось своего рода литературное либретто по мотивам рыцарских романов. И карлик, и сарацины — довольно частые их персонажи. В сомюрской джостре они составляли “веселую стражу”, и автор нашего текста в пояснение этого пишет: “Поскольку в старинных романах написано и можно прочитать, как однажды боль и горе постигли Ланселота, попавшего под печальную стражу, когда его пленил великан, а щит его на беду упал перед подхватившим его карлой, приставленным к шатру как стражник, то и назвали ее веселой стражей” (4). Защитники во главе с королем Рене находились в замке.

Нападающие, которых называли также “чужеземцами”, размещались в неподалеку расположенной обители, где они снаря-

жались к бою и получали напутствия от живущего в ней отшельника. “Отшельник наставлял их, учил, как бой вести, и каждому советовал, как, дабы награду получить, держать себя” (24). Эта обитель была также частью инсценировки, появившейся под влиянием тех же романов, где отшельникам отводилась заметная роль наставников, а иногда и лекарей странствующих рыцарей. Связано это было с тем представлением о временах рыцарей Круглого стола, о котором ясно пишет, например, Томас Мэлори в своем переложении французских романов артуровского цикла: “Ибо в те дни обычай был не таков, как теперь: тогда отшельниками становились только рыцари, некогда доблестные и благородные, и эти отшельники содержали богатые дома, где оказывали гостеприимство всем попавшим в беду”.

Победителям в отдельных поединках по решению судей, среди которых был и известный писатель XV в. Антуан де Ла Саль, долгое время состоявший на службе у Анжуйского дома, раздавались в качестве призов бриллианты — защитникам и рубины — нападающим. Призы эти были равноценны. Впрочем, как бриллианты, так и рубины были по существу символическими наградами и у сражавшихся не оставались, а возвращались дамам. Рыцарям всего было вручено 36 рубинов и 54 бриллианта (218). Эти драгоценные камни, кстати сказать, были, кажется, обычными “промежуточными” наградами. Король Рене в своем трактате о турнирах, написанном после этой джостры, указывает, что рубин вручается тому, кто сломает больше копий, а бриллиант — тому, у кого дольше удержится шлем на голове. При этом он замечает, что бриллиант награда меньшая, нежели рубин.

По окончании джостры судьи определили двух лучших сражавшихся. Одного — из числа защитников, и им стал зять короля Ферри де Водемон, другого — из нападающих, и эта честь выпала на долю сеньора де Флориньи. Первый получил золотую застезжку с бриллиантами и рубинами, о которой наш автор говорит, что стоила она “тысячу франков, а если бы сказал и больше, то уж, конечно б, не соврал”, а второй — боевого коня (216). По соображениям религиозным по пятницам, субботам и воскресеньям бои не проводились. А после каждого боя в замке устраивалось, разумеется, обильное пиршество.

Оставим, однако, пока в покое джостру, которая проводилась всякий раз по однообразным правилам, и обратимся к автору ее поэтического описания, сохранившегося в петербургской рукописи. Имя его, поскольку оно не указано в рукописи, неизвестно, и мало надежды на то, что его когда-либо удастся установить. Для этого нужен был бы какой-нибудь документ той эпохи, где определялось бы авторство текста, но в известных нам счетах и других бумагах короля Рене ничего подобного нет, а потому особенно и уповать не на что.

Но если бы мы даже и знали его имя, оно наверняка не прибавило бы никаких новых штрихов и красок к облику, какой

вырисовывается из сочинения. И это облик достаточно ясный и красочный, чтобы понять человека и почувствовать его духовный мир. Автор текста постоянно самовыражается, подчас весьма неожиданным, оригинальным образом. В этом отношении у данного текста большое преимущество перед схожим по сюжету поэтическим описанием более поздней — тарасконской — джостры, автором которого является сенешал Анжу и Прованса при короле Рене Луи де Бово. Его авторство несомненно, поскольку он указывает свое имя в начале сочинения. Но по прочтении личность этого автора выглядит совершенно блеклой и невыразительной, о нем невозможно сказать что-нибудь сверх того, что известно по другим материалам той эпохи.

Ясно, что наш автор был клириком, скорее всего августинцем, выросшим в какой-то уединенной обители. Таким он изображен на миниатюре со сценой поднесения рукописи королю Рене, таким же он изображает и самого себя, когда говорит: “Я, почти дикарь, вырос в безлюдном месте и не знаю ничего, кроме лесов, и никогда не вижу с благородными людьми, кроме как в городе, при этом дворе иль на празднике” (238). Очень выразительно он подчеркивает доблесть одного из участников джостры, говоря, что “не пожелал бы быть соперником его ни за архиепископство Руанское, ни за место старшего декана Анжерского” (129). В его глазах эти две церковные должности — высшее, о чем он мог бы мечтать, и их упоминание выдает в нем обитателя Анжу.

В Сомюр он прибыл, по его же словам, под занавес праздника, 3 августа (8). И именно тогда ему, по всей видимости, и было поручено его описать. Хотя работа была предпринята “во благое повиновение” королю Рене (9), непосредственным заказчиком был, конечно, кто-то из окружения короля, хорошо знавший, что именно нужно при таком описании его господину. Хочется предположить, что это был сенешал Анжу Луи де Бово, о знакомстве с которым нашего автора может свидетельствовать то, что именно ему и его жене (“наипрекраснейшей во Франции”) он расточает похвалы как никому другому, за исключением короля.

В Сомюр же привело его “благое любопытство” увидеть рыцарские состязания (239). Они его необычайно воодушевляли. По поводу одного из поединков он восклицает: “Вы там увидели бы бой прекрасный, когда они столкнулись и с силой копьями ударили друг друга, затем разъехались и вновь сошлись; там вы увидели бы, как расцветает юность и знатность благородная царит; прекраснее нет ничего под небесами, здесь человек ни состариться, ни заболеть, ни умереть не может — всех вдохновляет и питает радость!” (133).

Все с тем же “благим любопытством”, прибыв в Сомюр, он “много раз прошел по башням и по залам и дам и их наряды разглядел, а также благородную осанку и любезные манеры”

(240). И все ради того, по его утверждению, чтобы это правдиво описать. Его замыслы, изложенные в начале сочинения, были весьма обширны. Гордый тем, что “первым напишет рассказ” о празднике (9), он предполагал поведать о “королях, о герцогах, графах и баронах; о даме и ее уборе, о выходе ее и возвращении.., о том, как воины из замка выезжают и подъезжают к карлику и леопарду, как щит сбивается приезжим чужеземцем, а также о наградах и решениях судей” (5–6). Однако в его сочинении можно найти далеко не все из того, о чем он собирался рассказать.

Его заказчик хорошо знал, что именно нужно королю Рене. И из ярких событий праздника выхватываются почти исключительно поединки на поле ристалища. При этом автора интересуют даже не собственно бои и их результаты. Он сплошь и рядом не знает исходов сражений, и не столько потому, что был очевидцем лишь последних, сколько потому, что для него важнее было другое. О результатах отдельных поединков он мог бы узнать по ведшимся записям или от очевидцев, но он пренебрегает этой возможностью и по поводу одного из боев, например, пишет: “Давно такого боя я не видел, кто лучше был, не помню — ведь судьям следует судить о том” (35). Он не извиняется и не оправдывается, когда не знает или не помнит, кто получил рубин или бриллиант. Но зато всякий раз приносит извинения или оправдывается, если не знает или не помнит того, что для него было наиболее важным. Это имена участников поединков, их гербы, нашлемники (*timbres*) и цвета лошадиных попон.

Так, относительно попоны у лошади графа Танкарвиля, он говорит: “Точно сказать не могу, какого она цвета, ибо не удалось узнать, но скоро постараюсь выяснить и скажу о ней” (51). Будучи не в силах точно описать нашлемник сеньора де ла Пуссоньера, оправдывается: “Нет у меня о нем ясного представления, ибо далеко был от места сражения в тот день” (161), имея в виду, что его еще не было тогда в Сомюре. Что касается Гийома Гоффье, то он не знает ни цвета попоны лошади, ни вида нашлемника. Случай исключительный, на что была и причина чрезвычайная: “Соблаговолите извинить, ведь плыл в тот день я по реке и едва не утонул, и так тяжело было мне, что забыл и попону и шлем” (141).

Итак, описание джостры представляет собой почти протокольную фиксацию имен участников, гербов, нашлемников и цветов попон. За этим стоит в общем вполне определенный смысл такой литературы — запечатлеть в памяти потомства имена и деяния доблестных рыцарей, “чтобы надолго осталась память о возвышенной чести” (8). По мысли анонимного автора “Книги деяний маршала Бусико”, этим даже обеспечивается земное бессмертие: “Подвиги доблестных рыцарей не подлежат смерти, коль скоро они заносятся в вечную память мира благо-

даря книгам. А потому о многих славных героях прошлого, чьи имена и подвиги сохраняются в памяти, говорят, что они не умерли, но живут, т. е. живы их благие деяния, поскольку жива в мире слава о них, и благодаря свидетельству книг она будет
17 жить до конца света”.

Для рыцаря не столь важно было, одерживает ли он победы или терпит поражения. Честь как главное рыцарское достояние зависела не от успехов, а от доблести и добродетели. И один из судей сомюрской джостры, Антуан де Ла Саль, в романе “Маленький Жан де Сентре” писал: “Доблестно поступайте во всем, как и должны поступать, и тогда все — и победы и поражения —
18 послужат вашей чести”. Поэтому наш автор, видимо, и не находил нужным выяснять, кто же выходил победителем из каждого поединка, ибо ценна была не столько победа, сколько доблесть и честь.

Но если указание имен всех участников джостры было непременным условием ее описания, то что касается гербов на щитах, попон и особенно нашлемников, это было, как кажется, особым пристрастием короля Рене. Дело в том, что он придавал очень большое значение этим атрибутам в отличие от других организаторов рыцарских состязаний. Об этом пишет Антуан де Ла Саль в сочинении “О прежних турнирах и сражениях”, вспоминая джостру, устроенную Рене в 1445 г. в Нанси по случаю проводов дочери Маргариты в Англию. Король тогда велел возвестить через герольдов, что все желающие принять участие в состязании должны обязательно иметь подобающие им нашлемники, шлемовые покровы (*lambrequins*) и щиты со своими гербами. Это требование, не выдвигавшееся, видимо, на других кристалищах, беспокоило многих и заставило “молодых и необразованных дворян вспоминать свои гербы и нашлемники, по простоте ума забытые. И поскольку никто не мог выступить в джостре без своего нашлемника и герба на щите, немало знатных людей королевства, — продолжает вспоминать Антуан де Ла Саль, — приходило ко мне, чтобы узнать, какие же у них гербы”. Один из них прямо-таки умолял его: “Ох, отец мой, если вы не поможете, то не знаю, что и делать, ведь сражаться без своего нашлемника
19 и герба на щите нельзя, а я — видит Бог! — и не припомню их”.

Здесь стоит сказать об особенностях миниатюр рукописи, на которых, как уже говорилось, воспроизведены все участники джостры. При всей их безыскусности на них особенно тщательно вырисованы именно гербы, нашлемники, попоны и шлемовые покровы. О том, что в их изображении добивались максимальной точности, свидетельствует об обстоятельстве, что во многих случаях первые рисунки нашлемников смыты, чтобы дать второй, более верный рисунок. А на нескольких миниатюрах смытые изображения так и остались не зарисованными, вероятно потому, что работа над ними прекратилась из-за смерти короля Рене. Нашлемники, кстати сказать, поражают своей

вычурностью. Чаще всего фигурируют головы разных диких животных, но есть также голова мавра и голова, одна половина которой — женская, а вторая — мужская, с бородой. Самый оригинальный нашлемник — обнаженная женщина, сидящая в лохани.

В своем стихотворном сочинении наш автор стремится к точности и при описании одеяний рыцарей, как и вообще событий праздника, дабы “перед ученым мужем не оказаться лжецом” (6). Как бы опасаясь упреков в отступлении от истины, он постоянно настаивает на истинности своих слов и ради своей правоты готов даже пойти на жертвы: “Пусть друга моего повесят, коль я в чем-нибудь солгал!” (218). Но поскольку, как он сам неоднократно признается, сведений ему не хватало, он обещает позднее дополнить и исправить свое сочинение, ибо оно “еще не закончено, но если я буду жив, то исправлю свое жалкое и дурно написанное произведение с помощью тех, кто будет также еще жив” (214). Этот же, первый вариант он спешил завершить осенью 1446 г., ибо в свите короля Рене уезжал в Прованс: “Простите меня за то, что, направляясь непредвиденно в Прованс, спешил завершить работу; потерпите немного, снисходя к моему невежеству, и я вскоре завершу ее” (209).

Вообще он довольно часто подчеркивает свое невежество, “малое разумение и неумение хорошо говорить о достойных вещах” (244). Причем это не обычное для многих средневековых авторов смирение и самоуничижение. Это боязнь показаться неумелым и безыскусным в глазах светских людей, кому предназначалось его сочинение: “Страшусь, что кто-либо из светских осудит меня и прекнет” (242). Поэтому, извиняясь за свой слог и язык, он напоминает о своем скромном положении и воспитании, полученном в уединенной лесной обители.

Но какое же воспитание получил он в этой своей лесной обители? Если окинуть мысленным взором его духовный кругозор, каким он проявляется в этом сочинении, то так и хочется сказать: типично французский клирик, воспитанный не столько на богословско-духовной литературе, сколько на рыцарской. Если обратиться к его историческим познаниям, то совершенно ясно, что они почерпнуты преимущественно из романов. Он нередко упоминает исторических и мифологических персонажей, в основном из числа доблестных героев прошлого, образовавших своего рода рыцарский пантеон. Разумеется, он при этом не различает реальных и легендарных личностей. Все они были для него доблестными рыцарями, с которыми он сравнивает участников сомюрской джостры. Это и король Артур, и Карл Великий, и Персеваль, и Роланд, и Юлий Цезарь, и Ганнибал.

В его исторических представлениях царит полный сумбур. “Александр, великий завоеватель, Юлий, Гай, Иосиф и Маккавей — эти три еврея и двое язычников...” (236). Кто среди них третий еврей и кого он имеет в виду под Гаем и Юлием? Можно предположить, что это Гай Юлий Цезарь, но он его ниже

называет: “Юлий Цезарь со своими, Помпей, Карфаген (!) и Приам, которые столь великие богатства завоевали” (236). Коль скоро и Карфаген он считает личным именем, то не приходится удивляться тому, что Пигмалион у него – рыцарь, а Ясон был влюблен в Елену. Вспоминает он некие “истории Греции, Альбиона, Трои и Лютении”, но из достоверных называет лишь одно историческое сочинение – “Истории Бове”, имея в виду, несомненно, “Историческое зеркало” Винченца из Бове. Он ссылается на это известное сочинение, объясняя возникновение графства Клермон (138). Но допускает при этом две ошибки, говоря, что графство было учреждено для второго сына короля Людовика IX Обера. В действительности это был шестой сын и звали его Робером.

Понятно, что история, как и вообще “наука”, его не вдохновляла. Его душой и помыслами владели живые формы рыцарской и куртуазной культуры. Можно представить себе, какое воодушевление охватило его, когда он оказался на сомюрском празднестве, с какой радостью он взялся его описать. В своем сочинении он лишь однажды предался ненадолго мыслям о Боге и смерти (20), после чего сразу же свернул тему: “Вернемся же к обитателям замка и перейдем на другой язык, оставив тот язык, что не является прекрасным и созвучным природе; гораздо приятней вновь говорить о боях, где любовь не страшится смертельных ударов, а храбрость одолевает страх и питает доблестных мужей” (21). После этого хочется предположить, что автор был юным, иначе он проявил бы больше благоразумия в оценке языка, коим мыслят о Боге. Он же, задаваясь вопросом: “Что всего дороже?”, отвечает: “Фигура, статность, красота манер у благородного создания в сто тысяч раз дороже злата” (21).

Все сочинение нашего автора проникнуто духом куртуазности, царившей на самом празднестве. Джостра была “устроена ради одной дамы, по воле любви” (2). Имени ее он не называет, а лишь замечает: “Душой клянусь, прекрасней ее нет” (2). Ранее высказывалось предположение, что это была Жанна де Лаваль, на которой позднее король Рене женился, когда умерла его первая жена Изабелла Лотарингская. Но Жанны на празднике не было, поэтому прав, вероятно, Дж. Бьянчотто, полагающий, что эта дама – всего лишь любовная фикция.

20

Все участники джостры, как замечает наш автор, “были объемы любовным пламенем без помыслов дурных” (2). Символом джостры стал “новый цветок”, недавно появившийся. Его французское название – “pensée” (анютины глазки), что значит “мышления”, разумеется любовные. Изображениями этого цветка были украшены щиты, подвешенный на мраморном столбе, попоны лошадей и щиты защитников во главе с королем. Король Рене даже переосмыслил цель состязания, и вместе со своими рыцарями он выступал не защитником проезда, а защитником этого цветка, и все они обязались служить ему как символу любви.

Хотя наш автор из множества собравшихся на праздник дам знал, вероятно, одну лишь мадам де Бово, он с восторгом говорит, как много их собралось в замке, где царит “истинная любовь”. Наделяя их всеми возможными достоинствами, он в заключение патетически восклицает: “Имел бы я сто тысяч душ, то все бы бросил в пламя жгучего желанья отвергнуть клевету тех лживых языков, бесчестья полных, что ради удовольствия от зла убить готовы славу, честь, благое имя” (43).

Эту витиеватую фразу, с помощью которой он выразил “жгучее желанье” опровергнуть всех клеветников, что порочат доброе имя и честь дам, можно было бы отнести просто к куртуазной риторике. В действительности же она, по-моему, приподнимает завесу над важной проблемой эволюции куртуазной любви в позднее средневековье. Именно эволюции, хотя в литературе обычно этот идеал считается в ту эпоху явно приходящим в упадок.

Защита чести дамы была очень важным моментом концепции куртуазной любви, поскольку эта любовь — внебрачная. Раньше, в XII—XIII вв., доброе имя женщины оберегалось благодаря потаенности любви, о которой никто, кроме влюбленных, не должен был знать. Главная ответственность за сохранение тайны возлагалась на мужчину, выступавшего как бы гарантом чести возлюбленной, и разглашение им этой тайны рассматривалось как тяжкое преступление против любви. Автор наиболее известного трактата о куртуазной любви Андрей Капеллан по этому поводу приводит такой характерный пример: “Один рыцарь бесстыдно разгласил тайну своей любви и своих интимных сердечных дел. Все, кто служат рыцарями любви, потребовали, чтобы это преступление было сурово наказано, дабы такая измена не осталась безнаказанной, и пример ее не дал бы повода и другим поступать точно так же. А суд женщин, собравшийся в Гаскони, единодушно постановил..., что такой человек должен быть лишен всякой надежды на любовь как недостойный и презренный в глазах всех дам и рыцарей”.

В XV в., хотя о сохранении любви в тайне продолжают писать и говорить, особенно сильно начинают звучать инвективы против клеветников, бесчестящих женщин за их любовь, и поднимаются требования наказания именно для них. Доброе имя дамы как бы должно ограждаться не столько тайной любви, сколько пресечением злослычия. В этом отношении большой интерес представляет личность короля Рене, выступавшего настоящим паладином женской чести. В своем трактате о турнирах он предусматривает особую церемонию выявления злослычников и их наказания за то, что они порочат женщин. Накануне турнира все его участники, по мысли короля, сносят свои шлемы с нашлемниками в галерею, после чего “собираются все дамы и барышни, все сеньоры, рыцари и оруженосцы и совершают обход, рассматривая их; присутствующие здесь судьи турнира трижды или четырежды обводят дам, чтобы лучше рассмо-

треть нашлемники, а герольды должны разъяснять дамам, кому принадлежит тот или иной шлем. И в случае, если среди участников турнира окажется такой, кто злословил о дамах, и дамы коснутся его шлема, то пусть на следующий день он будет наказан". Окончательное решение о наказании выносят судьи, если они признают справедливость обвинения. "И в наказание такой человек должен быть избит другими рыцарями и оруженосцами, участвующими в турнире, и пусть бьют его так и столь долго, пока он громко не возопит к дамам о пощаде и не пообещает при всех, что никогда не будет злословить и дурно отзываться о женщинах".

22 В уставе же ордена Полумесяца, основанного королем Рене в 1448 г., всем его квалерам вменялось в обязанность, наряду с прочим, "ни в коем случае не злословить о жещинах, какого бы положения они ни были".

23 Не нужно думать, будто речь здесь идет о злословии о женщинах вообще, как дочерях Евы, в духе средневекового антифеминизма. Совершенно ясно, что за всем этим стояло стремление оградить женщин от злоязычия по поводу их любовных связей, и это предоставляло им большую нравственную свободу любви. Именно в сторону этой свободы и эволюционировал любовный куртуазный идеал.

Чтобы убедиться в этом, стоит бросить взгляд на нравы французского королевского двора в первой половине следующего столетия, обратившись к сочинению Брантома "Галантные дамы". Этот автор убедительно показывает, как при дворе утверждались нормы весьма свободных любовных отношений, в которые женщины могли вступать, все менее беспокоясь об ущербе своей чести. Заботу о защите доброго имени придворных дам брали на себя короли. Так, Франциск I, который, как замечает Брантом, "хотя и держался того мнения, что дамы очень непостоянны и склонны к измене", тем не менее "очень любил дам и не терпел, когда о них злословили при дворе, и требовал, чтобы им выказывали большое уважение и почет".

24 Однажды он даже чуть не отправил на плаху молодого дворянина за то, что тот позволил выразиться неуважительно об одной из дам. Генрих II также не переносил клеветы на женщин и если любил послушать анекдоты про женские проделки, то лишь

25 такие, в которых не задевалась ничья честь. Нужно ли было при этом утаивать любовные отношения? Хотя Брантом и утверждает, что "дамы должны быть всеми почитаемы, а их любовь и склонности держаться в тайне", все же эта куртуазная, придворная любовь явно шла к тому, чтобы не таиться и добиваться своего морального оправдания, для чего необходимо было искоренить злословие по ее поводу, оскорбительное для женщин. Не случайно тот же Франциск I не только сам не скрывал своих сердечных привязанностей, но, по свидетельству Брантома, и от придворных требовал, чтобы они открыто приходили ко двору со своими возлюбленными.

Дальнейшая история придворной жизни во Франции дает еще более убедительные свидетельства того, что за женщинами закреплялось как бы право на внебрачную любовь, и эта “новая” куртуазность достигла своего расцвета при дворе Людовика XV. Но вернемся, однако, к временам короля Рене, когда этот поворот в развитии куртуазной любви дает впервые о себе ясно знать, и не только в литературе, но и в придворной жизни. Здесь стоит вспомнить одну персону, которая в свете этих перемен приобретает символическое значение. Это знаменитая любовница французского короля Карла VII Агнесса Сорель. Она стала первой из возлюбленных французских королей, которую венценосный поклонник не утаивал, а, напротив, являл всем в почете и величии. И их дочери не пропали в безвестности, но сделали блестящие партии.

И вряд ли случайно то, что Агнесса Сорель была воспитана при дворе короля Рене как придворная дама его жены Изабеллы Лотарингской и что именно здесь Карл познакомился с ней. Анжуйский двор мог тогда лучше всего, видимо, подготовить женщину к роли явной и едва ли не официальной возлюбленной в духе новой куртуазности.

Тем же духом проникнуто и сочинение нашего автора, с энтузиазмом писавшего о том, что было у всех на слуху и что отвечало его душевным влечениям. Столь выразительно поэтому он в конце просит “поклонников любовной рифмы, что чтят ее больше латыни”, помолиться за его душу, но сделать это “вечером, не дожидаясь утра: ведь ночью их любовь разнежит так, что, как предписано природой, спать утром будут долго и пропустят время для молитвы” (245–246). Как видим, казус сомюрской джостры 1446 г., воспроизведенный в исследованном сочинении, можно рассматривать в качестве одного из ярких свидетельств зарождения в то время “новой куртуазности”.

Примечания

- 1 Его полная титулатура: король Сицилии, Иерусалима и Арагона, герцог Анжу, Бара и Лотарингии, граф Прованса. Королевские титулы в это время были у него номинальными.
- 2 *Oeuvres complètes du Roi René* / Ed. M. Le comte de Quatrebarbes. Angers, 1844. Т. 2. P. 36.
- 3 *Ibid.* P. 50.
- 4 Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург. Fr. F. XIV. № 4. Строфа 10. В дальнейшем номера строф будут указываться в тексте статьи.
- 5 *Ibid.*
- 6 *Vulson de la Colombière. Le vrai théâtre d'honneur et de chevalerie.* P., 1648. Т. 1. P. 81–106.
- 7 *Durrieu P. Manuscrits français retrouvés à Saint-Petersbourg / Tournai du Roi René* // *Bulletin des antiquaires de France.* 1914; *Шушмарев В.Ф.* Следы библиотеки Рене Анжуйского в рукописных собраниях Публичной библиотеки // *Средневековье в рукописях Публичной библиотеки.* Л., 1927. Вып. II.
- 8 *D'Escouchy M. Chronique* / Ed. G. du Fresne de Beaucourt. P., 1863. Т. 1. P. 107.
- 9 *Lecoy de la Marche A. Le Roi René.* P., 1875. Т. 1. P. 258.

- ¹⁰ *Merindol de Ch.* Les demeures du roi René en Anjou et leur décoration peinte // Bulletin de la société nationale des antiquaires de France. 1978–1979. P. 186.
- ¹¹ *Vulson de la Colombière.* Op. cit. T. 1. P. 82.
- ¹² *Хейзинга Й.* Осень средневековья. М., 1988. С. 90.
- ¹³ *Bianciotto G.* Le pas d'armes de Saumur (1446) et la vie chevaleresque à la cour de René d'Anjou // Annales universitaires d'Avignon. 1986. Numéro spécial 1 et 2. P. 8–9.
- ¹⁴ *Мэлори Т.* Смерть Артура. М., 1974. С. 663.
- ¹⁵ *Bianciotto G.* Op. cit. P. 3.
- ¹⁶ *Oeuvres complètes...* T. 2. P. 39.
- ¹⁷ Le livre des faits du mareschal de Boucicaut / Nouvelle collection des mémoires pour servir à l'histoire de France / Ed. Michaud et Poujoulat. I ser. P., 1836. T. II. P. 215.
- ¹⁸ *Antoine la Sale de.* L'hystoire et plaisante cronique du petit Jehan de Saintré et de la jeune dame des Belles Cousines / Ed. J. Guichard. P., 1843. P. 89.
- ¹⁹ *Traité du duel judiciaire, relations de pas d'armes et tournois par Olivier de La Marche, Jean de Villiers, seigneur de l'Isle-Adam, Hardouin de la Jaille, Antoine de La Sale / Ed. B. Prost. P., 1872. P. 216–217.*
- ²⁰ *Bianciotto G.* Op. cit. P. 11.
- ²¹ *André le Chapelain.* Traité de l'amour courtois / Ed. C. Buridant. P., 1974. P. 174.
- ²² *Oeuvres complètes...* T. 1. P. 21, 23.
- ²³ *Ibid.* T. 1. P. 55.
- ²⁴ *Brantôme P.* Les dames galantes / Ed. M. Rat. P., 1960. P. 294.
- ²⁵ *Ibid.* P. 301.
- ²⁶ *Ibid.* P. 328.

Ю.П. Малинин

Побег Воина

Сюжет, эпоха, действующие лица

Сюжет нашей истории не только необычен, но и драматичен. Под пером романиста он мог бы превратиться в захватывающее произведение. Тем не менее и для историка драматический казус или неожиданное, необычное событие прошлого весьма привлекательны тем, что они порождают вокруг себя взрыв человеческих эмоций, которые в других случаях редко находят отражение в источниках. И тут появляется возможность отчасти проникнуть в сферу мыслей и чувств людей из далекого прошлого, тут, выражаясь словами Марка Блока, “человечиной пахнет”.

Итак, сразу введем читателя в курс дела и кратко наметим канву событий, о которых пойдет речь. Ведущий дипломат и будущий канцлер Российского государства думный дворянин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин в конце 1659 – начале 1660 г., находясь в недавно завоеванной русскими Лифляндии, вел напряженную подготовку к заключению вечного мира со Швецией. Первый шаг был уже сделан – 20 декабря 1658 г. русские послы заключили со шведами трехлетнее перемирие в деревне Валиесар. Это перемирие позволило России усилить военные действия против Речи Посполитой в борьбе за Украину. Ордин-Нащокин ожидал приезда из Москвы своего сына Воина, который был им послан с поручениями к царю Алексею Михайловичу. Однако в феврале вместо ожидаемого сына пришло известие о том, что Воин покинул отечество и направился к польскому королю, находившемуся в то время в Гданьске (Данциге). Афанасий Лаврентьевич тут же написал царю о своей немедленной отставке, но получил ответ с отказом. Подробнее обо всем этом и о том, как развивались события дальше, чем они были вызваны, какую реакцию получили у современников, мы и расскажем ниже.

Безусловно, читатель хочет иметь определенное представление об эпохе, в которую развернулись описываемые нами события.

Однако очевидно, что “втиснуть” в наш сюжет очерк о времени правления царя Алексея Михайловича не представляется возможным. И все же мы делаем такую попытку, прибегнув к сжато-тому рассказу летописца, так описавшего интересующий нас период: «В лето 7153, а от Рождества Христова 1645, Алексей Михайлович, взошед на царство, во-первых, отбил посланными войсками турков и татар, нападавших на украинны, утишил начавшийся бунт новгородской, отложившихся пскович принудил военною силою к сдаче и послушанию, казнив завоetchиков; сочинил Уложение. Сам ходил с войском под Смоленск; воевал по всей Польше; также ходил в Лифляндию, даже до Риги. Между тем Никон сошел с патриаршества и ради учиненного государю многого беспокойства призванными вселенскими патриархами лишен своего чина. В те же времена донской казак Стенка Разин разбойничал на Волге и по Каспийскому морю, взял Астрахань и другие низовские города, учинил многа убивства и разорения. Наконец, пойман на Дону и в Москве четвертован. Сей злодей много препятствовал государю в строении флота на Каспийском море, сжег первопостроенный в Астрахани корабль, называемой “Орел”. Был государь на престоле 31 год, а всех лет его было 47».

2



Портрет царя Алексея Михайловича

В нашей истории три главных действующих лица, характеры и судьбы которых нашли яркое проявление в произошедшем казусе и дали ему соответствующее развитие. Без характеристики их личностей ситуация останется лишь простой фабулой, не имеющей внутреннего содержания. И тут обстоятельства нам благоприятствуют: царь Алексей Михайлович Романов и “посольских дел оберегатель” Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин оставили после себя богатое эпистолярное наследство,

они оба были, пожалуй, самыми “пишущими” людьми своего времени, времени, в котором свидетельства личного и особенно эмоционального характера чрезвычайно редки. Хорошо известна и их государственная деятельность. Эти обстоятельства позволяют составить весьма объемное представление об их личностях. Гораздо труднее представить себе личность третьего и главного героя нашего сюжета — Воина Афанасьевича Нашокина, который оставил по себе мало свидетельств.

О царе Алексее Михайловиче, как и о Афанасии Лаврентьевиче Ордине-Нашокине, написано немало, и, что вполне естественно, им даны противоречивые оценки и характеристики, которые, впрочем, объединены неизменной симпатией к ним историков.



Портрет А.Л. Ордина-Нашокина

Начнем с царя. Ему посвящены страницы, принадлежащие перу лучших русских историков — С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, И.Е. Забелина, С.Ф. Платонова и др. С.М. Соловьев одним из первых проявил внимание к личности Алексея Михайловича и так резюмировал свои наблюдения: “...В самом начале царствования (Алексея Михайловича. — *О.К.*) можно было видеть, что правление находится в крепкой руке человека, умеющего распоряжаться умно и с достоинством... Бесспорно, Алексей Михайлович представлял самое привлекательное явление, когда-либо виденное на престоле царей московских”. В.О. Ключевский одновременно и соглашался с Соловьевым, и противоречил ему, когда писал об Алексее Михайловиче: “Я готов видеть в нем лучшего человека древней Руси, по крайней мере, не знаю другого древнерусского человека, который производил бы более приятное впечатление, — но только не на престоле. Это был довольно пассивный характер”. С.Ф. Платонов, последователь Ключевского во всех его оценках, также характеризовал Алексея

3

4

5 Михайловича как личность “богаче всего одаренную сердцем, беднее — твердой волею”, в то же время замечая: “симпатичная наружность, симпатичная душа”. Платонов, однако, не считал приговор историков окончательным и справедливо полагал, что “более совершенная разработка эпохи даст и более верное представление о ее деятеле. Последнее слово о царе Алексее Михайловиче еще не сказано и не скоро будет сказано”. Это мнение ученых сформировалось на основе чтения писем и бумаг царя, который предстает в них человеком, строго следующим всем заповедям христианской морали и постоянно соизмеряющим с ними свои слова и поступки. Однако политическая деятельность оказывалась не всегда совместимой с высокой моралью, отсюда происходили колебания и нерешительность в его поступках, хотя, на мой взгляд, Алексею Михайловичу можно отказать в отсутствии твердой воли разве что в сравнении с его младшим сыном, Петром I. В отличие от Петра его отец стремился к новшествам без отказа от старины.

Другой участник нашего повествования, Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин, также заслужил многочисленные похвалы как современников, так и историков, но в его характеристиках, наоборот, подчеркивается волевая и деятельная натура, острый ум, высочайший профессионализм в дипломатической сфере и отсутствие таких черт, как мягкость и добродушие. Несмотря на разницу в характерах царя и Ордина-Нащокина, их связывало взаимопонимание, доверие и, в конечном счете, дружба.

6 Ордин-Нащокин был псковским дворянином незнатного происхождения, но благодаря благосклонности к нему царя занимал при дворе важное место. Ордин-Нащокин выполнял различные дипломатические поручения, поскольку, по словам царя, “Афанасий немецкое дело знает и немецкие нравы знает же”, а также был полковым и городовым воеводой. Нащокин стремился к проведению реформ в экономической и управленческой сферах. Он часто получал от царя полномочия скрывать от бояр многие государственные поручения и действовать самостоятельно. Но, конечно, бояре догадывались об этом. Так, даже подьячий Посольского приказа Григорий Котошихин сообщал польскому королю, что Нащокину на переговоры с польскими комиссарами был дан особый наказ, “а бояре о том не ведали”. В Думе по вопросам внешней политики Ордин-Нащокин 8 часто держался своего особого мнения. Он зачастую противоречил и царю, и вместо исполнения полученного приказа писал подробные разьяснения своего с ним несогласия. Никто из других царских фаворитов незнатного происхождения не подвергался таким нападкам со стороны знати, как Ордин-Нащокин, и, думается, что причина была не столько в захудалости его происхождения, сколько в независимости его характера и нарочитом стремлении противопоставить свою службу и свою образованность деятельности бояр. Афанасий Лаврентьевич был фанатично

предан служебному долгу, очень строгий к себе, он и от других требовал безупречной службы в ущерб личным интересам. 9

О третьем “действующем лице”, Воине Афанасьевиче Ордине-Нащокине, известно гораздо меньше: он почти не оставил по себе писем или записок. Тем не менее попробуем собрать воедино немногие найденные нами факты его биографии за период до его побега в Польшу. Родился он, видимо, в 1636 или 1637 г. и был крещен именем Петр. Воин — его мирское, домашнее имя. В феврале 1643 г. отец, находящийся в отъезде, просил своих псковских “приятелей” позаботиться об отдаче сына в начальное обучение: “Пожалуйте, государи, по сей моей грамоте прикажите в домишко мое, чтоб мальчика моево дали грамоте учить попу Григорию Опимахову и жил бы он у него в дому. А будет того священника тут нет — ино Максиму пономарю”. Позднее Воина учили некие “польские полоняники”. 13,14 В 1659 г. Воин был включен в список стольников, сопровождавших отца на посольском съезде. Представляется, что это не первое его служебное назначение, и, как обычно, он должен был начать нести государеву службу с 15 лет. С большой долей вероятности можно предположить, что она проходила при отце. 15

Побег и возвращение

Побег Воина со службы источники позволяют реконструировать следующим образом. Афанасий Лаврентьевич, проводивший в 1659 г. переговоры со шведским послом Бент Горном (сначала на Двине, а потом в Эстляндии) о заключении вечно мира, в конце года отправил Воина от “чудотворного образа” с поручением к царю Алексею Михайловичу. Обратного отцу Воин, по словам самого царя, “отпущен был со многими указы: о делех и с ведомостями”. Указ, переданный с ним послам, был очень важным — он содержал условия, которые должна была выдвинуть российская сторона для заключения мира. 16 Ему также были выданы деньги из Посольского приказа, несмотря на то что отец просил их никому не давать и держать “на расходы”. Из Москвы Воина провожал окольный Федор Михайлович Ртищев — также один из царских фаворитов. С Воином при отъезде находились двое русских, видимо, молодых и вольных, и поляки — Секлицкий и Полтаревич. Первый был из Могилева и “жил своевольно на Москве”, второй служил при Афанасии Лаврентьевиче и, очевидно, с самого начала сопровождал Воина. Из Москвы Воин направился в родной Псков, где, вероятно, повидал мать. 17 18 19 20 21

Когда стало известно, что Воин “к отцу не бывал”, и пришло известие от курфюрста бранденбургского Бронислава Радзивилла, что “столник Воин Афанасьевич ехал через Кейданы до Прус и ныне у королевского величества полского во Гданске принят”, стали разведывать, каким образом он туда попал. Уда- 22

лось узнать следующее. Воин поехал в Белоруссию, на Дзусе он говорил местным жителям, что едет в полк к боярину кн. И.А. Хованскому, который стоял в то время под Брестом, готовясь к атаке на польские войска. В Браславле (Подолія) он остановился на ночь и здесь говорил, “что едет он в Прусскую землю, а для чего – не сказывал”. По слухам Воин по дороге встретился с жолнерами маршалка Полубенского (или был захвачен ими?), которые отвели его к своему командиру, а тот от-
 23 правил его к королю в Гданьск. Эти сведения частично подтвердил позднее один из спутников Воина: “Едучи изо Пскова мимо Красной к Браславлю”, Воин взял его с собой в Гданьск. Таким образом, Воин почему-то направился в район сражений русских и польских войск, которые велись за Украину.

Воин прибыл в Гданьск, где в то время находился со своим двором король польский Ян Казимир. Тут Воин переоделся в немецкое платье, “а то де немецкое платье три перемены привез с собою Войка с Москвы”, сообщал тот же его спутник, явно намекая, что Воин готовился к побегу еще в Москве. Как
 26 рассказал позднее другой человек его свиты – вышеупомянутый Станислав Полтаревич, вернувшийся вновь служить к Афанасию Лаврентьевичу, Воин вводил его в заблуждение, утверждая, что он послан в Польшу царем Алексеем Михайловичем. В этом же заблуждении пребывали и многие другие: Афанасий Лаврентьевич говорил, что “многие де приезжие люди сказывали ему беспрестанно... что будто послан он (Воин. –
 27 О.К.) тайно в немецкие земли”. Видимо, Воину как сыну дипломата и царского фаворита, едущему от милостиво принявшего его государя, легко удалось пересечь границу, не вызвав подозрений.

До конца апреля 1660 г. Воин пребывал в Гданьске при дворе. О том, что происходило с Воином в Польше, Афанасию Лаврентьевичу становилось известно от многих осведомителей, которые часто основывали свои сообщения на слухах, может быть и недостоверных, но тем не менее, для нас интересных. “Да сказывал на Колывани немец, писали, де, изо Гданска в Колывань про Воина Афанасьевича, будто он во Гданске забирает силу, а король, де, польской дал ему полк немец, а куды хочет идти, того неведомо”. Другой осведомитель сообщал Ордину-Нащокину: “А сын твой, государь мой, Воин Афанасьевич, милостию Божиею многолетствует”. О Воине сообщали не только отцу, но и другим воеводам, находившимся на западных рубежах России. Например, некий Микулай докладывал воеводе кн. И.А. Хованскому: “Видел он у короля во Гданску Воина Нащокина, живет, де, при короле, а дает, де, ему король на месяц по 500 ефимков, а ходит, де, он в немецком платье; он же, де, Воин, похваляется, хочет услугу свою показать королю, а идти под город великого государя в Лифлянты и, отца своего взяв, хочет привести к королю и многие, де, поносные слова на государство москов-

ское говорит...”. К этому сообщению, исходившему от недоброжелателей Ордина-Нащокина, мы еще вернемся ниже. 32

Афанасий Лаврентьевич, однако, предвидел, что поляки отнесутся к приезду Воина с подозрением, и говорил, что помешать ходу посольских переговоров Воин не сможет, “потому что, де, ему ни в чем не поверят и почают..., что он послан нарочно для выведывания вестей”. И действительно, “доведывались, де, государь, — сообщал царю Афанасий Лаврентьевич, — сенаторы и поляки для чего он, Войка, отлучен учинился от твоей, великого государя, стороны, и от меня, холопа твоего, и его, де, в том заступалась королева польская и канцлер литовский Пац, что, де, государь, вольно служит[ь] в ыных государствах”. Воин получил поддержку не только от королевы и Кристофа Паца, но и от самого Яна Казимира, который дал ему охранную грамоту и рекомендательное письмо к императору Леопольду I в Вену. Получены они были Воином 20 июля 1660 г. в Варшаве, куда он проследовал с польским двором на сейм. Эти два королевских “листа” сумел раздобыть, перевести кое-как на русский язык и привезти Ордину-Нащокину находившийся с Воином Станислав Полтаревич. 33 34 35

Содержание королевских “листов” интересно с точки зрения того, какую официальную интерпретацию в Польше получили как поступок Воина, так и его личность (подробнее к этому вопросу мы еще обратимся). Пока же отметим, что король объявлял в грамоте всем своим подданным, чтоб им Воина “шляхетная храбрость ведома была”. Воин, писал он, являясь сыном “войска московского начального воеводы и всей ливонской земли губернатора”, приехал в Польшу, “несмотря на честь и богатство в своей отчинной земле, которых ему там найти было мочно”. Однако король ни словом не обмолвился о желании Воина поступить к нему на военную службу, а указывал на желание Воина попутешествовать и, кроме Польши, “иные чужие земли пересмотреть похвальным обычаем” и “через ученье чужеземный опыт перенять”. Из королевских “листов” следует, что именно для этого Воин просил у королевского величества ему покровительствовать (“заступлену быти”). 36 37 38

Мы можем только гадать, действительно ли король изложил в грамотах информацию, которую получил из разговора с Воином, или хотел удалить его из Польши как возможного шпиона и сам предложил ему попутешествовать, учения ради. 39

И тут след Воина на некоторое время теряется. Никаких сведений, что он приехал к Леопольду, пока нет. Зато среди бумаг 1660 г. есть известие от Афанасия Лаврентьевича, что 14 декабря он получил от сына “листы”. Они были написаны женой литовского гетмана Гонсевского, находившегося в московском плену, и содержали просьбу о разрешении переписываться с мужем. Далее идут какие-то смутные слухи о том, что Воин поехал к Москве. 40 41

42 Пробыв за рубежом около двух лет, Воин решил вернуться на родину. В документах 1661 г. находится покаянное письмо Воина, адресованное царю Алексею Михайловичу, однако дата и текст залиты чернилами и не могут быть полностью прочитаны. Приведем его текст: «...с писма, каково писмо подал иноземец... в нынешнем... году. Пресветлый милосердый государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец! Не токмо в слезных моих супликац (супликация – “прошение”. – *О.К.*) <...> до престолу вашего царского величества диригованных (направленных. – *О.К.*) вину мою приношу тебе, великому государю, но и всегда есть сердешное мое покаяние святою правдою. Яко ов мытарь, которой отшелл в дом свой по отпущении грехов его. Где и я имею надежду уподания моего. При <...> с мытарем [в] вере. Упросить Господа Бога, да будет милосердие Великого Государя надо мною, холопом твоим, тверду имею на сие надежду, понеже есть написано в Божественном писании: “Царева бо есть [воля] в руце Божией”. Поистине, государь, царь, холоп твой смерти за преступление мое [достойн]... чистым моим покаянием. Милости у тебя, государя, прошу. Милосердый, пресветлый государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, пожалуй меня, холопа своего, своим государевым милосердием, чтобы я, холоп твой, надежен был на твою цареву милость и где тебе, великому государю, повеление ми, холопу твоему, будет. Смерти не страшася, готов [тебе] служить. Ожидаю [твоей] государевой милости. Царь, государь, смилуйся... вашего...»

Обращает на себя внимание сдержанный тон письма, в котором покаяние звучит умеренно и отсутствуют какие-либо оправдания, зато чувствуется уверенность в получении прощения. Однако представляется, что скорого ответа Воин не получил. Известно, что в июле 1662 г. он опять был в Гданьске и нуждался в деньгах. Воин занял три тысячи злотых у королевского “генерального прикащика” Андрея фон Горна с тем, что долг оплатит в Пскове его мать, Пелагея Васильевна, к которой он об этом писал во Псков. Таким образом, с 1661 г. Воин уже переписывался с родителями.

44 В 1663 г., в марте, он появился у своего родственника русского посланника в Копенгагене Богдана Нашокина. Богдан Нашокин сообщил царю о том, что Воин едет в Москву и “ныне он, Воин, из Капнагава (Копенгагена. – *О.К.*) поехал со мной, холопом твоим, в Галанскую землю, а как даст Бог, я, холоп твой, к тебе, великому государю..., поеду и Воин будет со мной, холопом твоим”. Только в августе 1665 г. Алексей Михайлович написал Воину о прощении и разрешении вернуться.

Мне представляется, что до получения официального прощения Воин уже каким-то образом знал, что будет прощен: не таился, жил открыто и имел контакты с отцом и матерью. Возможно, он осуществлял какую-то посольскую службу при

Богдане Нащокине. Не случайно Алексей Михайлович заканчивает свое ответное послание Воину тем, что сообщает ему “канал” для переписки через тайных агентов и на просьбу Воина о службе пишет: “...и тебе бы не ослабно, всячески промысл иметь и почаству писать”.

45

Надо сказать, что вопрос о пребывании Воина за границей освещается источниками весьма скудно и многое в его истории остается смутным и неясным. Мы не будем подробно останавливаться на жизни Воина в России по возвращении, так как наша тема — не его биография, а его побег. Но все же несколько слов сказать необходимо.

В 1665 г. Воин возвращается в Россию и живет в деревне с матерью и женой. Вернулся Воин человеком многоопытным и образованным, однако применения его знаниям не нашлось. Путешественник из Курляндии Якоб Рейтенфельс, побывавший в Москве в 70-е годы XVII в. и, вероятно, видевший здесь Воина или слышавший о нем, писал: “Нащокин, младший, прославившийся сын великого отца, много лет путешествовал и обозрел почти всю Европу, превосходно владеет, один из всей русской знати, не только латинским, но и французским и немецким языками, хотя эта ученость послужила ему не ступенью к почетному возвышению, а, скорее, препятствием” (в подлиннике — *graeſcipitium* — “низложение”, “смещение”).

46

47

Через год по возвращении Воина ссылают в Кирилло-Белозерский монастырь, причина этого неизвестна. Там он остается недолго, и в 1667 г. он опять прощен, получает чин стольника, и отец пытается пристроить его к посольской службе. Но эта служба не осуществляется: Воин долго остается не у дел. Потом становится воеводой в Ярославле, а в 1676 г. получает воеводское назначение в Галич. Его отец, уйдя от государевой службы, в 1672 г. постригся в Крыпецком монастыре под Псковом. В 1680 г. он умирает, сын переживет его лишь на год.

48

49

50

Проблемы и источники

Итак, мы рассмотрели событийную сторону истории побега и возвращения Воина, которую удалось несколько обогатить привлечением новых материалов. Однако это была предыстория. Главный интерес для нас побег Воина представляет с точки зрения реакции на него современников. Как мотивировался ими побег Воина, как оценивался в легитимном и моральном аспектах, какую вызвал ответную реакцию близких и посторонних? Попробуем ответить на поставленные вопросы. Для этого нам придется вернуться назад, к моменту, когда весть о побеге достигла Москвы. Она вызвала переписку между царем Алексеем Михайловичем и Афанасием Лаврентьевичем, которая и явится для нас основным источником. История этой переписки такова. Узнав о побеге Воина и впад в гнев, царь хотел срочно отозвать

Ордина-Нащокина с русско-шведских переговоров. Таким же было и побуждение Нащокина, который просил его с посольства “переменить”, так как измену сына “причитают и к нему” – он обесчещен, и тщетны будут теперь труды его, отечество и сын для него навсегда потеряны. Получив такое послание, царь срочно отправил к Афанасию Лаврентьевичу нарочного, подьячего Приказа тайных дел Юрия Никифорова, с наказом его “разговаривать от печали”, “утешать всячески и великого государя милостию обнадеживать” и передать многие царские речи устно, сообразуясь с реакцией и состоянием Ордина-Нащокина. С Никифоровым же царь передал и свое личное послание Афанасию Лаврентьевичу. Подьячий привез царю подробный отчет о своих разговорах с Ординым-Нащокиным и письмо от него. Далее, в переписке с царем по деловым вопросам, Нащокин часто возвращается к теме Воина, передает все сведения, получаемые им о сыне, царь же более не затрагивает эту болезненную тему. Однако его перу принадлежит еще одно письмо, уже упоминавшееся выше – написанное самому Воину. Таков основной круг источников, на который мы будем ссылаться в дальнейшем.

Побуждения и разочарования

52 Столь необычный поступок молодого человека, пользовавшегося благосклонностью царя, являвшегося сыном влиятельнейшего государственного деятеля, иначе говоря, имевшего ясную перспективу будущей карьеры, и, тем не менее, человека, который пошел на поступок, разом перечеркнувший все его благополучие, заставил современников гадать о том, какими причинами он был вызван. Узнать об этом достоверно можно было бы от самого Воина, но, как мы видели, в своем покаянном письме он ни слова об этом не говорит. Его речи, возможно, нашли какое-то отражение в грамотах Яна Казимира, но, во-первых, они могли быть не совсем откровенны, а во-вторых, претерпели польскую интерпретацию. Учитывая это, мы, однако, не можем пренебречь столь ценными свидетельствами.

53 Вернемся вновь к “листам” Яна Казимира, который представляет дело так: Воин подвергся сильному влиянию польских полонянников (и это не вызывает у нас сомнений, так как и другие источники говорят о том, что он все время находился в окружении поляков), проникся мыслью о “золотой вольности” поляков. Несмотря на то что “он меж варварских (варварских. — О.К.) людей, которые есть москвичи, родился”, в нем проснулся иной дух и он стал чужих нравов “искателем”, захотел московское “варварство” оставить и “ученьем чужеземным 54 опыт извыкнуть”.

Сергей Михайлович Соловьев, не ссылаясь на этот документ, фактически принял версию Яна Казимира и писал, что во время

визита Воина в Москву “стошнило ему окончательно” от московских нравов. Это мнение вслед за Соловьевым утвердилось в историографии.

55
56

Вотномъ Свѣтъ рѣбу Полюды
 Приидишиа, рѣхъ рѣхъ
 Съ Тѣрѣва бѣжѣшиа Кѣшѣло
 орѣва Прѣшѣло рѣшѣло
 Мѣлѣ, сѣ, Вѣшѣ шѣдѣ
 Кѣшѣ Вѣшѣшѣ шѣшѣ
 рѣшѣло рѣшѣшѣ. Кѣшѣшѣ
 Кѣшѣшѣ Кѣшѣшѣшѣ шѣшѣ
 шѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣ
 Кѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣ
 шѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣ
 шѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣ
 шѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣ
 шѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣ
 шѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣ
 шѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣ
 шѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣшѣ

Лист из письма царя Алексея Михайловича А.Л. Ордину-Нашокину

Иначе говоря, по этой версии причиной, которая заставила Воина уехать, явилось его воспитание на западный манер и влияние его польских учителей. Таким образом, он своим примером вполне оправдывал боязнь москвичей приглашать учителей с Запада, которые отлучат детей от родной культуры. Действительно, в доме отца Воина хорошо знали европейские обычаи, многие иностранные дипломаты и путешественники его посещали, о чем упоминали в своих записках. Август Мейерберг, бывавший в доме Афанасия Лаврентьевича, отмечал, что прием гостей здесь во многом отличался от других московских пиров: Нашокин, “вовсе не глупый подражатель наших обычаев, с дружеской любезностью уволил нас от способа пить и закона напиваться допьяна”. Якоб Рейтенфельс даже высказал баснословное, но не лишнее значение мнение, что Ордин-Нашокин “происходит из нашей Курляндии, из старинного рода фон Са-

57

58 кен”. В России же недруги называли Афанасия Лаврентьевича
59 “русским иноземцем”. Однако, несмотря на контакты с запад-
ными людьми и знание их обычаев, Ордин-Нащокин был пре-
дан своей стране, отстаивал ее интересы и, думается, так же вос-
питывал, или хотел воспитать, своего сына. “До сего времени
наказывал я, холоп твой, ево, Войку, страху Божия и твое, вели-
кого государя, кресное целованье исполнять, быть бескорыс-
ну...” — писал Афанасий Лаврентьевич.

В то же время русские источники не объясняют поступок Во-
ина воспитанием и совсем иначе интерпретируют причины его
побега. Афанасий Лаврентьевич вообще отказывался найти объ-
яснение поведению Воина, он не в силах был осознать, как сын
мог пренебречь “великого государя неизреченной милостью”,
60 и говорил, что “в мысль ему не вместица как то учинилось”.

Вопрос о причинах поступка Воина занимал и Алексея Ми-
хайловича. Он видел в этом в первую очередь дьявольское вме-
шательство. Приключившееся несчастье “от самого сатаны, —
писал Алексей Михайлович, — и мною, что и от всех сил бесов-
ских, изшедшу сему злomu вихру и смятоша воздух аерный,
и разлучиша и отторгнуша напрасно сего добраго агньца (Во-
на. — О.К.) яростным и смрадным своим дуновением от тебе,
отца и пастыря своего”. Подобное попушение дьяволу было до-
пущено Всевышним за грехи родителей: “О злое сие насилие
от темнаго зверя попушением Божиим, а ваших грех ради!”
(см. Приложение к наст. статье).

Но на чисто человеческом уровне царь объяснял дело проще
и в отличие от отца не пребывал в недоумении, хотя происшед-
шее и явилось для него неожиданностью: “А тому мы, великий
государь, не подивляемся, что сын твой сплутал: знатно то, что
с молододумия то учинил. Он человек молодой, хошет создания
Владычня и творения руку Его видеть на сем свете, якоже и пти-
ца летает семо и овамо и, полетав доволно, паки ко гнезду сво-
ему прилетает...” Таким образом, Алексей Михайлович считал
61 желание повидать мир естественным для молодого человека.
Плохо то, что пошел он на это обманном путем.

Однако есть еще одно объяснение побегу Воина, которое ис-
ходило от крайне враждебно настроенного к Ордину-Нащокину
боярина и воеводы — псковского князя Ивана Андреевича Хо-
ванского, известного в истории как предводитель стрелецкого
бунта, названного по его имени Хованщиной. Пересказывая царю
вести по донесениям своих осведомителей, он заостряет все
62 негативное, что можно сказать о Воине, и в том числе сообща-
ет, что польские вельможи считают Воина хвастуном, “да и то
де ему говорят, что он бит кнутом, для того и приехал [с] стыду,
а он того не сказывает, стыдится их”. Похоже, что Хованский
63 передает этот факт как хорошо всем известный и не вызываю-
щий сомнений. Если подобное случилось в действительности,
64 а такому наказанию подвергались русские дворяне, то очевидно,

что наказание исходило не от царя, так как все источники подчеркивают его милостивый прием Воина, а от отца. Одна строка из письма Афанасия Лаврентьевича царю, как кажется, может подтвердить это: "...от чудотворного образа я его [Воина] к Москве отпустил, а что наказывал страшно, тем и до исходу живота должен служить". (Слова "наказывал страшно" можно понять и как "наставлял иметь страх Божий", но тогда конец фразы теряет смысл.)

65

Начитанный в церковной литературе, Афанасий Лаврентьевич, конечно, знал, что для воспитательной пользы необходимо "сокрушать ребра" сына, и, без сомнения, прибегал к этой мере наказания, как это делали и другие отцы. Но битье не розгой, а кнутом — страшное наказание, и если оно было в действительности, то скорее всего в качестве публичного наказания за служебный проступок, а не в качестве обычной, домашней процедуры воспитания.

Итак, выявились три основные причины, которые, по мнению современников, заставили Воина покинуть Россию. Это польское влияние, желание посмотреть мир и реакция на побои. Какая из этих причин стала основной — судить трудно, но все вместе они представляются вполне вероятными. Заметим, однако, что никто из современников не считал, что Воином двигала корысть и желание обрести на чужбине лучшую долю.

Остается открытым второй вопрос — что же заставило Воина вернуться на родину? Царь Алексей Михайлович прозорливо предвидел это возвращение: как птица, "полетав довольно, паки ко гнезду своему прилетает", так и сын "вспомынет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от Святого Духа во святой купели, он к вам вскоре возвратитца", — писал он Афанасию Лаврентьевичу. Иначе говоря, он считал, что притяжение родного "гнезда", места, где принял святое крещение, возьмет свое. Как мне представляется, жизнь Воина в Польше не сложилась удачно. Вельможи его презирали как изменника и варвара, подозревали в нем шпиона; король, несмотря на внешнее покровительство и похвалы, не удерживал его около себя, а возможно, Воин и сам не стремился к военной службе при польском дворе; люди, приехавшие с ним из Москвы, вскоре его оставили и вернулись. Видимо, Воин испытывал и материальные трудности, так как занимал деньги.

Однако все это только наши предположения, хотя и не лишённые оснований. Был ли Воин своевольным человеком, не пожелавшим смириться перед неудобными ему обстоятельствами или был просто трусом, попавшим под влияние поляков? Был ли он импульсивен и действовал по настроению или был расчетлив и готовил побег заранее? Был ли он склонен к наукам и одержим желанием посмотреть мир и поучиться или просто хотел "погулять на свободе"? Любил ли Воин отца или только боялся его? Эти и другие подобные вопросы возникают, но,

да простит читатель, пусть они останутся без ответа, дабы не придавать домыслам характера достоверности и определенности. Но это не может помешать поразмыслить над ними и составить каждому собственное впечатление о Воине как о личности.

Преступление и наказание

Отъезд Воина в Польшу однозначно расценивается в русских источниках как “злая измена”, “падение”, “плутость”, “воровство”, “преступное дело”. Воин, будучи служилым человеком, наверняка давал присягу, в тексте которой говорилось, что он обязуется в другие государства не отъезжать и без отпуска со службы не съезжать. Вообще отъезд служилого человека из страны мог происходить только с царского разрешения и при получении проезжей грамоты. Воин к тому же не исполнил важное поручение, увез секретнейшие документы и прихватил с собой деньги из государственной казны. Поэтому он, безусловно, являлся злостным преступником, заслуживающим наказания. Нечего и говорить, что Воин нарушил и свой сыновний долг, нанеся отцу тяжелый удар в ответственный момент его службы.

Иначе на отъезд Воина посмотрели принявшие его поляки: как мы уже видели, королева польская и гетман литовский К. Пац оправдывали его приезд тем, что дворянин волен выбирать себе господина.

Поступок Воина, какими бы мотивами он в нем ни руководствовался, вызвал у соотечественников порицание и возмущение. Соответственно, преступное деяние не могло не породить ответных действий со стороны лиц, в подчинении которых он находился, т. е. царя и отца. Если в своем утешительном послании царь ни словом не обмолвился о поимке беглеца, то в устном наказе подьячему Никифорову велел Афанасию Лаврентьевичу передать: “...о сыне своем промышлял бы всячески, чтоб ево, поймав, привести к нему, а для того сулить и давать 5, 6 и 10 тысяч рублей, чтоб ево конечно промыслить, а будет его так промыслить немочно, а ему (Афанасию. — *О.К.*) то надобно, и ево (Воина. — *О.К.*) б известь там, для того, что он от великого государя к нему, Афанасью, отпушон был со многими указами о делех и с ведомостями”. Щадя отцовские чувства, Никифоров должен был сказать Нащокину “о небытии на свете” его сына, “смотря по речам” (т. е. по ответу) Афанасия Лаврентьевича, и к ним “примерясь”.

В ответ на эти слова Ордин-Нащокин прямо спросил Никифорова, есть ли с ним указ царя о поимке и казни его сына. “И я, холоп твой, — отчитывался Никифоров, — сказал, что твоего, великого государя, указа со мною нет”. Таким образом, Алексей Михайлович полностью оставил решение о наказании сына на усмотрение отца, хотя тот и являлся государственным

преступником. Примечательно, что царь нигде не высказал своей личной обиды на Воина за то, что тот пренебрег его милостью.

Поймать Воина для Афанасия Лаврентьевича было делом нетрудным, хотя момент оказался упущен и Воин был уже далеко от русских границ, внутри которых отец “знал бы как его пере-
нять”, но не смел действовать без указа, думая, что Воин мог
исполнять царское распоряжение. Но и за границей для Нащо-
кина это было возможно (и Воин, отметим кстати, это прекрас-
но знал). Афанасий Лаврентьевич сразу сообщил царю через
Никифорова, что “такие де, государь, люди есть, которые тебе,
великому государю, служат верно, что ево, Воина, сыщут и изы-
мут”. Но узнав, что царь оставил решение вопроса о наказании
за ним, Афанасий Лаврентьевич решил ничего не предприни-
мать и положиться во всем на Суд Божий: “...дело это положил
я на Суд Божий, а о поимке его промышлять и за то деньги да-
вать не для чего, потому что он за неправду и без того пропадет
и сгинет, и убит будет Судом Божиим”. “А того злого осужен-
ника в ево преступном деле силен Господь Бог возратить, —
писал снова о сыне Афанасий Лаврентьевич, — Божий Суд прав-
веден воздает[ся] кому до по делом, понеж крестопреступники
Суд Божий сами на себя нанесли. А овцы христовы
от козлиц отличны”. Если сведения о побоях сына не вымысел,
то Афанасий Лаврентьевич, видимо, чувствовал и свою вину в
происшедшем.

Думается, что царь был вполне удовлетворен решением Афа-
насия Лаврентьевича и счел его разумным и справедливым, так
как и сам постоянно призывал своих вельмож в любом деле
в первую очередь полагаться на волю Божию, не раз призывал
он к этому и Ордина-Нащокина. Определенная двойственность
в действиях Алексея Михайловича, нашедшая отражение в мяг-
кости и снисходительности по отношению к Воину в письме,
и суровость в устном наказе не вызовет удивления у тех, кто хо-
рошо знаком с его письмами, наказами и распоряжениями.
Царь пытался одновременно быть и строгим, и милосердным
к своему окружению. Так, он держал в ссылке патриарха Нико-
на, одновременно засыпая его подарками и ласковыми письма-
ми. Один из многих характерных для его распоряжений примеров
— наказ стольнику, посланному к воеводе Василию Шере-
метеву, взявшему в 1655 г. город Витебск. При ратных людях
стольник должен был передать воеводе милостивое слово
и спросить о здоровье, но в личной беседе “на него, Василия,
пошуметь гораздо” за то, что, не посчитавшись с приговором
Думы, выпустил из города всю польскую шляхту.

Получив от Воина челобитье о помиловании, царь счел, что
раскаяние снимает грех, что христианский долг — поддержать
преступника и его “во исправлении видети”. Еще ранее он пи-
сал Афанасию Лаврентьевичу: “...не люто бо есть пасти, люто бо
есть, падши, не востати”. Вот текст письма Алексея Михайло-

вича Воину: “Всемогущий Божие славы величества, в которой пребываем есмь и желающим от нас благополучие подаем и малодушных сим утешаем сице:

Бог нам прибежище и сила, помощник в скорбех, обретших ны зело.

Сего ради не смущайся, аще ветвь пала, но древо непоколебимо, корень бо есть водрузися на твердой земле.

А за отдалением ветрозыблущия ветви не имей себя отрезана быти, и древа сим подпором нашего милостиваго обнадеения подкрепляем буди.

Абие (вновь. — *О.К.*) плод приносил бы ся не во уничтожению оному древу. Ведаешь, где родился есть и воспитан и вырос и чево учон не зло творити.

В здешнее простираясь, не пренебрези будущих, иде же неумытный (неподкупный. — *О.К.*) судия свесть (знает. — *О.К.*) тайная человеком. Ей, того убойся, иже по убиении может воврещи в дебрь огненную, но и власы главы изочтены суть.

До сего времени в буести (в буйстве. — *О.К.*) твоей пребытие, иде же и ныне есть.

А от того хотяши ты во исправлении видети, челобитье твое приняв, милостиво прощаем и обнадеживаем целу и без навету, нашим же превысоким милосердием от излишних свободну быти, яко же рожший твой (т. е. отец. — *О.К.*), без всякого сомнения, зря (видя. — *О.К.*) нашу милость, близ нас пребывает, а чего желаешь от нас ведомства приняти (т. е. желаешь узнать. — *О.К.*) о служении своем и тебе бы не ослабно, всячески промысл (дело. — *О.К.*) иметь и почасту писать и писма присылать Якову Ренингу (переводчик, живший в Колывани. — *О.К.*), он на то повеление имеет чрез Юрья Никифорова, подьячева, которого гораздо знаешь. Велено тому Ренингу чрез почту до Печерского монастыря посылать, а от толь, где надобно быть, учнут посылать”.

75

Однако недолгая ссылка Воина в Кирилло-Белозерский монастырь (произошло это через год по неизвестной причине) показывает, что царь все же не забыл побега Воина и не способствовал развитию его карьеры. Вообще Алексей Михайлович в случае с Воином не отступил от своей обычной линии поведения. Он, как правило, прощал виновных бояр, предварительно сделав им внушение, и оставлял дело в расчете на Божью кару. Но лиц низших чинов царь карал сурово. Характерный пример — случай с боярином и воеводой Г.Г. Ромодановским, который, обманув царя, не выполнил указ отослать своих ратных людей в другой полк. Царь послал ему разгромное письмо с прощением в заключительной части, однако в нем он же писал о каком-то помощнике Ромодановского, который “то дело ухищренным и злопронырливым умыслом учинил”, “а страдника Климку велим повесить”. Так же были повешены люди представителя знатного рода Лобановых-Ростовских Якова, прини-

76

мавшие под его руководством участие в ограблении обоза с государственной казной, сам же Яков отделался легким наказанием. Прощая неумелым воеводам бездарные военные действия, в которых гибли сотни людей, царь, однако, повелел отрубить руку и ногу и сослать в Сибирь дворового юношу за то, что тот на территории Кремля стрелял по воронам.

Но вернемся к Воину. Простил ли его отец? Во первых, нетрудно предположить, что пример царя в этом отношении дал образец и поведению Афанасия Лаврентьевича. Во-вторых, Афанасий Лаврентьевич по прошествии времени пытался снова устроить сына при себе на посольскую службу. Он просил способствовать этому боярина Б.М. Хитрово, которому было поручено “призрить” Воина: “...не дай мне того во дни живота горького моего видеть и слышать, чтоб сынишку моему без службы посылной (посольской. — *О.К.*) быти, и отпусти его по милости своей ко мне в иколе месяце, а я сыщу дело”, — писал Афанасий Лаврентьевич. Таким образом он проявлял заботу о сыне, что, на мой взгляд, свидетельствует о его прощении.

Отчаяние и утешение

Главный ущерб, нанесенный Воином государственным интересам России, был в том, что своим поступком он “вывел из строя” отца, в руках которого находились все нити внешней политики государства. Здесь Афанасий Лаврентьевич являлся ключевой и незаменимой фигурой вследствие своего опыта, знаний и преданности делу. Он, которого постоянно третировали бояре, называя выскочкой, человеком “нечиновным”, не имевшим возможности тягаться с большинством думных людей в местническом счете, который вошел в правительственные круги исключительно в результате царского к нему расположения, был теперь дискредитирован полностью как отец изменника. И, конечно, злые языки стали говорить, что Афанасий Лаврентьевич знал об измене сына и не остановил его. Царь велел Никифорову передать Ордину-Нащокину: “...а что говорят в мире о сыне его, что он изменил, и эту измену причитают и к нему, то он бы эту мысль отложил”. Но “отложить” эту мысль у Афанасия Лаврентьевича не получалось. Несмотря на заверения царя в том, что у него подобных подозрений на его счет нет (“и конечно ведаем, что кроме твоя воли (Воин. — *О.К.*) сотворил”), Нащокин еще и еще раз возвращался к вопросу о своей невинности, о наветах на него и том вреде, который наносят переговорам подозрения о его измене. В конце концов он стал просить царя об устройстве судебного разбирательства по его делу, чтобы быть публично оправданным или осужденным. “Маюсь я безвестною виною, холоп твой, от русских людей наслушая (наслушавшись. — *О.К.*) и иноземцев, и все, великий

государь, дело в Лыфлянтех обругано. Ужо я, холоп твой, мертв, слыша над собою о сынишке своем измену ...Вели, государь, Божий и свой великого государя праведный суд сыскать. А в сыску, государь, очищение”. Если я виновен, писал он далее, то “достойн в заточении быть и казни”. Без официального оправдания, считал Афанасий Лаврентьевич, его пошатнувшаяся репутация честного человека наносит ущерб государственным интересам (83 “а негоден у твоего великого государева дела впредь быть”).

Но царь не считал нужным проводить подобный сыск. Для него было крайне важным сохранить своего дипломата в дееспособном состоянии и не сорвать намечавшиеся переговоры по поводу заключения вечного мира со Швецией. Поэтому, как представляется, он постарался укротить свой гнев и сделать все от него возможное, чтобы как можно скорее вывести Афанасия Лаврентьевича из шокового состояния. Помимо государственного интереса, Алексеем Михайловичем, конечно, руководило и искреннее сочувствие к горю Нащокина — близкого ему человека. Примечательно то, что в своем письме к Афанасию Лаврентьевичу царь в первую очередь выражает сочувствие его жене Пелагее Васильевне, которая, как он пишет, несчастна уже от того, что всегда в разлуке с супругом, находящимся на далекой от дома службе, теперь же она потеряла и сына. Алексей Михайлович постарался проявить максимум доброжелательности к несчастным родителям, высказать понимание их состояния и утешить их.

Царь случившееся с Ордыным-Нащокиным расценивает как (84 “беду, больше которой на свете не бывает”, и в то же время видит в этом и положительную сторону, так как “больше этой беды вперед уже не будет”. “И тебе от тех своих бед ожидать к себе впредь милости Божий и великого государя жалованья и надеетца всякого добра и в делах быть на Бога уповательну и мужественну (85 и надежну во всем”, — увещевал Алексей Михайлович.

Утрата родителями сына, по словам Алексея Михайловича, вызывает следующие несчастья: они лишаются “наследника”, “утешителя и водителя старости и угодителя... честной седине”, а также “памятотворителя доброго”. В этих словах невольно нашел отражение тот главный ценностный смысл, который родителями вкладывался в потомство: наследование, содержание родителей в старости и поминовение их за гробом.

Далее Алексей Михайлович пытается разубедить впавшего в отчаяние Афанасия Лаврентьевича в том, что его служебной деятельности пришел конец. Такая мысль появилась у тебя, “мню, что от безмерные печали”, — пишет Алексей Михайлович. Обесчестен ли бысть? Но к славе, еже ради терпения на небесех лежащей, зрирай. Отщетен ли бысть? (понес ли убыток? — О.К.) Но зрирай богатство небесное и сокровище, еже скрыл еси себе ради благих дел. Отпал ли еси отечества? Но имаши отечество на небесех — Иеросалим. Чадо ли отложил еси?

Но ангелы имаши, с ними же ликоствуеши у престола Божия, и возвеселишися вечным веселием”. Иначе говоря, каждая “печаль” переносится в пласт “небесный”, где она выглядит совсем иначе, чем в земной реальности.

Алексей Михайлович обращает внимание Ордина-Нащокина на то, что через свой “плач” он впадает в один из тягчайших христианских грехов — грех отчаяния, ибо отчаявшийся не надеется на Бога, не верит в его помощь и тем отпадает от Него: “... и тебе подобает отпадения своего перед Богом, что до конца впал в печаль, востати борзо и стати крепко, надеено, и уповати, и дерзати на диавола, и на его приключившееся действие крепко, и на свою безмерную печаль дерзостно, безо всякого сомнительства. Воистинно Бог с тобою есть и будет во веки и на веки, сию печаль той да обратит вам в радость и утешит вас вскоре”.

Царь и тут находит, помимо небесных, и земные резоны для утешения Афанасия Лаврентьевича. Мы уже видели, что он постарался свести поступок Воина к делу не столь уж необычному и ужасному: молодым людям вообще свойственно “полетать” по миру, но потом они возвращаются “в гнездо свое”. Сам же царь его, Воина, “измену поставил ни во что”, т. е. не придал ей серьезного значения.

Алексей Михайлович убеждал Ордина-Нащокина не принимать близко к сердцу недоброжелательные разговоры вокруг побега Воина: “...а мира сего тленного и вихров, исходящих от злых человек, не перенять, потому что во всем свете рассеяни быша, точию бо человеку душою пред Богом не погрешить, а вихры злые, от человек нашедшие, кроме воли Божией что могут учинити?”.

Буквально в одной фразе письма царь говорит о своей неизменной к Нащокину милости, но Никифорову наказывает Афанасия Лаврентьевича “великого государя милостью обнадеживать”. Таким образом, царь указывает Афанасию Лаврентьевичу на две надежные опоры в его горе — милосердие Божие и милосердие царское.

Усилия Алексея Михайловича утешить и ободрить Ордина-Нащокина возымели ожидаемый результат. Афанасий Лаврентьевич понял, что ему оказывается исключительнейшее доверие. Подьячий Никифоров докладывал, что царское письмо Нащокин “чел со слезами, а прочел, Господу Богу и Пресвятей Богородице хвалу воздал”. В ответе царю Афанасий Лаврентьевич подчеркивал, что “государево дело” для него важнее личных переживаний и любви к семье: “...твоя, великого государя, неизреченная милость светом небесным мрачную душу мою озарила, что воздам Господеву моему за сие? Умилосердись, повели заблудшую овцу в горах сыскивать! Бил я челом об отставке от посольского дела от жалости души моей, чтоб мне в таком падении сынишка моего, зазорну будучи от всех людей, в деле не ослабеть, и от того бы твоему великого государя делу в посольстве

низости не было; от одной же печали о заблуждении сынишка моего я твоего государева дела не оставлю: если бы и жену или чадо паче твоего дела возлюбил бы, не был бы милости достоин; ныне, судим от Господа, наказуюсь, да не с миром осужусь”.

Заключение (об обычном и необычном)

Итак, побег Воина и последствия, вызванные им, подводят к закономерному вопросу о том, насколько экстраординарны для российской жизни того периода описанные нами события.

Как хорошо известно из истории, побег в соседние Литву и Польшу не были редки. Читателю наверняка уже пришли на память и печатник Иван Федоров, и еретик Феодосий Косой, и князь Андрей Курбский, и самозванец Гришка Отрепьев, и подьячий Григорий Котошихин. Эти имена наиболее известны, хотя их круг можно значительно расширить. Но были среди беглецов и люди, не оставившие своих имен в истории, такие случаи нередко упоминаются лишь на столбцах документов московских приказов. Естественно и то, что из Московии в первую очередь бежали в Польшу, близлежащую страну со славянским языком, об обычаях которой в России XVI–XVII вв. знали немало и которая в XVII в. стала отчетливо диктовать свою моду и свои вкусы московской знати.

Изучение подобных побегов и анализ их причин — тема, еще не ставшая предметом специального исследования. Каждый подобный казус, без сомнения, был уникален в связи с разнообразием обстоятельств, причин и характеров. Были среди беглецов люди с неустроенной судьбой, авантюристы и любители приключений. Добропорядочный же русский человек, если его душа стремилась к странствиям, вставал на путь паломничества и шел прикоснуться к христианским святыням, а не ехал к чужому двору. Однако, думается, что мы не очень погрешим против истины, если предположим, что в большинстве случаев побег вызывался боязнью репрессий и ситуациями, когда оставаться на родине становилось опасно.

Случай с Воином удивителен именно тем, что в нем современникам не было видно типичных побудительных причин к бегству: его жизнь на родине представлялась всем более чем благополучной. Возможно, что версия о побоях, нанесенных Воину, именно и является попыткой найти традиционную причину его бегства — боязнь наказаний. Причина же бегства, вызванная воспитанием и образованием, является пока, на уровне современных знаний, необычной для русского общества того времени.

Не представляется удивительным, что беглецов старались изловить и известить. Случай с Воином необычен и тем, что его,

в связи со сложившимися обстоятельствами, оставили в покое, он даже рискнул вернуться, несмотря на запятнанную репутацию, и дожил свою жизнь в России относительно спокойно. История Воина, однако, несколько напоминает историю стольника Ивана Бегичева, образованного человека, также бежавшего за границу в 40-е годы XVII в. и также добровольно вернувшегося в Россию. Следует отметить, что вообще царь Алексей Михайлович предпринимал усилия к тому, чтобы вернуть в Россию представителей родов, предки которых отъехали в Польшу или попали в польский плен в Смутное время (Курбские, Салтыковы, Трубецкие). Все они его стараниями вернулись в Россию, несмотря на то, что родились за ее пределами.

Вряд ли найдутся возражения к утверждению, что отъезд на Запад, как правило, вызывал и вызывает в России осуждение в обществе и расценивается как измена Родине и государю, даже если он и не сопровождался отягчающими обстоятельствами. Подобное отношение, как представляется, сильно отличало русское общество от западноевропейского, в котором на путешествия и поиск службы у различных царствующих особ смотрели как на дело обычное. Тому много причин, лежащих в особенностях развития русской истории. В частности, здесь не было таких категорий населения, как странствующие школяры или странствующие проповедники. Понимание русскими “своей” земли как “чистой” и “праведной”, а “чужой” как “нечистой” и “поганой” хорошо раскрыто Б.А. Успенским и отчасти объясняет нам отрицательное отношение к отъезду русского человека на Запад: «Пребывание в чистом пространстве есть признак святости (отсюда объясняется паломничество в святые земли), пребывание в пространстве нечистом, напротив, — признак греховности (отсюда объясняется нежелание путешествовать в иноверные страны). Соответственно, древнерусский духовник спрашивал на исповеди: “В татарех или латынех в полуно, или своею волею не бывал ли еси?” или даже: “В чюжую землю от/ъ/ехати не мыслил ли еси?” — и накладывал епитимью на того, кто был в плену или же случайно (“нуждою”) оказался в нечистой земле».

Важной причиной неприятия отъезда в чужую страну было то, что человек в этом случае не только покидал православную землю, но и лишался возможности отправлять православные культы, особенно таинство исповеди. Купцы и посольские представители обычно брали с собой в дорогу православного священника, так же поступали в дальнейшем студенты, которых Петр посылал учиться за границу. Однако с беглецами не могло быть священников, и это обстоятельство представляло для тех, кто не сменил веру, огромную и трагическую проблему, так как грозило смертью без покаяния и погибелью души. В связи с этим не исключено, что, размышляя над причинами, которые побудили Воина искать русскую посольскую миссию, а потом

87

88

89

вернуться на родину, мы упустили главное, так как старались следовать только за сведениями источников. Причина эта в том, что Воин не хотел изменить православию и боялся умереть без покаяния с тяжелым грехом на душе.

Таким образом история, случившаяся с Воином, вобрала в себя как типичные, так и неординарные черты, свойственные его времени, что, однако, не составляет особенности для исторических казусов как таковых. Побег Воина остается открытой темой — темой для размышлений, сравнений, аналогий и иных интерпретаций, иных ее поворотов и поиска новых документов.

90

Приложение

В полном объеме послание царя Алексея Михайловича А.Л. Ордину-Нащокину публикуется впервые по рукописи РГАДА. Ф. 96 (Сношения со Швецией). Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 91–105. Ранее оно было известно в пересказе (со значительными сокращениями), сделанном С.М. Соловьевым. Письмо написано царем 14 марта 1660 г., во вторник второй недели Великого поста. Именно в этот день читалось Слово Василия Великого “О благодарении”, входившее в состав древнерусских Торжественников. Это Слово, многократно им цитируемое, царь и положил в основу своего послания. Мы видим яркий пример того, как виртуозно и естественно вляется в бытовую реальность текст церковной службы, дающий образное воплощение мыслям и чувствам людей XVII в. В нижепубликуемом послании места, принадлежащие перу Василия Великого, выделены курсивом.

Письмо царя Алексея Михайловича думному дворянину Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нащокину

Л.91

От царя, великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белья Росии самодержца, верному и избранному и радетелному о Божиих и о наших государских делах и судящему люди Божия и наши государевы в правду (воистинно доброе и спасительное дело, что люди Божия судити в правду!), наипаче ж христолюбцу и миролюбцу, еще же нищелюбцу и трудолюбцу и совершенно богоприимцу и странноприимцу и нашему государеву всякому делу доброму ходатаю и желателю, думному нашему дворянину и воеводе Афанасью Лаврентьевичу Ордину Нащокину от нас, Великого Государя, милостивое слово.

Учинилось нам, Великому Государю, ведомо, что сын твой попушением Божиим, а своим безумством об[ъ]явился во Гдан-

ске, а тебе, отцу своему, лютую печаль учинил. И тоя ради печали, приключившейся тебе от самого сатаны и, мню, что и от всех сил бесовских, изшедшу сему злomu вихру и смятоша воздух аерны [й]

Л.92

и разлучиша и отторгнуша напрасно сего добраго агньца яростным и смрадным своим дуновением от тебе, отца и пастыря своего. Да и ты к нам, Великому Государю, в отписк[е] своей о том писал же, что писал к тебе ис Царевичева Дмитреева города дияк Дружина Протопопов и прислал Богуслава Радиви́ла, посланника ево, роспрос, а в том роспросе об[ъ]явлено про приезд сына твоего во Гданеск. И мы, Великий Государь, и сами по тебе,

Л.93

верном своем рабе, поскорбели, приключившейся ради на тя сея горкия болезни и злаго оружия, прошедшаго душу и тело твое. Ей, велика скорбь и туга воистинно! Си узнец жалостно раздробляетца и колесница плачевно сламляетца.

Еще же скорбим и о сожителнице твоей, яко же и о пустыножилице и единопробывателнице в дому твоем, и приемшую горкую пелынь тую во утробе своей, и зело оскорбляемся двойнаго и неутешнаго ея плача: перваго ея плача неимуше тебе Богом даннаго и истинна супруга своего пред очима своима всегда, втораго плача ея — о восхощении и разлучении от лютаго и яроснаго зверя драгаго и единоутробнаго птенца своего,

Л.94

напрасно отторгнутаго от утробы ее. О злое сие насилие от темнаго зверя попущением Божиим, а ваших грех ради! Воистинно зело велик и неутешим плач кроме Божия надеяния обоим вам, супругу с супружницею, лишившася таковаго наследника иединоутробнаго от недр своих, еще же утешителя и водителя старости,

Л.95

и угодителя честной вашей седине, и по отшествии вашем в вечная благая памятьотворителя добраго. Что же, по сетовании, творим ти воспрянути от печали, что от сына, и возложити печаль на волю Божию. А нежели в печаль впадати или воскочити яко еленю на источники водныя, тако и тебе, отставя печаль и вборзе управитися умныма отчима на заповеди Божии и со всяким благодарением уповати яко же и Василий Великий, еже благо есть на Господа уповати, нежели на се помышляти. Предложим же и реченное от диякона во Святей литургии: “станем добре, станем добре, станем право и разумно, горé ум свой возводяше, сии речь свято, чисто и благоразумно и безо всякого сомнителства житейска быстро <ясно воспре>* (очима зрети, и благодати, надежди свыше ожидати”, — поучает. Пригласим ж и Василия Великаго — ясносиятелнаго и огнезрачна столпа —

* Здесь и далее текст, взятый в угловые скобки, в документе зачеркнут.

его ж главе досязаючи небеси, что ж огнезрочный Василий, како повелевает о всем благодарити Бога, а не в печали до конца пребывати?

Л. 96

“Благодарим ли, привязуем, бием, на колеси протягуем, очю лишаем, благодарим ли, томим <и бием>, бесчестными ранами бием от ненавидящего, померзаем от мраза, гладом удручаем, на древе привязуем, чад напрасно лишаем или и жены самыя лишився, истоплением напрасно погубль гобзование во искусителя в мори, или в разбойники по случаю впад, язвы имея.

Л. 97

оболгаем, недоумеет в юзилицы пребывая? Ей, благодарим, а не невоздаянием воздаем! И паче благочестне уповаем и плакати <повелевает> по естеству, а не через естество безмерное повелевает, ни же убо женам, ни же мужем повелевая любоплакательное и многослезное, поелико дряхлу быти печальных, и мало некако прослезити

Л. 98

<некако прослезити> и се безмолвне, а не возмутителне, нерыдателне, ниже разтерзаваючи ризу или перстию посыповатися”.

Л. 99

Призовем же и Иева праведнаго понесшага нашедшия и лютотерзаемые скорби, что ж тогда Иев рек, чим ползовался, то чю непрестанно во устех своих имел: “Буди имя Господне благословенно от ныне и до века!” и, наконец, какая благая восприял! И тому мы, Великий Государь, вельми подивляемся, что вихра бесовска в мале нашедшага на тя, убоялся,

Л. 99а

а Божию помощью отставил, и то в забвении положил как в мимошедшее время Дух Святой во святей церкви вас обоих соединил и тело и крови Господни вместе сподоби[л] принятия и уже на земле глас снабдевает и не забывает. Колми паче душу заблудящую и изгибшую может вскоре возвратити на покойние и учинити в первое достояние. Почто в такую великую печаль и во уныние (токмо веруй и уповай!) чрезмерные вдал себя? И бьешь челом нам, Великому Государю, чтоб тебя переменить, чтоб твоим затемнением ума, нашему, Великому Государю, делу на посольском съезде порухи какие не учинилось.

Л. 100

И ты от которого обычая такое челобитье предлагаешь? Мню, что от безмерных печали. Многи бо познахом в бедах нестерпимых испустити слезу не могущих, таж овех убо в неисцельных страсти впадша в неистовление или изступление ума, овех же и до конца издохнувшя, якоже немощию силы их тяготою печали преклонишася.

гlossa на л. 100 об.

Но что убо сотворю? Расторгну одежду и прииму валятися по земли и припадати и обумирати и показывати себе пришедшим

яко же отроча от язвы взывающее и издыхающее? И издохнувших телесных ради жизни и срама тленного, которая благая восприял, разве вечных мук наследие получил?

а упова<ние> телных воздая<ние> телных и безсумнителных <облегчает, обещает> на будущая благая <упования на Бога> печальная жития. Обесчестен ли бысть? Но к славе, еже ради терпения на небесех лежащей, взирай. Отщетен ли бысть? Но взирай богатство небесное и сокровище, еже скрыл еси себе ради благих дел. Отпал ли еси отечества? Но имаши отечество на небесех Иеросалим. Чадо ли отложил еси?

Л.101

Но ангелы имаши, с ними же ликоствуеши у престола Божия, и возвеселишися вечным веселием. И которая благая жизнь <издохнувшая телесных ради жизни и срама тленного кроме восприятия вечных мук> воскликни. Еже <а> великого солнца и златокованную трубу

Л.102

Иоана Златоустаго не вспомянул ли святаго его писания, еже не люто бо есть пасти, люто бо есть, падши, не востати? Так и тебе подобает отпадения своего пред Богом, что до конца впал в печаль, востати борзо и стати крепко, надесно, и уповати и дерзати на диявола, и на ево приключившееся действие крепко, и на свою безмерную печаль дерзостно, безо всякого сомнительства. Воистинно Бог с тобою есть и будет во веки и навеки, сию печаль той да обратит вам <вскоре> в радость и утешит вас вскоре. А что будет и впрямь сын твой изменил, и мы, Великий Государь, его измену поставили ни во что, и конечно ведаем, что кроме твоя воли сотворил, и тебе злую печаль, а себе вечное поползновение учинил. И будет тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость ставить в ведомство и в соглашение <твое> ему.

Л.103

И он, простец, и у нас, великого государя, тайно был, и не по одно время, и о многих делах с ним к тебе приказывали, а такова простоумышленного яда под языком ево не ведали. А тому мы, Великий Государь, не подивляемся, что сын твой сплутал, знатно то, что с молододумия то учинил. Сам ты Божественное писание чтеши и разумееш, како святой апостол вешает о юности: “юность есть нетвердо и всезыблемо основание, и ветроколеблема и удобосокрушаема трость, всюдубносим помысл, неизвестный путешественник, неискусный снузник, пьянствующий всадник, необузданный свирепеющий конь, лютейшии неукротимыи зверь, любострасныи огонь, себя поядоющий пламень, неистовещееся моря, дивияющее воднение, удобь потопляемый корабль, безчинно движение, неподобно желание, разтленно рачение, неудобь удержанно похотение, ярма благаго расторгновение и бремене лехкаго повержение, неведение Бога, забвение самого себе”.

Л. 103а

А он человек молодой, хочет создания владычня и творения рук Ево видеть на сем свете, яко же и птица летает семо и овамо, и полетав доволно, паки ко гнезду своему прилетает <...>*

Л. 104

сердцу его Сына слова Божия, вспомянет гнездо свое телесное, наипаче же душевное привязание от Святого Духа во святой купели, он к вам вскоре возвратитца. И тебе б, верному рабу Божию и нашему государеву, видя к себе Божию милость, и нашу государскую отеческую премногую милость, и отложа тою печаль, Божие и наше государево дело совершать, смотря

Л. 105

по тамошнему делу. А нашего государсково не токмо гневу на тебя к ведомости плутости сына твоего ни слова нет, а мира сего тленного и вихров, исходящих от злых человек, не перенять, потому что во всем свете рассеяни быша, точию бо человеку душою пред Богом не погрешить, а вихры злые, от человек нашедшие, кроме воли Божии что могут учинити? Упование нам Бог, и прибежище наше Христос, а покровитель нам есть Дух Святый. Писано в царствующем граде Москве, в наших царских полатах, лета 7168 марта в 14 день.

Перевод

От царя, великого князя Алексея Михайловича всея Великия и Малыя и Белья России самодержца, верному и избранному и радетьельному о Божьих и о наших государских делах и судящему людей божиих и наших государевых по правде (воистинну доброе и спасительное дело, людей божиих судить по правде!), но более того ж христолюбцу и миролюбцу еще же нищелюбцу и трудолюбцу и совершенному богоприимцу и странноприимцу и нашему государеву всякому делу доброму ходатаю и доброжелателю, думному нашему дворянину и воеводе Афанасию Лаврентьевичу Ордину-Нашокину от нас, Великого Государя, милостивое слово.

Стало нам, Великому Государю, известно, что сын твой поупщением Божиим, а своей глупостью объявился во Гданьске, а тебе, отцу своему, лютую печаль учинил. И та печаль приключилась тебе от самого сатаны и, полагаю, что и от всех сил бесовских. Изошел от них злой вихрь и возмутил воздух небесный и разлучил и отторгнул насильно этого доброго агнца яростным и смрадным своим дуновением от тебя, отца и пастыря своего. Да и ты к нам, Великому Государю, в отписке своей о том же писал, что писал к тебе из Царевичева Дмитриева города дьяк Дружина Протопопов и прислал показания посланника от Богуслава Радзивила, а в тех показаниях сообщено про приезд сына твоего в Гданьск.

* Строка утрачена – сохранилось “прикосновением бла...”

И мы, Великий Государь, и сами по тебе, верном своем рабе, поскорбели из-за случившейся с тобой сей горькой болезни и злого оружия, прошедшего душу и тело твое. Ей, велика скорбь и туга воистинно! Так уздечка досадно обрывается и колесница плачевно ломается.

Еще же скорбим и о жене твоей, как о живущей одиноко в доме твоём и принявшей горькую ту полынь во утробе своей, и много скорбим о двойном и неутешном ее плаче: первый ее плач об отсутствии тебя, Богом данного и истинного супруга своего, пред очами своими всегда, второй плач ее — о похищении и разлучении лютым и яростным зверем дорогого единокровного птенца своего, насильно отторгнутого от утробы ее. О злое сие насилие от темного зверя попущением Божиим из-за ваших грехов! Воистинну превелик и неутешен плач, вне надежды на Бога, обним вам, супругу с супругою, лишившихся такого наследника, единственного от недр своих, а также утешителя и поводыря старости, и угодителя благородной вашей седине, и по отходе вашем в вечную благодать доброго совершателя поминовений.

Посетовав, призываем тебя воспрянуть от печали, причиненной сыном, и возложить печаль на волю Божию. Не в печаль впадать, а вскочить как олень на источники водные, так и тебе, отстранив печаль, скорее направить внутренний взор на заповеди Божии и со всяким благодарением уповать, так же и Василий Великий [говорит], что благо — на Господа уповать, а не самому по себе размышлять. Предложим же и произносимое дьяконом на Святой литургии: “Станем добре, станем добре, станем право и разумно, в высь ум свой возведя, иначе говоря, свято, чисто и благоразумно, безо всякого сомнения житейского смотреть и ожидать благодати свыше”, — поучает [он]. Пригласим же и Василия Великаго, ясносиятельного и огнезрачного столпа, его ж глава достигает небес. Что же огнезрачный Василий, как он повелевает о всем благодарить Бога, а не в печали окончательной пребывать?

“Уже ли благодарить, когда привязан, избит, на колесе растянут, очей лишен, благодарить ли, когда томим, когда ненавидящий наносит бесчисленные раны, когда замерзаю от стужи, мучаюсь голодом, к дереву привязан, напрасно лишен детей или даже жены, потерял имущество во время кораблекрушения, попался на море разбойникам или на суше грабителям, ранен, оклеветан, отчаиваюсь, в темнице пребывая? Да, благодарим, а не невоздаянием воздаем! И более благочестиво уповаем! И плакать в меру, а нечрезмерно дозволяется и женщинам и мужчинам, любящим плакать многослезно; скорбя в печали, немного можно прослезиться, но сделать это безмолвно, а не с протестом, без рыданий, не разрывая на себе одежд или посыпая себя пеплом”.

Призовем же и Иова праведнаго, понесшего нашедшие на него и лютотерзаемые скорби. Что же тогда Иов сказал, что еще использовал, кроме того, что непрестанно на устах своих имел: “Бу-

ди имя Господне благословенно от ныне и до века!” и, в конце концов, какую благодать воспринял! И тому мы, Великий Государь, весьма удивляемся, что вихря бесовского, слегка нашедшего на тебя, убоялся, а Божию помощь отставил. И то в забвение положил, как в мимошедшее время Дух Святой во святой церкви вас обоих соединил и вместе тело и кровь Господню сподобил принять, и уже здесь, на земле, глас нас обнадеживает и не забывает. Тем более душу заблудшую и погибшую может вскоре возвратить на покаяние и привести в прежнее состояние. Зачем в такую великую печаль и во уныние (только веруй и уповай!) чрезмерные ввел себя?

И бьешь челом нам, Великому Государю, чтоб тебя заменить, чтоб твоим затемнением ума, нашему, великого государя, делу на посольском съезде вреда какого не причинилось. И ты от которого обычая такое челобитье предлагаешь? Полагаю, что от безмерной печали. Многих ведь мы знали в бедах нестерпимых испустить слезу не могших, также и других в губительные страсти впадших, в неистовство или исступление ума, и тех, кто даже в конце концов испустил дух, так как немощные силы их перед тяготою печали преклонились.

Но что же буду делать? Разорву одежду и примусь валяться по земле, и биться, и обмирать, и показывать себя перед окружающими ребенком, от побоев кричащим и дух испускающим? И умершие ради телесной жизни и срама тленного, какую благодать восприняли, разве что вечных мук наследие получили? А уповающих, воздающих и несомневающихся в будущей благодати облегчается печальное житие. Обесчещен ли ты? Но на славу, уготованную ради терпения, на небесах лежащую, взирай. Понес ли убыток? Но взирай на богатство небесное и сокровище, которое собрал себе благими делами. Лишился ли отечества? Но имеешь отечеством небесный Иерусалим. Чадю ли утратил? Но ангелов имеешь, с ними же будешь ликовать у престола Божия, и возвеселишься вечным веселием. И “какая благая жизнь!”, — воскликнем же.

Иоанна Златоустого не вспомянул ли, святого его писания, что не страшно пасть, страшно, упав, не встать? Так и тебе подобает на отпадение свое перед Богом, так как ты полностью впал в печаль, встать быстро и стать прочно, надежно, и уповать, и дерзать на дьявола и на его действия крепко, и на свою безмерную печаль дерзостно, безо всякого сомнения. Воистину Бог с тобою есть и будет во веки и навеки. Эту печаль Он да обратит вам в радость и утешит вас вскоре.

А если и впрямь сын твой изменил, и мы, Великий Государь, его измену поставили ни во что, и точно ведаем, что помимо твоей воли то сотворил, и тебе злую печаль, а себе вечное прегрешение учинил. И тебе, верному рабу Христову и нашему, сына твоего дурость поставить ему в известность и в соглашение (?) ему. И он, незначительный человек, у нас, Великого Государя, тайно был, и не один раз, и многие дела ему к тебе поручали, а такого

просто замышленного яда под языком его не ведали. А тому мы, Великий Государь, не удивляемся, что сын твой сплутовал, ясно, что по незрелости ума то сделал. Сам ты Божественное писание читаешь и понимаешь, как святой апостол вещает о юности: “Юность есть нетвердое и зыблемое основание, и ветроколеблемая и легко сокрушаемая тростинка, общеизвестный помысел, неизвестный путешественник, неискусный конюх, пьянствующий всадник, необузданный свирепеющий конь, лютейший некротимый зверь, любострастный огонь, себя поедающий пламень, неиствующее море, необузданное наводнение, легко потопляемый корабль, беспорядочное движение, неподобное желание, растленная любовь, трудно удерживаемая похоть, ярма благого расторгновение и бремени легкого падение, неведение Бога, забвение самого себя”. А он — человек молодой, хочет создания Божие и творения рук Его видеть на этом свете, так и птица летает туда и сюда, и полетав довольно, затем ко гнезду своему прилетает. [Прикоснется...] к сердцу его слово Сына Божия, вспомнит он гнездо свое телесное, а более того душевную привязанность, полученную от Святого Духа во святой купели, и он к вам вскоре возвратится. И тебе б, верному рабу Божию и нашему государеву, видя к себе Божию милость, и нашу государскую отеческую премногую милость, и отложив ту печаль, Божие и наше государево дело совершать, смотря по тамошнему делу. А нашего государского никакого гневу на тебя из-за знания о плутости сына твоего ни слова нет. А мира этого тленного и вихрей, исходящих от злых людей, не унять, потому что по всему свету рассеялись. Только бы человеку душою пред Богом не погрешить, а вихри злые, от людей нашедшие, помимо воли Божией что могут учинить? Упование нам — Бог и прибежище наше — Христос, а покровитель нам — Дух Святой.

Писано в царствующем граде Москве, в наших царских палатах, в 1660 году, 14 марта.

Примечания

- ¹ В 1667 г. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин получил думный чин боярина, должность главы Посольского приказа и титул “царственная большая печати и государственных великих посольских дел обергетель”. На западный образец его называли канцлером.
- ² Летописец *Льва Вологодина*, составлен в Устюге Великом в 1765 г. // Полное собрание русских летописей. Л., 1982. Т. 37. С. 140.
- ³ *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен М., 1961. Кн. 5. С. 459–460; М., 1961. Кн. 6. С. 609.
- ⁴ *Ключевский В.О.* Курс русской истории. М., 1937. Ч. 3. С. 352–353.
- ⁵ *Платонов С.Ф.* Царь Алексей Михайлович // Исторический вестник. 1886. № 5. С. 274.
- ⁶ Дипломатическая карьера Афанасия Лаврентьевича началась в 1642 г., когда он получил тайное и очень ответственное поручение: заниматься разведывательной деятельностью при дворе молдавского господаря.
- ⁷ Российский государственный архив древних актов. Ф. 27. Ед. хр. 128. Л. 61. (Далее: РГАДА).
- ⁸ Там же. Л. 1–2.

- 9 Об Афанасии Лаврентьевиче Ордин-Нашокине см.: *Берх В.* Ордин-Нашокин. Новоселье. 1845; *Иконников В. С.* Ближний боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нашокин // *Русская старина*. 1883; № 10–11; *Ключевский В. О.* Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нашокин // *Ключевский В. О.* Сочинения. 1988 Т. 3. *Эйнгорн В. О.* Отставка А.Л. Ордина-Нашокина и его отношение к Малороссийскому вопросу // *Журнал Министерства народного просвещения*. 1897. N 11; *Соловьев С. М.* Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нашокин // *Санкт-Петербургские ведомости*. 1850. N 70; *Костомаров Н. И.* Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Спб., 1874. Т. 4; *Чистякова Е. В.* Социально-экономические взгляды А.Л. Ордина-Нашокина // *Труды Воронежского гос. ун-та*. 1950. Т. 20; *Курсков Ю. В.* Псковская городская реформа 1665 г. (к вопросу о социально-экономических взглядах А.Л. Ордина-Нашокина. Учен. зап. Ленинградского пед. ин-та им. А.И. Герцена. 1958 Т. 194; *Галактионов И., Чистякова Е.* Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нашокин – русский дипломат 17 века. М., 1961; *Они же.* Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нашокин // *Око всей великой России*. М., 1989 и др.
- 10 О побеге Воина Ордина-Нашокина впервые написал С.М. Соловьев в “История России с древнейших времен” (Кн. 6. С. 71–74), его краткий рассказ в дальнейшем был дополнен В.С. Иконниковым (Ближний боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нашокин // *Русская старина*. 1883. N 10) и В. Эйнгорном (Страница из биографии Воина Ордина-Нашокина // *Вестник Европы*. 1897. N 2) некоторыми сведениями, найденными ими при работе в архивах. Однако специально вопросом воссоздания биографии Воина никто не занимался.
- 11 Это возможно определить по дате начала его обучения грамоте в 1643 г., когда ребенку должно было быть от 5 до 7 лет.
- 12 Его крестильное имя Петр названо в грамоте польского короля, о которой мы будем говорить подробно. Имя “Воин” обычно давалось тем, кто был крещен Иваном (по Иоанну Воину). Поэтому имя Петр вызывает некоторое удивление. Интересно, что имя передавалось в роду: – друга А.С. Пушкина Нашокина также звали Павлом Воиновичем, хотя он принадлежал к другой ветви рода Нашокиных.
- 13 *Галактионов И. В.* Ранняя переписка А.Л. Ордина-Нашокина. Саратов, 1968. С. 43.
- 14 РГАДА. Ф. 96 (Сношения со Шведией). Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 442
- 15 Там же. 1659 г. Ед. хр. 5. Л. 5. Среди свиты числятся многие другие родственники Афанасия Лаврентьевича: стольник Василий Богданович Нашокин, стряпчий Богдан Федорович Нашокин, дворянин по Новгороду Федор Васильевич Нашокин (Там же).
- 16 Видимо, иконы Тихвинской богоматери, находившейся с ним при заключении Валиесарского перемирия.
- 17 РГАДА, Ф. 96. Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 120.
- 18 Там же. Л. 78.
- 19 Там же. Л. 170.
- 20 О них Афанасий Лаврентьевич писал: “Взял он (Воин. – О.К.) с собою дву человек от отцов да матерей и те де люди к отцом да к матерем своим будут назад” (Там же. Л. 171).
- 21 Там же. Л. 252.
- 22 Там же. Л. 80.
- 23 В январе Хованский взял Брест и разгромил Полубенского. Проехали Воин до этой битвы или после – не ясно.
- 24 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 90.
- 25 Там же. Л. 252.
- 26 Там же. Л. 252–253.
- 27 Там же. Л. 547.
- 28 Там же. Л. 171.
- 29 Кольвань – русское название Таллинна.
- 30 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 233.
- 31 Там же. Л. 234.
- 32 Акты Московского государства М., 1894 Т. 3. С. 81.
- 33 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 175.
- 34 Там же. Л. 253.
- 35 Охранная грамота названа королем Яном Казимиром “печальной”, т. е. король в ней о Воине печаловался (заботился).
- 36 Там же. Л. 548. Полтаревич приехал к Афанасию Лаврентьевичу в Юрьев Ливонский (Тарту) 4 ноября 1660 г.
- 37 А.Л. Ордин-Нашокин в 1657 г. получил должность “лифляндского воеводы” и управлял всеми городами Прибалтики, занятыми русскими войсками в русско-шведской войне.

- 38 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 441–442.
- 39 Возможно, дальнейшие архивные поиски смогут восполнить лакуны в истории Воина.
- 40 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 230.
- 41 Эти сообщения остаются для меня загадочными и не поддаются объяснению. Сохранилось письмо Ивана Колобова, зятя Афанасия Лаврентьевича, который пишет ему следующее: “Да сказывал мне в Новгороде гость Василий Никифоров, что встретил на Вышнем Волочке Воина Афанасьевича, поехал ко государю к Москве, дал Бог здорово, а был, де, у польского короля во Гданске”. (Там же. Л. 235). Эта встреча произошла на мясопустной неделе, т. е. в начале весны. Письмо без даты, и можно предположить, что хотя оно и находится в бумагах 1660 г., но относится к более позднему времени. Однако в послании царю от 2 апреля 1660 г. Ордин-Нашокин сообщает, что ему стало ведомо из писем “об нем, Войке, как он был во Гданске, и съехал, и которым путем-дорогою ехал к Москве и хто видел в дороге” (Там же. Л. 231). То есть, как кажется, речь идет именно о письме Колобова. Однако другие документы свидетельствуют о том, что Воин находился еще в то время в Гданьске.
- 42 РГАДА. Ф. 96. Оп. 2. 1661 г. Ед. хр. 2. Л. 123–124. Подписи Воина в письме нет, однако принадлежность письма именно ему более чем вероятна. Письмо ранее не публиковалось и не упоминалось.
- 43 Там же. Ф. 159. Оп. 2. Ед. хр. 2118. Л. 2–5 (1680 г.). Документ представляет собой судебное дело по иску Андрея фон Горна о невыплате долга Воином Нашокиным. Из дела ясно, что мать письмо Воина получила, но неясно, заплатила ли. По решению суда Воину пришлось вернуть долг.
- 44 Записки Отделения русской и славянской археологии Российского археологического общества. СПб., 1861. Т. 2. С. 767; см. также: РГАДА. Ф. 27. Ед. хр. 197. Л. 5.
- 45 Записки Отделения русской и славянской археологии... С. 769; РГАДА. Ф. 27. Ед. хр. 197. Л. 3–4.
- 46 С.М. Соловьев писал, что Воин посетил Францию, вероятно, на основании данного свидетельства о знании им французского языка (Соловьев С.М. История России с древнейших времен. Кн. 6. С. 71). Мне не удалось найти сведений о пребывании Воина во Франции. Следует отметить, что Рейтенфельс вообще допускает много неточностей в своем повествовании, возможно, он неточен и в данном случае.
- 47 *Рейтенфельс Я.* Сказания светлейшему герцогу Тосканскому Козьме III о Московии / Ред. и пер М.М. Станкевича. 1906. С. 160.
- 48 См.: *Эйнгорн В.* Страница из биографии Воина Ордина-Нашокина // Вестник Европы. 1897. N 2.
- 49 РГАДА. Ф. 210. Приказной стол. Ед. хр. 447.
- 50 Воин умер между 17 и 22 декабря 1681 г.: см. РГАДА. Ф. 159. Оп. 1. Ед. хр. 725.
- 51 Цит. по: *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. 6. С. 71–74. Сами письма, наказ Ю. Никифорову и его отчет находятся в фонде “Сношений России со Швецией” в столбце, связанном с переговорами Ордина-Нашокина с Бент Горном.: РГАДА, Ф. 96. Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2.
- 52 Об этом определенно свидетельствуют слова Алексея Михайловича: “...и он, протест, и у нас, великого государя, тайно был и не по одно время и о многих делах с ним к тебе приказывали...”. Тайно у царя бывали только доверенные ему лица. Следует отметить, что быть перед “государевыми очами” вообще, не говоря уже о том, чтобы беседовать с ним “тайно”, являлось для служилого человека главным показателем успеха его карьеры.
- 53 См., например, сообщение кн. И.А. Хованского, сделанное незадолго до побега Воина, о том, что он как воевода решил поставить заставу от морового поветрия вокруг поместья Афанасия Лаврентьевича, “опасаясь того, что у него, Афонася, в то поместье люди и крестьяня многие полского народу волные и иные приехали из Царевичева-Дмитриева города с сыном ево, и чтоб той болзнью не разболеться” (РГАДА. Ф. 27. Ед. хр. 128. Л. 94).
- 54 Там же. Ф. 96. Оп. 2. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 442–445.
- 55 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. 6. С. 71.
- 56 Ср.: В. Эйнгорн: “...московские порядки настолько были опротивели, что в начале 1660 г. он самовольно уехал за границу” (*Эйнгорн В.* Указ. соч. С. 884). Г.В. Плеханов: Воин “возмушался всем складом допетровской русской жизни.

- Молодой Нашокин был первой жертвой умственного влияния Запада на Россию" (*Плеханов Г.В.* Собр. соч. М., 1925. Т. 10. С. 146).
- 57 Путешествие в Московию... описанное самим бароном Мейербергом. М., 1874. С. 37.
- 58 *Рейтенфельс Я.* Указ. соч. С. 123.
- 59 РГАДА. Ф. 27. Ед. хр. 128. Л. 61.
- 60 Там же. Ф. 96. Оп. 2. 1661 г. Ед. хр. 2. Л. 171.
- 61 Самого Алексея Михайловича в молодости также интересовали иноземцы и их обычаи. См.: *Кошелева О.Е.* Детство и воспитание царя Алексея Михайловича // Свободное воспитание. Педагогический альманах. 1993. Вып. 3. С. 52–62.
- 62 См. его донесение на с. 60 наст. статьи.
- 63 Акты Московского государства. Т. 3. С. 81.
- 64 См., например, "Список стольников и стряпчих, битых батогами перед разрядным приказом". Копия XVIII в. со списка XVII в., сделанная Г.Ф. Миллером (РГАДА. Ф. 199. Портфель 385. Ч. 1. Ед. хр. 4).
- 65 Там же. Ф. 96. Оп. 2. 1661 г. Ед. хр. 2. Л. 242.
- 66 Крестоцеловальная запись царю Алексею Михайловичу // Собрание государственных грамот и договоров. М., 1822. Т. 3. С. 422.
- 67 Это огромная по тем временам сумма денег.
- 68 РГАДА. Ф. 96 Оп. 1. 1661 г. Ед. хр. 2. Л. 119–120.
- 69 Там же. Л. 122.
- 70 Там же. Л. 84, 171.
- 71 Там же. Л. 171.
- 72 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. 6. С. 74.
- 73 Там же. Л. 243.
- 74 Грамота боярину В.П. Шереметеву // Записки Отделения русской и славянской археологии Т. 2. С. 736–737.
- 75 Записки Отделения русской и славянской археологии... Т. 2. С. 768–769, РГАДА. Ф. 27. Ед. хр. 197. Л. 3–4.
- 76 Записки Отделения русской и славянской археологии... С. 771.
- 77 Русская историческая библиотека. Т. 21. Ч. 1. Стб. 102.
- 78 Цит. по: *Эйнгорн В.* Указ. соч. С. 886.
- 79 Местничество – счет служебными местами предков – определяло и место служилого человека в высших кругах московского общества того времени. Афанасий Лаврентьевич не дождал двух лет до его отмены.
- 80 Не только современники, но и потомки считали, что поступок Воина бросает тень на его отца: в работах советских историков об Афанасии Лаврентьевиче Ордине-Нашокине о победе его сына никогда не упоминалось, и это, конечно, не случайно.
- 81 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. 6. С. 73.
- 82 "А я про то вовсе ничего не знал. Смертной казни достоин я безо всякого милосердия, если что-нибудь знал", – писал Афанасий Лаврентьевич (Там же. С. 74).
- 83 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 232.
- 84 Когда царь писал Афанасию Лаврентьевичу эти строки, он полагал, что дело может дойти еще и до убийства отцом сына.
- 85 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1. 1660 г. Ед. хр. 2. Л. 122.
- 86 *Соловьев С.М.* История России с древнейших времен. Кн. 6. С. 73.
- 87 *Флоря Б.Н.* Материалы к биографии Ивана Бегичева // Герменевтика древнерусской литературы XVII – начала XVIII в. М., ИМЛИ. 1992. Сб. 4.
- 88 РГАДА. Ф. 210. Московский стол. Ед. хр. 270; Ф. 150. Дела о выездах иностранцев. Ед. хр. 3; Ф. 389. Литовская метрика. Ед. хр. 131. Л. 295–296; Акты Московского государства. Т. 2. N 838.
- 89 *Успенский Б.А.* Дуалистический характер русской средневековой культуры (на материале "Хождения за три моря" Афанасия Никитина) // Избранные труды. М., 1994. Т. 1. С. 257–258.
- 90 Приношу благодарность Л.В. Мошковой за помощь при работе над текстом.
- 91 *Соловьев С.М.* История государства Российского с древнейших времен. Т. 6. С. 71–73.
- 92 Пасха в високосный 1660 г. припала на 22 апреля.
- 93 См.: Творения иже во святых отца нашего Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийския. Спб., 1911. Т. 2. С. 100–108.
- 94 Vorläufiger Katalog Kirchenslavischer Homilien des beweglichen Jahreszyklus. Aus Handschriften des 11–16 Jahrhunderts vorwiegend ostslavischer Provenienz / Zusammengestellt von Tat'jana V. Certoriskaja unter der Redaktion von Heinz Mikas. Westdeutscher Verlag, 1994. P. 755.

“Пагубная страсть” МОСКОВСКОГО КУПЦА

До недавнего времени сама постановка каких-либо проблем, связанных с изучением сексуального поведения, сексуальной культуры, была в отечественной историографии просто невозможной. Даже в 1995 г. Б.Г. Литвак в реферативном обзоре последнего colloquium североамериканских историков-русистов писал о “шокирующем названии” доклада Даниела Хили “Создание советского извращенного человека: гомосексуализм, медицина и закон в России. 1917–1929”. По мнению известного отечественного историка, “столь странный интерес молодого ученого к проблеме, скорее относящейся к истории медицины, чем общества”, можно понять, лишь исходя из сегодняшних массовых сексуальных ориентиров в США.

1

Основная масса исследователей все еще не осознала, что изучение вопросов частной жизни не менее важно для познания прошлого, чем проблем экономики или социальной структуры общества, ибо оно возвращает обычного (а не только выдающегося) человека в историю. Ментальность многих отечественных историков, сформировавшаяся в годы сталинизма, когда обществу были навязаны аскетизм и ригористическое отношение к сексу, не позволяет им понять и то, что господствующее в определенную историческую эпоху отношение к сексуальному меньшинству представляет для историка такую же ценную информацию об обществе, как и отношение к религиозным и политическим диссидентам или же к этническому меньшинству. Давление стереотипных представлений об историческом процессе, о том, какие темы годятся для исторического изучения, а какие “не являются актуальными”, сказывается даже на тех историках, которые осознали значение изучения интимной проблематики в исследовании прошлого. Отечественные исследователи ощущают порой определенный внутренний дискомфорт, приступая к работе над какой-либо темой, раскрывающей социальные аспекты секса. Так, авторы первой монографии о проституции — Н.Б. Лебина и М.В. Шкарковский, как видно из

Введения, испытывают чувство неловкости, вызванное их обращением к теме, которая в российском обществе конца XX в. все еще имеет некоторый налет скандальности. Поэтому они заявляют об отсутствии в книге “клубнички”, подчеркивая, что их цель — “в приемлемой для широкого читателя форме исторических очерков рассказать о многих *серьезных* (курсив наш. — А.К.) проблемах, связанных с институтом продажной любви”.

Изучение истории сексуальности в России еще только делает первые шаги. В полной мере это суждение распространяется и на исследования, посвященные девиантному сексуальному поведению горожан. Помимо вышеупомянутой монографии Н.Б. Лебиной и М.В. Шкаровского, в этом ряду можно назвать лишь статью С. Карлинского, в которой рассматривается тема гомосексуализма в русской культуре и литературе.

Историк, изучающий интимную жизнь, сталкивается всякий раз с непростой задачей источникового обеспечения исследования. Как правило, о фактах девиантного поведения в сексуальной сфере можно узнать лишь из медицинской и художественной литературы (до первой русской революции в этом аспекте интерес представляет лишь потаенная литература) да из уголовных дел. Специфика же судебно-следственных материалов состоит в том, что подследственный обычно отвергает все обвинения. Тем более в обществах, где практически всякое отклонение от общепринятого стандарта сексуального поведения осуждается либо преследуется в уголовном порядке, не приходится рассчитывать на особые откровения лиц, отличающихся необычным поведением в этой сфере.

Такие данные можно почерпнуть и из источников личного происхождения: дневников, мемуаров, писем. Однако и в них такие факты встречаются чрезвычайно редко. В России эти источники в основном были созданы одним сословием — дворянством. По крайней мере в архивах сохранились именно свидетельства привилегированной части общества. Тем ценнее для нас дневники Петра Васильевича Медведева — человека из иной социальной среды. “Рожденный в крестьянском быту”, московский мещанин, вышедший в московские купцы 3-й гильдии, он оставил интереснейшие дневники за 1854—1863 гг. Его “Памятная книга”, судя по записям в листе использования документа, хорошо известна историкам. Была она и предметом источниковедческого анализа, проведенного А.А. Преображенским. Однако информация, изредка извлекаемая из этого источника, использовалась лишь для исторических штудий по социально-политическим вопросам. Богатейшие данные, характеризующие его религиозно-нравственные переживания и всю сферу частной жизни, остались невостребованными.

Благодаря этим дневникам у историка появляется великолепная возможность услышать голос человека из толщи средних

слоев собственно городских сословий — купцов и мещан. Тех слоев, которые почти до конца XIX в. могут быть отнесены к безмолвствующему большинству. И голос весьма необычный, выделяющийся из общего хора. Впрочем, тут возникает вопрос, был ли этот голос гласом вопиющего в пустыне или же он нам только кажется таковым? И мы, люди конца XX столетия, все еще пребываем в плену ложных представлений и стереотипов о сексуальной жизни наших не столь уж и далеких предков.

В дневниках П.В. Медведева имеют место многочисленные размышления о самых разных сторонах секса: роли интимных отношений в супружеской жизни, самооценности чувственных переживаний, отношении к телу как источнику наслаждений, эротике и супружеской любви. Он касается и различных аспектов собственной девиантности, а также сексуальных девиаций своих родных и знакомых: адюльтера, инцеста, проституции, мастурбации, гомосексуальности. Следует пояснить, что понятие “девиантность” употребляется в статье в широком смысле — как отклоняющееся, нестандартное поведение. В то время как сексологи и психологи под сексуальными девиациями обычно понимают такие индивидуальные отклонения, которые не принимают характера перверсии.

Для того чтобы попытаться понять восприятие нашим героем сексуальных радостей жизни, и шире — место секса в картине мира московского купца середины XIX в., необходимо, хотя бы в общих чертах, реконструировать его социально-психологический облик. Медведев — человек переходной эпохи от традиционного к модернизированному обществу. Он не получил, как и большинство людей его социального положения, систематического образования: “Учился грамоте, читать-писать, на столько, как бы можно было жить для насущного куска”. Чтение книг и прогулки по окрестностям Москвы были его любимыми занятиями. Хотя он скептически относился к “прогрессистам”, ратующим за некий абстрактный и малопонятный для него общественный прогресс, он был человеком, чувствующим величие перемен, современником которых ему довелось стать. По своим политическим настроениям — убежденный монархист, русский патриот, впитавший в себя идеи православия, самодержавия, народности. Поэтому так радовали его всякие проявления “русского духа”, особенно в сфере храмового строительства и иконописания.

Его патриотизм, переходящий порой в национализм, но все же не соскальзывавший в шовинизм, был ответом на вызов времени. Выходец из крестьянства, он чувствовал глубокий раскол и недоверие между образованной верхушкой общества и массой, по его выражению, “черного люда”. Не случайно ему оказались наиболее близки славянофилы. Подтверждения этой близости можно обнаружить непосредственно, в частности, в записи о смерти писателя С.Т. Аксакова. Но еще более свиде-

5

6

7 тельств схожести мироощущений мемуариста и славянофилов имплицитно присутствует на страницах его дневников. Медведев полагал, что только на путях обращения к национальным истокам возможно преодоление пропасти между дворянством и “простонародьем”. С чувством глубокого эмоционального подъема он встретил известие об отмене крепостного права: “И как встал с постели, неумывшись, в ночном белье даже по ошибке наизнанку надетым, надел одне калоши без сапог, на плеча по сорочки набросил шубу, схватил картуз, побежал в церковь”. Его монархизм отнюдь не мешал ему критически отнестись к личности Петра I или к действиям правительства и придворных Александра II. Медведев в целом позитивно оценил и новое положение о городском самоуправлении, расширявшем компетенцию выборных органов власти. У него нашли поддержку и требования гласности. Он искренне негодовал на произвол полиции и военного генерал-губернатора Москвы графа А.А. Закревского, ратуя за защиту прав и свобод граждан законом.

Его представления о праве каждого человека на частную жизнь, которая должна быть неприкосновенной от всякого вмешательства государства, общества или сильных мира сего, наиболее рельефно вырисовываются в связи с известием 13 апреля 1861 г. о смерти генерала А.П. Ермолова. Эта новость вызвала в памяти Медведева не какие-нибудь воспоминания о боевых подвигах прославленного генерала, но неприятности, доставленные им И.А. Новикову – соседу в Сокольниках, где Ермолов жил на даче. Новиков, дабы избежать придинок от полиции, часто немотивированно разгонявшей хороводы, запретил их своим фабричным рабочим. Однако генерал желал, чтобы хоровое пение под его окнами продолжалось. Свою просьбу он счел уместным передать через полицию. В результате обеспокоенному фабриканту было велено без объяснения повода явиться к полицмейстеру Сычинскому, который и изложил пожелание Ермолова.

8 Эта банальная история стала для автора дневника предметом серьезных размышлений, отражающих глубокое недовольство рядовых горожан полицейским произволом и своей сословной неполноправностью: “И у нас все так делается официально, каждая ласка вельможи, без полиции нельзя. Такая процедура по полиции, и такое беспокойство час[т]ному лицу очень обыкновенна по прихоти сильного. Не простя ли и приятня было бы пригласить Новикова как соседа самому Ермолову и сказать два слова, как час[т]ному человеку и соседу... А наш брат час[т]ной человек знает и строго помнит чинопочитание... О люди, когда вы будете братья хотя по час[т]ной жизни?”

В этих размышлениях, отражающих массовые настроения средних слоев горожан, следует отметить не только отчетливое выделение Медведевым сферы частной жизни, но и подчеркнутую

тое именование горожанина не “обывателем”, как любили называть его чиновники, но “частным человеком”, который имеет не меньшее право на неприкосновенность его личных прав и свобод, чем вельможа. Все это свидетельствует, что частная жизнь “маленького человека” для Медведева является несомненной жизненной ценностью. Купец 3-й гильдии, родившийся в крестьянской семье, он идентифицирует себя с “черным народом” или “простолюдинами”. Следует отметить, что автор 9
 дневников в мире, где положение человека жестко определяется комбинацией двух составляющих: сословного статуса и богатства, остро ощущает свою социальную приниженность. Он с горечью вопрошает: “...но что же делать нам, мелочам (курсив наш. — А.К.), когда наш голос теряется как в пустыни [?]”. По случаю приглашения от А.З. Морозова на вечер в дневнике появляется запись: “Не нужно бы ехать, но ведь зовет Богач, как не быть...” 10

Однако описание его социального статуса, имущественного положения, образовательного уровня, политических настроений и даже присущей ему ментальности не позволяет нам приблизиться к пониманию причин возникновения девиантного поведения в сексуальной сфере и его собственной рефлексии по поводу различных девиаций. Необходимо указать некоторые черты характера, которые могли тому способствовать. П.В. Медведев — человек эмоциональный, импульсивный, впечатлительный, натура мечтательная, поэтическая, тонко чувствующая. В нем уживались раздражительность и слабовольность рядом с отходчивостью, отзывчивостью и добротой. Он больше пассивный созерцатель, склонный к рефлексии, чем энергичный предприниматель. К этому следует добавить и крайне важное для понимания страстей Медведева обстоятельство — его глубокую религиозность. Именно она приносила трагические ноты в драму его жизни.

П.В. Медведев женился в зрелом возрасте — ему было уже тридцать лет — на дочери состоятельного московского купца П.И. Ланина. Брак этот ни по каким меркам нельзя признать удачным: любви между супругами, как и согласия, не было с первого же дня совместной жизни, о чем постоянно заявлял мемуарист, “не дал Бог” и детей. Отсутствие детей причиняло постоянную боль мужу. О страданиях жены он умалчивает, но надо думать, что, выросшая в многодетной семье, она не меньше переживала бесплодность своего брака. Уже летом 1854 г., спустя три года после свадьбы, он будет называть свой выбор спутницы жизни “безумной женитьбой”. В апреле следующего года очередной семейный конфликт с женой вызовет у него саркастичный упрек в адрес ее родителей: “Наградили меня, спасибо им: ее отец, кажется, такой злодей до меня. Хуже всякого злого татарина”.

Была ли эта женитьба такой безрассудной, какой она рисуется на страницах его дневника? Напротив, есть основания счи-

тать, что Медведев женился отнюдь не с закрытыми глазами, руководствуясь не чувством, но разумом. Хотя его избранница не была красавицей, но она, вероятно, не была лишена привлекательности. В противном случае мемуарист, будучи в раздраженном состоянии духа после очередного семейного скандала, непременно прошелся бы на счет ее женских прелестей. Однако этого не происходило. Очевидно, расчет зрелого жениха строился на том, чтобы с помощью приданого и родственных связей, которые приносила супруга, подняться по социальной лестнице. Напомним, жених — мещанин, невеста — дочь достаточно авторитетного купца. В этом контексте упрек родителям жены (“наградили меня”) является примечательной проговоркой. За женой он получил меньше денег, чем надеялся взять. Однажды Медведев прямо обвинил тестя в том, что тот “не исполнил верно рядной, чем обворовал свою дочь в приданом, а во мне поселил злое расположение к нему и всему родному”. Тем не менее он был вынужден поддерживать с тестем формальные родственные отношения.

Молодая жена, если верить мужу, не отличалась ни достаточной образованностью, ни хорошим вкусом, ни природным умом, ни добрым сердцем, а представляла “всю противоположность” его “желаний и мечтаний”. Очевидно, супруги не слишком подходили друг другу: он — скорее мечтательный романтик, чем деятельный буржуа, она — натура недалекая, но крепко стоящая на этой земле. Муж часто упрекал жену в упрямстве, капризности и, выражаясь вскоре ставшим популярным словом, истеричности. Учитывая, что жена постоянно скандалила и с родственниками мужа, и со своими родными, и с прислугой, правда, действительно, не надела ее ангельским характером, как любили писать в романах того времени. Впрочем, Медведев многократно раскаивался и в собственной несдержанности.

Семейные нелады имели причиной не только недостатки их характеров, но были и следствием столкновений на почве борьбы за доминирование в браке. Молодая женщина, вступив в брак, который все-таки выглядел в ее глазах и в глазах ее родных и знакомых мезальянсом, ожидала занять в семье мужа более почетное положение, нежели то, в котором она очутилась. Ей пришлось жить под одной крышей с престарелой, но властной свекровью, овдовевшей сестрой мужа (не отличавшейся, мягко говоря, особой кротостью) и двумя ее сыновьями. Конфликтный характер имели отношения молодой женщины с замужней племянницей мужа. Об этом свидетельствует, например, запись мемуариста о ссоре с племянницей, которая между делом обвинила и его жену в пьянстве, “избаловании брата”, а также припомнила трех ее “номинальных любовников”. Отношения снохи и свекрови временами достигали такого накала,

что женщины выясняли их с помощью кулаков. Супружеские конфликты четы Медведевых в первые годы брака также порой заканчивались подобным образом. “Иногда в часы раздражительности и подерешься бывало, *в виде науки* (курсив наш. — А.К.); теперь прошли годы — я уже не пальцем не трогаю этого болвана в человеческом виде”, — писал в 1861 г. умудренный опытом супруг. Такие “поучения” жены немедленно вызывали у мужа раскаяние. Его неудовлетворенность личностными отношениями в семье и собственными актами насилия вела к серьезным эмоциональным срывам. Наступавшая депрессия была порой столь глубокой, что он несколько дней проводил прикованным к постели. 14

Не испытывая особо нежных чувств к жене и не встретив с ее стороны большой любви, молодой муж через два-три года малоуспешной семейной жизни свыкся и “решился действовать по своим желанием и склонностям”, дав “волю своим страстям”. Итак, супруг, не найдя любви в законном браке, счел себя свободным от уз, налагаемых этим браком, в сфере “страстей”. Важно, впрочем, не только само признание и его обоснование, но и тот контекст, в котором оно было сделано. Этому признанию предшествовал рассказ о походе автора с “ночной Дульцениею”. О самовосприятии этого “сладострастного randevu” можно судить по следующей сентенции: “И, конечно, всякой посмеется моему неразборчивому волокитству и в моих годах, положении — неприличному действию”. Стремление к самооправданию в данном случае имеет плохо скрытый характер. 15

Дальнейшая семейная жизнь не принесла супругам особой радости. Ссоры и скандалы были ее неотъемлемой частью. Однако они продолжали, как могли, нести свой крест. И все же мысль о разводе не приходила в голову московскому купцу. Хотя, как будто, для развода он имел основание. Причем этим основанием была вовсе не бесплодность их брака, ибо церковь могла отказать в разводе, полагая, что если у супругов не появились дети в первые десять лет брака, то это не означает, что и в дальнейшем они останутся бездетными. Брак этой несчастной четы мог быть расторгнут из-за прелюбодеяния жены. Мы не знаем, что именно толкнуло молодую женщину на этот поступок: жажда романтической любви, неутоленность плоти или страстное желание родить ребенка. Первые две причины представляются менее вероятными, так как именно на отсутствие у жены возвышенных романтических чувств постоянно жаловался муж. 16

Что же касается супружеского секса, то здесь, судя по дневнику спутника ее жизни, жаловаться ей было не на что. Сексуальное общение супругов происходило регулярно, не исключая и времени, когда церковь запрещала плотский грех. Сам мемуарист был высокого мнения о своих сексуальных достоинствах.

Разделяла ли Серафима Медведева эту убежденность мужа? Для нас данный вопрос остается загадкой. Правда, некоторые косвенные свидетельства как будто подтверждают, что жена ценила мужские достоинства супруга. В этом ряду можно отметить раскаяние жены, когда муж в целях оказания воздействия на ее поведение решил спать отдельно. Об этом же, вероятно, говорит и запись в дневнике от 13 января 1863 г.: “Жена приставала для совокупления, но я отказался, говоря, что не такое время и не такие мысли (в тот день он поссорился с младшим племянником. — А.К.). Она ворчала, сердилась, но я не послушал ее”. Поэтому представляется наиболее вероятной причиной (или хотя бы внутренней мотивацией) ее любовных связей именно желание иметь ребенка. Разумеется, на адюльтер ее могли толкнуть и напряженные отношения с мужем.

Подробности прелюбодеяния вскрылись в ходе одного из конфликтов снохи и свекрови. Ссорясь с невесткой, свекровь укоряла последнюю в интимной связи со своим внуком. Присутствовавший при этом супруг, сочтя нужным расспросить племянника, узнал малоприятную правду: “Он искренно и со всею подробностью сознался о грехе неоднократного кровосмешения”. Как отнесся автор дневника к измене жены? Внешне более спокойно, чем можно было бы ожидать, учитывая его вспыльчивость и то обстоятельство, что соучастником прелюбодеяния был его любимый племянник: “И я все это принял к сердцу, но наказания и протчих возмутительных сцен, брани, укоров не позволил себе... Я знал и прежде эти пороки за женою, но знал со сторонними, и глупые поступки, но тут любимец, воспитанник и сын родной сестры и крес[т]ной. Как терпеть, но все-таки по его слезам и искреннему раскаянию я оставил его у себя, даже и упреком не наказывал”.

Наказание все же последовало — спустя два года дядя в присутствии своих рабочих жестоко избил племянника палкой. “Гадка, омерзительна до отвращения была эта сцена. Но я притчивал с пеною в роту все его дела. А в особенности поступок кровосмешения как дело, которое меня раздражало всегда своею безнаказанностию”. Мемуаристу тут же стало стыдно за свое “варварское наказание”. Бросается в глаза и тот факт, что в состоянии аффекта дядя поносил племянника за связь с его женой, не смущаясь тем, что свидетелями этой, по его словам, “отвратительной сцены” были его рабочие. Он не ощущал никакой неловкости, что посторонним людям стали известны такие пикантные подробности его супружеской жизни.

Чувство стыда, которое он испытал позже, было связано с осознанием грубости и дикости учиненного избиения, но во все не с тем, что рабочие оказались посвящены в столь пикантные подробности жизни его семьи. Означает ли это, что в сред-

них слоях непривилегированных горожан не было принято защищать интимную жизнь от посторонних? Вероятно, поведение московского купца было бы не столь вседозволенным, а речь не столь откровенной, окажись среди зрителей этой семейной драмы кто-либо из людей его круга. В силу господства среди молодой русской буржуазии патерналистских настроений все служащие (особенно прислуга, жившая в семье не один год) не рассматривались работодателем как совершенно посторонние люди, которых следует стесняться.

Итак, московского купца, оказывается, возмутила не сама внебрачная связь жены, но инцест, который, по современным меркам, строго говоря, таковым вовсе и не был. Однако в середине XIX в. горожане смотрели на инцест, руководствуясь не его медико-физиологическим определением, но в соответствии с христианской традицией, трактовавшей это понятие более расширительно. Не был, как видим, в этом вопросе исключением из правил и Медведев. И все же он, имея признания племянника и жены, не только не предпринимает никаких шагов для расторжения брака, но такие мысли даже не приходят ему в голову. Во всяком случае, их нет в его дневниках. И это при том, что он постоянно сетует на жену, обвиняя ее во всех своих неудачах и пороках. Иногда он жалуется и Богу на свое неудачное супружество: “Господи, это ты все видишь, что я тут могу сделать? Внуши или уже, Господи, разлучи нас, буди во всем воля твоя святая”. Почему же обманутый муж, обманутый сначала в своих ожиданиях, связанных с семейной жизнью, а затем и непосредственной изменой жены, не воспользовался благоприятной возможностью?

Попытаемся реконструировать логику его решения. Разумеется, она не была одномерна. На нее повлияли по крайней мере три фактора: социальный опыт, бракоразводная практика русской православной церкви и религиозность московского купца. Рассмотрим эти факторы в вышеназванном порядке. Под социальным опытом в данном случае понимается распространение разводов в тогдашнем русском обществе и в той социальной среде, к которой принадлежал наш персонаж. Иначе говоря, а были ли ему известны примеры расторжения браков? В кругу его близких, как и в кругу его дальних знакомых, таких образцов он, конечно, сыскать не мог. Разводы в дореформенной России были делом не просто редким, но абсолютно исключительным, что было во многом связано с другим, внешним по отношению к мемуаристу фактором — бракоразводной практикой русского общества того времени. Русская православная церковь, если несколько редуцировать ее отношение к данной проблеме, опиралась на два постулата: таинство брака и греховность природы человека. Воспринимая их диалектически, цер-

ковь стремилась прежде всего сохранить нерасторжимость брака и примирить супругов. И в этой связи шансы получить от Синода разрешение на развод были у Медведева не так очевидны, как это может показаться на первый взгляд. Известны прецеденты, когда церковь не только закрывала глаза на продолжительное внебрачное проживание одного из супругов с третьим лицом, но принуждала супругов к совместному жительству, даже если они оба не хотели этого.

- Вышесказанное не означает, что в тогдашней Москве в купеческой среде не было успешных бракоразводных процессов. Так, в 1859 г. купцу 2-й гильдии П.М. Рябушинскому удалось обвинить жену в прелюбодеянии и в кратчайший срок добиться развода. Да, бракоразводные процессы были редки, очень редки, но они все же имели место. В 1850 г. Московская духовная консистория рассматривала 32 дела о расторжении брака, в 1851 г. — 31, в 1852 г. — 30. При этом 4% дел за эти три года были возбуждены по факту супружеской неверности. Поэтому причины супружеского долготерпения Медведева нельзя свести только к проблеме сложности расторжения брака в дореформенной, да и в пореформенной России.

- Были и другие — внутренние — мотивы, заставлявшие обманутого мужа даже не допускать мысли о разводе. К их числу относится его глубокая религиозность, вера в то, что судьбы людей определяются божественным промыслом. Скверная жена воспринималась им как “одно из тяжких наказаний” за собственную греховность. Наконец, время от времени в дневнике появляется горькая самокритика и признания, что причины семейных неурядиц, ссор с женой или с сестрой — в его собственном характере и неумении руководить и управлять семьей, как подобает главе семейства.

- Дневник П.В. Медведева позволяет реконструировать его представления о правильном браке и об идеальных отношениях супругов. Для того чтобы освященный церковью союз был счастливым, по мнению мемуариста, требуется взаимное влечение будущих супругов. А без “сердечной склонности” супружеская жизнь обречена на неудачу. Другими неперемнными условиями удачного брака должны быть здоровье и физическая привлекательность мужа и жены. Однажды он даже выразил свое сочувствие всем женщинам, которые имеют мужей “хилых, неразвитых и неимеющих такой (как у него. — А.К.) возможности удовлетворять женщин”. Он полагал, что между супругами не должно быть большой разницы в возрасте. Узнав о предстоящей свадьбе свояченицы, 16-летней девушки, с 40-летним мужчиной, он пишет: “Какое неравенство брака, живая, резвая и с надеждами на радости и удовольствие должна соединить свою судьбу с положительным и отжившим человеком...”.

Подобные браки в то время не были чем-то из ряда вон выходящим и в среде средних слоев горожан не воспринимались как мезальянс. Да и консервативные моралисты, типичным образчиком которых был автор книги “Наука жизни, или Как молодому человеку жить на свете” Е. Дымман, твердили в этом же духе: “Женись никак не моложе тридцати пяти лет; это наилучший для женитьбы возраст”, иначе жена, нарожав до 15 детей, может состариться, а муж останется еще “крепок”, что приведет к кризису в отношениях супругов. Наконец, “невозможно ранее этих лет честным образом приобрести достаточно обеспечивающего для целого семейства состояния”. Поэтому, получив во время свадьбы от А.И. Смирнова аналогичное мнение, Медведев вновь возвращается к этой теме в дневнике: “...он тоже выразился моим мнением о неравенстве брака, следовательно, я не один чувствую подобную неуместность”. Восприятие возраста в первой половине – середине XIX в. отличалось от современного. Так, Медведев женился в 30 лет, когда, как он считал, молодость уже прошла. В 35 лет он записал о поведении людей разного возраста на балу: “Молодость плясала до упаду, а мы, люди в годах, уединясь, сидели, разговаривали”.

Однако при таком восприятии возраста, когда 30-летние мужчины или женщины считались уже людьми далеко не первой молодости, брак, в котором муж был старше жены на 25 лет, не оценивался в мещанско-купеческой среде как нечто экстраординарное, тем более неуместное. Ибо от брака ожидали прежде всего союза, создаваемого для продолжения рода и совместного ведения хозяйства. Таков был доминирующий взгляд на семью. Автора дневника такие представления о браке и смысле семейной жизни не устраивали. Семья для него являлась важной жизненной ценностью. Она была в его мировосприятии устойчивой опорой в меняющемся мире. Но семья отнюдь не в ее традиционно патриархальном варианте – слишком уж грубы были отношения между супругами и крайне отталкивающими были проявления родительского деспотизма в семьях людей старшего поколения. Выводы московского купца базировались преимущественно на данных о семейных отношениях его родителей и родителей его жены. Семейный быт старшего поколения сопоставлялся им с семейным бытом его дружеского круга. И это сопоставление неизменно оказывалось в пользу современной семьи. Можно отметить, что, завидуя семейному счастью знакомых, он из-за недостатка объективной информации неизбежно идеализировал взаимоотношения в семьях людей его круга. Однако эти сравнения всегда у него имплицитны. Его размышления на семейные темы, как правило, вписаны в более широкий контекст, главным содержанием которого является смягчение нравов.

29 Семья для Медведева это не только тихая уютная гавань, где царит забота супругов друг о друге и о детях, но и романтический союз любящих супругов. Он считал, что ранние женитьбы “взаимно приятны и полезны, как для себя и человечества в нравственном и физическом отношении”. Такое отношение к ранним бракам обнаруживает сходство с ментальными установками крестьянства относительно возраста вступления в семейную жизнь. Очевидно, в данном случае крестьянские корни московского жителя совершенно ни при чем. Он хорошо знал, по-видимому, лишь один пример крестьянской семьи — семьи своих родителей. Представления о полезности раннего начала семейной жизни — плод его наблюдений и сопоставлений именно городских семей. В этом вопросе Медведев явно разошелся с господствующим в городе (точнее, крупном городе, ибо пока не известно, каким было отношение в малых городах) взглядом. При этом он четко осознавал, что его мнение противоречит 30 “нынешнему воззрению массы”. Иногда в дневнике встречаются записи, отражающие не выработанный им взгляд о пользе ранних браков, но влияние принятых в его среде стереотипов. Так, умилившись в очередной раз картинами семейного счастья одного из близких приятелей, он находит их закономерными, поскольку тот, “выдавший в молодости виды”, женился по любовной склонности. Подобные исключения позволяют нам реконструировать его представления о роли секса в жизни мужчины. 31

Физическая любовь для него является огромной жизненной ценностью, поэтому он весьма снисходителен к добрачным связям мужчины, рассматривая их, во-первых, как средство приобретения сексуального опыта, который является не лишним багажом мужа, вступающего в брак; во-вторых, как источник, пусть и не слишком чистый, для удовлетворения сексуальных потребностей. Однако такая практическая философия добрачного секса мужчины неизбежно вступала в противоречие с христианским взглядом на брак. Поэтому Медведев, будучи человеком глубоко верующим, но одновременно осознающим всю силу плотской страсти, ищет выход из этого противоречия и находит его в раннем браке. При этом он оказывается человеком, способным преодолеть господствующие стереотипы представлений о браке, опиравшиеся, с одной стороны, на житейскую мораль, согласно которой мужчина должен жениться, только когда прочно встанет на ноги (“бедному жениться на бедной есть злодейство, хуже разбоя, криминал, непростительное малодушие”, — наставлял молодежь Е. Дымман), а с другой стороны, на вышеотмеченное, по сути либеральное (распространявшееся тогда только на мужчин) отношение к сексу. 32

Следует все же заметить, что эти представления сложились у мемуариста уже в зрелом возрасте после нескольких лет жена-

той жизни. Его добрачные убеждения и холостяцкая жизнь были совершенно иными. Но жизненный опыт вошел в конфронтацию с церковными установками о необходимости добрачного воздержания. Итогом такого столкновения стала ломка прежних стереотипов сексуального поведения и норм сексуальной жизни. Отметим, что в этом переосмыслении он смог выйти за рамки мужского шовинизма. Отсутствие сексуальности в браке для него даже является моральным оправданием неверности со стороны замужней женщины. В частности, он упрекает тестя за выдачу замуж по расчету одной из дочерей за “больного физически мужа”. В результате молодая женщина, “полная красоты и жизни, не видала супружеских полных наслаждений, вынуждена была искать [их на стороне], в чем легко успела”. И все же оправдание адюльтера, своего или других, имело лишь житейский характер. Ментальность верующего человека заставляла оценивать это деяние как вводящее грешника к “гибели”.

Нельзя не признать, что брачные ожидания мемуариста, учитывая все обстоятельства, оказались завышенными. Опыт супружеской жизни поможет со временем Медведеву посмотреть на сексуальность в браке более трезвым взглядом. В 1859 г. в его дневнике появилась выстраданная сентенция: “Женатая жизнь требует обязанностей по отношению к жене, и вот пришло время лет; не по желанию, не по страсти, а так себе, по привычке, делается процесс совокупления; и что ж выходит из этого как один только животный побудок”. Драматический разлад мечты и жизни поставил его перед дилеммой: умерить свои чувственные притязания или же найти им выход за рамками семьи. При страстности его натуры и высокой оценке сексуальных наслаждений этот выбор был предрешен. Слабой преградой оказалась и искренняя религиозность Медведева. В этой ситуации перед ним, учитывая его социальный статус, как будто бы открывалось два пути: найти постоянную любовницу либо, надев личину добропорядочного семьянина, время от времени забывать о ней в объятиях проституток. Но Медведев пошел своим путем.

Нестандартный выбор московского купца отчасти определялся его латентными гомосексуальными наклонностями. Тому есть многочисленные подтверждения в его дневниках: удовольствие от совместного купания с молодыми хорошо сложенными людьми, наслаждение от обмена пасхальными поцелуями с красивыми юношами и молодыми мужчинами. Но эта гомосексуальность до поры имела скрытый характер. Она актуализировалась лишь после осознания всей неудачности его брака. И во многом была следствием его чувства отвращения и ненависти, которые овладевали им после частых ссор с женой. Испытывая некоторые психологические проблемы в общении со взрослыми женщинами (достаточно напомнить о его постоянных ожесто-

ченных ссорах с сестрой, конфликтах с замужней племянницей и о крайне тягостных воспоминаниях о скандалах, которые его мать устраивала отцу), он подсознательно стремился в тот мир, где бы он ощущал состояние внутреннего эмоционального комфорта. Этот мир существовал прежде всего в сфере воображаемого. В реальной жизни ему психологически было удобнее пребывать в мужской среде. Кроме этого, общение с мужчинами его круга было значительно содержательнее в интеллектуальном плане, чем с женщинами аналогичного социального статуса, образованность которых в то время заметно уступала мужской. Однако стремление к однополюм контактам в нем отнюдь не преобладало. Тогда почему же московский купец не пошел дорогой, проторенной миллионами разочарованных супругов, а побрел собственными извилинами тропами?

Нельзя сказать, что Медведев полностью проигнорировал тореные пути и перепутья. Каким было его отношение к проституции? Никаких негативных оценок проституции и проституток у него нет. Чаще всего они называются “камелиями”, иногда иронично “венерами”, “дульцениями”, порой нейтрально “девушками”. В целом у него было настороженное отношение к институту продажной любви: “...жена уехала к отцу, хотя плохенькая, но все своя, некупленная; а покупать не в характере и не в привычке”. Такое отношение, впрочем, не мешало ему иногда пользоваться услугами публичных женщин. Возможно, он прибегал бы к услугам жриц любви несколько чаще, если бы сфера интимных услуг Москвы середины XIX в. предоставляла живой товар более высокого качества, а содержимое кошелька неудачливого фабриканта было бы полнее. Кроме того, на рынке продажной любви спрос порой превышал предложение. Согласно полицейской статистике, в Москве насчитывалось в 1853 г. 1261 публичная женщина. В 1861 г. их было зарегистрировано 1285. В общей массе горожан в 50–60-е годы XIX в. численность проституток составляла 0,34–0,36%. Для столичного города количество продажных женщин было невелико. Что подтверждается и записью в дневнике: “...случай в женщине нам не представился, мы вспомнили один под видом овощной лавки притон, где можно найти камелий и вина”, но все его обитательницы уже оказались заняты.

Мысли “иметь женщину-любовницу” иногда появляются в дневнике. Порой его автор оказывается в такой ситуации, как, например, при посещении номера в трактире в компании с другом, его любовницей и ее подругой (“хорошенькая бабенка”), когда ожидается дальнейшее развитие событий в заданном направлении. Однако этого не происходило. Медведев не был склонен сводить сексуальность к релаксации. О психологических причинах, тормозивших его стремление к прекрасному по-

лу, уже говорилось. Но сказывалась и религиозная ментальность мемуариста. Для него именно любовная связь с женщиной (секс с проституткой не в счет) означала грех прелюбодеяния. Вероятно, такая трактовка данного греха имела индивидуальный характер. Среди различных сексуальных девиаций (“совокупление” с женой во время поста, мастурбация, контакты с проститутками, гомосексуальные связи) именно прелюбодеяние является самым сильным грехом. В иерархии отклоняющегося поведения в сексуальной сфере оно занимает место лишь на ступеньку ниже, чем инцест, и находится почти на одном уровне с “покушением на невинность” (речь идет об обольщении девушки женатым мужчиной).

Наименее безобидно в его глазах выглядит мастурбация. Отношение его к данному “пороку” скорее испытало влияние тогдашних взглядов медицины на это явление, нежели было подвержено воздействию церковных установок. По поводу этого своего увлечения он испытывал “секуляризированные” угрызения совести: “Пора бы, пора взойти в мужа совершенна, а особенно от сладострастных мечтаний и действий, гадкая привычка увлекаться в область прошлых дней молодости, и делать при имени жены, по привычке и увлечению онанию, гадко!” Ступенькой выше на лестнице грехов в его представлениях расположилось “соитие с женою” во время поста. Далее следовала взаимная гомосексуальная мастурбация (“сугубая малакия”). И лишь после нее, кажется, находился “блуд” с проституткой.

Свидетельством такой иерархии сексуальных девиаций служит запись в дневнике от 10 ноября 1861 г. В тот день, навестив одного из холостых друзей, он застал у него “девушку”, а другой его знакомый за ширмами того же гостиничного номера занимался любовью с ее подругой. “Долмазов просил посидеть, играл на рояле. Между тем, Богданов совершил свое, не выходил из алькова. Я, не стесняя его, удалился, сознавая в себе *нравственную силу* (курсив наш. — А.К.), потому что он показаться мне стыдился, и [я] был этим доволен”, — писал об этом эпизоде Медведев. Данное суждение может показаться ханжеским, если мы будем рассматривать его вне общей картины сексуальных девиаций, сложившейся у купца-бисексуала середины XIX в. Но в контексте общей сексуальной культуры мемуариста оно таковым не является. Более того, и П. Богданов, слышавший в купеческой среде известным ловеласом, по-видимому, считал свое поведение нравственно ущербным для женатого человека. Ступенькой выше на лестнице чувственных девиаций, по представлениям Медведева, разместился адюльтер (“прелюбодеяние”).

Интимные отношения Медведева с мужчинами становятся особенно интенсивными в 1861 г. Менее чем за полгода, с 29 мая по 15 ноября 1861 г., в дневнике упомянуты 15 таких контактов.

38

39

Из мужчин, с которыми Медведев поддерживал те или иные сексуальные отношения, трое рассматриваются им как равные партнеры. Все они принадлежат его дружескому кругу. Ни один из них не ориентирован преимущественно на гомосексуальные связи. Описания походов мемуариста как будто не дают оснований для четкого определения побудительных мотивов гомосексуальных отношений этих лиц. В одних эпизодах “случай в женщине” им не “представился”, поэтому они прибегли к взаимной мастурбации как суррогату сексуального наслаждения. В других случаях Медведевым и его друзьями под воздействием алкоголя движет жажда удовольствий промискуитетного характера, когда различия между полами отходят куда-то далеко на задний план. Порой эти мотивы переплетались, о чем свидетельствует рассказ автора дневника о событиях 1 июня 1861 г. В праздник Вознесения после ссоры с женой он отправился с товарищем в Останкино. Вот что он писал о своем настроении в те часы: “...во мне образовалось желание пить и предаться разврату, мне и так с сильными страстями явилось тревожное желание иметь женщину или мужчину для онанизма, кулизма, чего хотите... привычка сладострастия и постыдного разврата во мне царил”. Возвращаясь домой, Медведев предложил своему спутнику вступить в интимные отношения. Однако товарищ не захотел изведать прелести “взаимного онанизма”, но предложил найти “камелий”. После безуспешных поисков пьяный спутник уже сам вернулся к предложению мемуариста.

40 Содержание дневника позволяет утверждать, что его автор своим нестандартным поведением оказывал влияние на некоторых знакомых, которые начинали ему подражать. Так, в ряде случаев Медведев уговаривал своих приятелей, не имевших ранее подобного опыта, прибегнуть к взаимной мастурбации, а через некоторое время уже они выступали инициаторами подобных действий. После содеянного, когда ему удавалось приобщить кого-либо из знакомых к гомосексуальным контактам, мемуаристом овладевало раскаяние: “Вот дак гусь я. В мои лета, при моем положении такие делать гадости и невольно увлекать других силою сладострас[т]ных рас[с]казов к онанизму”.

41 Еще один партнер — какой-то 18-летний юноша, живущий в его доме, явно выполняет роль ведомого. О характере этих отношений и восприятии их Медведевым можно судить по записи 1 августа 1861 г.: “Но зачем я приучаю молодого мальчика (но, впрочем, развитого)? ... три раза еще на прежней квартире я имел с ним сладострастное сношение взаимного онанизма, он немножко робеет, но, кажется, ему тоже приятно”. Чуть ранее этих слов он беспристрастно зафиксировал свою доминирующую роль в отношениях со своим юным партнером: “...по моему желанию удовлетворял меня...”.

Все другие гомосексуальные контакты Медведева имели не случайный, так как действовал он целенаправленно, но единичный (разовый) характер. Осенью 1861 г. мемуарист находил случайных партнеров среди молодых извозчиков. Последние за 30–50 копеек соглашались оказать подгулявшему пассажиру “услуги” по взаимной мастурбации. Склонить извозчика к этому занятию Медведеву, по его словам, “почти всегда удается”. Напрашивается умозаключение, что данные факты свидетельствуют не о сексуальной ориентации части (и не такой уж малой) московских извозчиков, которые в то время были, как правило, крестьянами или выходцами из крестьян, но об их готовности ради денег преодолеть существовавшие табу в интимной сфере. Но не все было так однозначно — некоторые извозчики откликнулись на нестандартные предложения купца-бисексуала и без материального стимулирования. В октябре 1861 г. Медведев, возвращаясь домой из театра (через трактир), “до 5 раз” вступал в интимные связи с извозчиками. Эти данные, конечно, не вписываются в благостные зарисовки о жизни московского купечества из книжки “Замоскворечье, или Вот как живет да поживает русское купечество нынешнего мудреного, промышленного XIX века”, которую, возможно, читал и П.В. Медведев. Автор этой адресованной широким читательским слоям книги утверждал: “В семейном быту купец есть истинный и высоко нравственный человек”.

В данной статье нас интересуют не нравы москвичей середины XIX в., но индивидуальный путь к различным сексуальным девиациям одного из таких глубоко верующих, богобоязненных горожан. И дневник Медведева позволяет узнать, как он оценивал свои однополюе контакты и что же он сам думал о своих необычных наклонностях. В частности, его рассказ о похождениях с извозчиками завершает несколько неожиданная сентенция в ригористическом духе: “Однако сильно у нас развита эта пагубная страсть, и все из опасения чего-то”. Концовка этой фразы не вполне ясна. О каких опасениях он писал? Вероятно, в данном случае речь идет о несанкционированных церковью гетеросексуальных контактах.

Место интимных отношений мужчины и женщины в картине мира московского купца середины XIX в. предстает на страницах исследуемого дневника не лишенным серьезных противоречий. С одной стороны, впитанная им с молоком матери (во времена его детства детей кормили грудью значительно дольше, чем спустя полвека, так как рассматривали кормление грудью как средство контрацепции) установка православной церкви на греховность любых сексуальных связей мужчин и женщин заставляла его опасаться таких отношений. Благодаря этим страхам в молодости он избегал женщин (“блудодейния”), а в зре-

лом возрасте уклонялся от адюльтера (“прелюбодеяния”). Отсюда происходили такие формы девиаций, как мастурбация и гомосексуализм. Но, с другой стороны, воздействие современной ему светской культуры, в том числе естественных наук и медицины (постулаты которых, например утверждение о вреде мастурбации, не всегда получали подтверждение в ходе дальнейшего развития науки), напротив, заставляло Медведева с осуждением смотреть на собственную сексуальную практику, отклоняющуюся от рекомендованных наукой норм. Поэтому он иногда приходил к выводу, что для здоровья было бы полезнее завести женщину-любовницу. Но эти настроения вступали в конфликт со сложившейся у него иерархией сексуальных грехов, которая и удержала его от их реализации, находя порой выход в сублимации в виде мастурбации или гомосексуальных связей. И это при том, что на вербальном уровне гомосексуальные отношения оценивались московским купцом на порядок ниже, чем гетеросексуальная чувственность, высшим проявлением которой была для него супружеская любовь.

Нельзя не отметить, что сложившаяся у московского купца иерархия сексуальных девиаций в целом соответствовала шкале “плотских грехов”, выработанной православной церковью. Духовенство рассматривало проявления мужской гомосексуальности, за исключением “содомии”, как менее тяжкие грехи, чем несанкционированные церковью гетеросексуальные контакты. Однако в картине мира московского купца его интимные отношения с мужчинами все же занимали место среди смертных грехов: “Конечно, приятно, сладко, страстно ощущение, но все минутно. Каково после расплачиваться будешь; за все это в жизни по делам и здоровью, и после смерти по аду и суду... Грешно противу Бога; стыдно противу людей; совес[т]но противу себя”.

47

Таким образом, осознание глубокой греховности не смогло удержать искренне верующего человека от аморальной, в том числе и с его собственной точки зрения, сексуальной практики. Какой выход видел П.В. Медведев из этой сложнейшей коллизии? Этот выход виделся ему именно в парадигме религиозного мировосприятия, свое индивидуальное спасение он связывал с искупительной жертвой Христа. Но для спасения было необходимо посредничество церкви. А чувство стыда мешало ему рассказать правду о своих грехах на исповеди. Отсюда проистекало глубокое недовольство собой и страх перед будущим как земным, так и трансцендентным. Ощущение безысходности усиливалось у него во время эпидемий холеры. Поэтому он молит Бога: “...накажи меня другою скорбью, болезнию, от которой бы в добром исповедании перешел от жизни сия; но не наказывай сиею бессознательною болезнию”.

48

Первую половину XIX в. в России справедливо рассматривают как время глубокого системного кризиса. Однако этот кризис затронул не только производительные силы и производственные отношения. Он проявился и в ценностных ориентациях всех сословий Российской империи, а также обнаружил себя и в изменении соотношения публичного и частного в жизни горожан. Ценность частной жизни, концентрировавшейся прежде всего вокруг семьи, заметно возросла. После смерти Николая I происходит высвобождение социальной активности, которая реализуется не только в общественной деятельности, но и в сфере частной жизни. И все же процесс либерализации не привел к укреплению семьи. Освобождение личности и реабилитация сексуальности происходили во многом именно за счет семьи. Эти тенденции еще не обрели в 50–60-е годы XIX в. массового характера, но тем не менее затронули довольно широкие слои населения столицы. Именно об этом свидетельствует исследованный дневник.

Примечания

- 1 Литвак Б.Г. Коллоквиум североамериканских историков-русинов // Отечественная история. 1995. № 4. С. 221.
- 2 Лебина Н.Б., Шкаровский М.В. Проституция в Петербурге (40-е годы XIX в. — 40-е годы XX в.). М., 1994. С. 6, 7.
- 3 Карлинский С. “Ввезен из-за границы...”? Гомосексуализм в русской культуре и литературе // Литературное обозрение. 1991. № 11. С. 104–107. См. также: Levin E. Sex and Society in the World of Orthodox Slavs (900–1700). Ithaca; London, 1989; Sexuality and Body in Russian Culture. Stanford, 1993.
- 4 Преображенский А.А. “Памятная книга” московского купца середины XIX века // Российское купечество от средних веков к новому времени. М., 1993. С. 140–143.
- 5 Центральный исторический архив г. Москвы. Ф. 2330. Оп. 1. Д. 986. Л. 24 (Далее: ЦИАМ; при цитировании дневников П.В. Медведева указываются только номера дел и листов).
- 6 Д. 984. Л. 25, 29 об.
- 7 Д. 986. Л. 1 об.
- 8 Там же. Л. 8.
- 9 Там же. Л. 2, 19 об.
- 10 Д. 984. Л. 28 об.; Д. 986. Л. 22.
- 11 Д. 984. Л. 13 об., 23.
- 12 Д. 986. Л. 39 об.
- 13 Там же. Л. 62 об.
- 14 Там же. Л. 5 об.
- 15 Д. 984. Л. 13 об.
- 16 Там же.
- 17 Д. 986. Л. 4 об., 70.
- 18 Там же. Л. 34 об.
- 19 Там же. Л. 36 об.—37.
- 20 Там же. Л. 5.
- 21 ЦИАМ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 5993.
- 22 Там же. Ф. 203. Оп. 290, 291, 292.
- 23 Д. 986. Л. 5 об.
- 24 Д. 984. Л. 18 об.
- 25 Д. 986. Л. 43.
- 26 Дымман Е. Наука жизни, или Как молодому человеку жить на свете. СПб., 1859. С. 306.
- 27 ЦИАМ. Д. 984. Л. 11, 12.
- 28 Там же. Л. 12.
- 29 Там же. Л. 39 об.
- 30 Там же.
- 31 Там же. Л. 32.
- 32 Дымман Е. Указ. соч. С. 301.
- 33 Д. 986. Л. 40.
- 34 Там же. Л. 16.
- 35 Там же. Л. 43.

- 36 Кузнецов М. Историко-статистический очерк проституции и развития сифилиса в Москве. СПб., 1871. С. 104, 118, 126–128.
- 37 Д. 986. Л. 31.
- 38 Там же. Л. 7.
- 39 Там же. Л. 50.
- 40 Там же. Л. 30–31.
- 41 Там же. Л. 31 об.
- 42 Там же. Л. 40 об.
- 43 Там же. Л. 46.
- 44 Там же.
- 45 Замоскворечье, или Вот как живет да поживает русское купечество нынешнего мудреного, промышленного XIX века. М., 1859. С. 26.
- 46 Д. 986. Л. 46.
- 47 Там же. Л. 43 об.
- 48 Д. 984. Л. 26 об.

А.И. Курриянов



Казус



давнюю традицию), входили, как известно, три церковных князя: архиепископы Майнцский, Кёльнский и Трирский и четыре светских государя: король Чешский, пфальцграф Рейнский, герцог Саксонский и маркграф Бранденбургский. Эти семеро имперских князей могли избрать государем представителя любого знатного рода, а в соответствии с теорией, развивавшейся “Саксонским зеркалом” (XIII в.), даже любого законнорожденного свободного человека, лишь бы он не был хромым, прокаженным или обоснованно отлученным папой от церкви. Но на практике к началу XV в. круг семейств, члены которых могли реально претендовать на германскую корону, сузился до трех – это были Габсбурги, Люксембурги и Виттельсбахи.

С 1349 по 1400 г. во главе империи стояли Люксембурги: сначала – умный и энергичный Карл IV, а с 1376 г. – его сын Вацлав, явно не унаследовавший политических способностей отца. Правление Вацлава пришлось на первые десятилетия “великой схизмы” в католической церкви, расколовшей Западную Европу вообще и Германию в частности на сторонников римского папы в Авиньоне и приверженцев другого римского папы в Риме. В это трудное время Вацлав не только не смог оказывать на развитие событий сколько-нибудь серьезного влияния, но снискал к тому же у многих современников сомнительную славу ленивого и никчемного правителя. Его действия (и еще более бездействие) вызвали такое раздражение у четырех рейнских курфюрстов (Майнц, Кёльн, Трир и Пфальц), что они объявили своего короля в 1400 г. низложенным. На место Вацлава рейнские курфюрсты избрали самого достойного из своей коллегии – пфальцграфа Рупрехта Виттельсбаха.

Столь решительный поступок князей-избирателей (вдохновлявшихся, возможно, примером английских баронов, в 1399 г. лишивших престола Ричарда II) с правовой точки зрения нельзя назвать безукоризненным. Ведь утверждение, что из права избирать государя само собой вытекает и право его низлагать, ежели избранник не оправдывает надежд, отнюдь не было бесспорным. В отличие от несчастного Ричарда II, подозрительно быстро окончившего свои дни в Тауэре, Вацлав продолжал еще почти два десятилетия (хоть и не очень удачно) править из Праги своим наследственным Чешским королевством, шедшим навстречу тяжелейшему кризису гусизма. Более того, Вацлав Люксембург по-прежнему считал себя Римским королем, соответственно титуловал себя и никак не желал отдавать Рупрехту германские королевские инсигнии. Коронационные уборы оберегались, как и раньше, в замке Карлштайн, построенном Карлом IV специально для хранения этих святынь.

Отсутствие у Рупрехта “подлинных” короны, державы, скипетра, имперского меча, священного копья, мантии и остальных реликвий не помешало ему короноваться, но, видимо, все-таки внушало современникам дополнительные сомнения

в “подлинности” королевского сана Виттельсбаха. По сути дела, только Юго-Запад Германии признал Рупрехта; в других областях страны преобладали сомневающиеся или же сторонники Вацлава. Ахен не открыл Рупрехту своих ворот, и ему пришлось принимать корону в Кёльне. Виттельсбаха стали называть довольно язвительно — “новым королем” (под “старым” подразумевался все тот же Вацлав). Почувствовать всю двусмысленность этого выражения можно, если вспомнить, что характеристики типа “новый”, “новшество” в средневековье давали явлениям и событиям скорее подозрительным, опасным и вредным, чреватым подрывом вековых надежных устоев. Церковная схизма и переворот 1400 г. совершенно запутали положение дел. Комета величиной чуть ли не с полную луну и с длинным хвостом, являвшаяся четырнадцать ночей подряд в небе над Германией, не сулила ей ничего хорошего. Пожалуй, лишь всеобщим хаосом и можно объяснить, почему тогда в стране все-таки не разгорелась серьезная война.

Одна рукопись той поры на свой лад неплохо передает чувства растерянности и неуверенности у подданных империи: “В то же время в Регенсбурге родился ребенок с двумя головами на одном туловище... Одной головой он мог шевелить, она была при рождении живой, двигать другой головой он не мог, она была мертва”. И чуть ниже без всякого перехода сочинитель сообщает, что королю Рупрехту, несмотря на все его усилия, так и не удалось ни уговорами, ни силой добиться от Вацлава выдачи коронных драгоценностей. “Так что курфюрстам приходилось иметь дело с двумя папами и двумя королями одновременно”, — завершает свой рассказ сочинитель. Кого из двух королей (как, впрочем, и кого из двух пап) символизировала живая, а кого — мертвая голова несчастного дитяти, наш автор не объясняет, поскольку, вероятно, и сам не смог в этом разобраться.

Несмотря на некоторую двусмысленность своего положения (или как раз вследствие этой двусмысленности), король Рупрехт в полную противоположность Вацлаву отличался деятельностью и рыцарственностью. Как утверждают хронисты, Виттельсбах был к тому же благочестив, богобоязнен, добродетелен, добр со всеми людьми, милосерден по отношению к беднякам, благодетелен к духовенству, не говоря уже о том, что он основал университет в Гейдельберге, предоставив ему почетные привилегии. Тем более показательной стала полная неудача его десятилетнего правления. Новый король (как и другие рейнские курфюрсты — участники переворота 1400 г.) вдохновлялся ставшим уже весьма архаичным образом идеального римского государя. Он отправился “укреплять права” империи в Северной Италии и короноваться императором в Риме, вооружившись рыцарской доблестью, но почти без денег. Когда приходят банкиры, уходят герои — и результат экспедиции Рупрехта это подтвердил. Над Рупрехтом, возвращавшимся из Падуи без импе-

15 раторской короны и почти без войска, но зато со многими долговыми обязательствами, открыто смеялись даже простолюдны. В результате энергичная доблесть Виттельсбаха нанесла престижу империи едва ли не больший ущерб, нежели многолетняя вялая бездеятельность Люксембурга.

В качестве светского главы или по крайней мере верховного покровителя всего христианского мира Римский король Рупрехт должен был прекратить наконец “великую схизму”, терзавшую католический мир с 1378 г. Однако Рупрехт отказал в признании церковному собору, собравшемуся для преодоления раскола в 1409 г. в Пизе, поскольку святые отцы, вероятно, склонны были принять решения, более всего устраивавшие короля Франции. В результате Пизанский собор признал “правильным” Римским королем не Рупрехта, но Вацлава. Что же до церковной схизмы, то съехавшиеся в Пизу иерархи провозгласили обоих смущавших христиан пап — и авиньонского (Бенедикта XIII), и римского (Григория XII) — низложенными. С великим поспешанием измученной церкви был представлен новый — теперь уже настоящий — папа Александр V. Однако объявленные в Пизе низложенными папы отказались повиноваться, и в результате католический мир в ужасе увидел вместо двух пап трех, каждый из которых на всю Европу клял остальных самозванцами и схизматиками, раздирающими нешвенный хитон Господа Иисуса Христа. Согласно массовым представлениям, вина за все эти чудовищные нестроения в христианском мире лежала не в последнюю очередь на Римском короле — массовому сознанию, естественно, не было дела до того, сколь скромными возможностями воздействовать на ситуацию в действительности обладал Рупрехт Виттельсбах.

Смерть 58-летнего “нового короля” 18 мая 1410 г. избавила его, похоже, от еще более тяжких поражений. Она не могла не навести современников на печальные размышления — при блистательном, доблестном и высоконравственном Рупрехте, вроде бы со всей ответственностью и старанием пытавшемся усилить империю, она пришла в состояние худшее, чем при морально ущербном и предпочитавшем охоту и обильные возлияния любимым политическим занятиям Вацлаве. Не прошло и десяти лет после скандального низложения 1400 г., как князьям снова надо было решать трудную задачу избрания нового государя. Вокруг предстоявших выборов быстро затянулся тугий узел противоречий.

Одним из семерки курфюрстов был чешский король, т. е. сам Вацлав, который, естественно, меньше всего был склонен принимать участие в выборах, продолжая считать себя законным государем “римлян”.

Герцог Саксонский Рудольф III не имел отношения к перевороту 1400 г. и явно не испытывал восторга от претензий рейнских курфюрстов решать самим судьбу трона. Это настраивало его в пользу Вацлава.

Сын и наследник покойного Рупрехта молодой пфальцграф Людвиг III правильно оценил ситуацию и решил не вступать в безнадежную борьбу за корону, а сосредоточиться на делах собственного княжества — Пфальца. Опыт Рупрехта хорошо показал, что ресурсов Пфальца, вообще-то немалых, для ведения активной имперской политики в наступивших трудных обстоятельствах явно не хватает. К тому же у Людвигу было мало союзников, поскольку его отец большинство своих растерял, а для привлечения новых Людвигу не доставало собственных заслуг и успехов. В результате сложившегося к 1410 г. положения Виттельсбахи на столетия оказались исключены из круга реальных претендентов на имперскую корону, и только в разгар войны за австрийское наследство из этого семейства был выбран император Карл VII (1742—1745). 16

После некоторых колебаний Людвиг решил отдать свой голос младшему брату свергнутого его отцом Вацлава — Сигизмунду Люксембургу, ставшему еще в 1387 г. королем Венгрии. Сигизмунд, разумеется, должен был согласиться с низложением своего брата в 1400 г. и признать законными действия Рупрехта, прежде всего передачу им ряда ценных имперских владений родному и любимому пфальцскому княжеству. 17

Из числа рейнских курфюрстов естественным союзником юного пфальцграфа Людвиг Виттельсбаха был только престарелый архиепископ Вернер Трирский. Оба князя были сторонниками одного и того же — “римского” — папы римского, на этой основе они договорились в конце концов и о поддержке единого претендента в Римские короли — Сигизмунда.

Властный архиепископ Иоганн II Майнцкий из дома графов Нассау — один из самых влиятельных и решительных правителей своего времени, главный вдохновитель низложения Вацлава, а позже непримиримый противник поставленного им же самим Рупрехта — был ведущей фигурой в другой паре рейнских курфюрстов. Лишь изредка затухавшее соперничество между князьями Майнца и Пфальца часто ставило их во главе враждебных друг другу политических группировок. Если Людвиг Пфальцкий был на стороне папы Григория XII, то архиепископ Майнцкий поддерживал “папу собора”, или, так сказать, “пизанского папу” Иоанна XXIII, сменившего Александра V. Решительным сторонником Иоанна XXIII был и архиепископ Кёльнский Фридрих III. Оба архиепископа в принципе не имели ничего против кандидатуры Сигизмунда и даже тайно предлагали ему корону. Венгерский король, не располагавший сколько-нибудь существенными владениями в Германии, похоже, представлялся князьям весьма удобным государем. Однако стоило Люксембургу завязать тесные отношения с князьями Пфальца и Трира, как он тотчас стал неприемлемым для противоположной рейнской группировки. Поэтому Иоганн Майнцкий и Фридрих Кёльнский решили в конце концов связать 18

свои планы с другим князем из рода Люксембургов — маркграфом Моравским Йоштом — кузеном Вацлава и Сигизмунда Правда, сам Йошт на первых порах не желал противопоставлять себя Вацлаву.

Ситуация с седьмым курфюрстом — маркграфом Бранденбургским — сложилась необычная: не было ясности в том, кто именно является “настоящим” маркграфом и вправе подать этот седьмой голос. Претенденты, по занятному совпадению были те же, что и на германскую корону. Маркграфом Бранденбургским с 1378 г. был Сигизмунд Люксембург. Однако в 1395 г. он заложил значительные части курфюршества Йошту, и тот считал, что к нему перешли и все права курфюрста, в том числе главное из них — право избирать государя.

Итак, накануне выборов коллегия курфюрстов разделилась на три части. Первая поддерживала Вацлава, вторая — Сигизмунда, третья — Йошта. Бросается в глаза, что все претенденты представляли одну и ту же династию Люксембургов — и это тоже косвенное следствие неудач Рупрехта. Теперь даже те курфюрсты, которые десять лет назад свергали Вацлава, не видели кандидатов в короли вне круга его ближайших родственников. Экспериментов со сменой династии в Германии больше не случится. До 1437 г. империей будут править Люксембурги, а после вымирания этой династии корону передадут Габсбургам как родственникам и наследникам Люксембургов, и из этой семьи она уже более не уйдет, если не считать упоминавшегося краткого эпизода середины XVIII в.

* * *

Летом 1410 г. архиепископ Майнцский в соответствии со своим правом “декана” коллегии избирателей направил курфюрстам приглашения прибыть во Франкфурт-на-Майне для избрания нового государя. В назначенный срок — 1 сентября — к городской пристани на Майне одна за другой причалили ладьи трех архиепископов, пфальцграфа и сопровождавших их людей. Предусмотрительный Карл IV в Золотой булле 1356 г. определил, что во время выборов нового короля бюргеры Франкфурта по страху имперской опалы и отмены всех свобод и привилегий не могут впускать в свой город с каждым курфюрстом более 200 человек, причем только 50 из них позволялось явиться при полном вооружении. Поскольку франкфуртские власти и сами были очень заинтересованы в соблюдении этой нормы, никакие уговоры со стороны отдельных курфюрстов не могли смягчить позиции магистрата. На все запросы князей-избирателей они отвечали отсылкой к тексту Золотой буллы.

Кстати, именно с выборов 1410 г. Золотая булла Карла IV приобретает подлинный авторитет. Избрание Вацлава в 1376 г.

и Рупрехта в 1400 г. происходило при полном единодушии собравшихся князей, а потому процедура вполне могла определяться приблизительным устным обычаем — в обращении к тексту буллы тогда, вероятно, не было нужды. Когда же в 1410 г. внутренние конфликты среди избирателей заставили их взвешивать “свои” и “чужие” действия на более точных правовых весах, расплывчатых норм устного обычая оказалось недостаточно. Тогда-то ссылки на положения Золотой буллы как на высочайший авторитет становятся постоянными, и только с этих пор булла начинает действительно воздействовать на правовую практику Германии и во многом преобразовывать ее. Как это нередко бывало, именно ситуация конфликта приводит и в данном случае к победе “позитивного законодательства” над устной традицией. 20

Немедленно после вступления курфюрстов во Франкфурт между ними начались переговоры. По 13 советников от каждого из князей заседали вместе в городской ратуше “с утра до обеда и с обеда до поздней ночи”, никого к себе не пуская. Любопытствующие горожане могли увидеть и самих курфюрстов, как они то подъезжали верхом к ратуше, то отъезжали от нее. В высокой интенсивности переговоров был свой правовой смысл: Золотая булла предполагала, что избрание короля должно начаться на следующее же утро после сбора курфюрстов во Франкфурте. Участники явно старались достичь соглашения до официальных выборов и тем предрешить их результат. 21 22

В этом стремлении хорошо проявляется одна характерная черта средневековья — публичных импровизаций тогда не любили, высоко ценя зато публичные “псевдоимпровизации”. Действие на первый взгляд спонтанное и случайное (именно так оно и рисуется обычно хронистами) оказывается при ближайшем рассмотрении очень хорошо подготовленным и разграниченным как по нотам. Опасный знатный мятежник неузнанным появляется во время торжества и из толпы зрителей внезапно кидается в ноги к своему королю, нарушая ход праздничной процессии. Государь тронут раскаянием давнего смертельного врага, собственноручно поднимает его из пыли, при всех одаряет “поцелуем мира” и прощает. Оба обливаются слезами... Император с малой свитой подъезжает к стенам неприступного замка, где находится римский папа, и в жалком облике кающегося грешника смиренно стоит перед запертыми воротами, умоляя допустить его пред очи рассерженного им духовного отца. Лишь через три дня смягчается наконец суровое сердце преемника св. Петра, и он принимает тяжко согрешившего государя, отечески прощая его и снимая свое отлучение... Сила красноречия знаменитого аббата — проповедника крестового похода — столь велика, что, хотя и император, и его приближенные вряд ли понимают язык, на котором говорит этот человек с амвона

огромного собора, их убеждает само волшебное звучание его страстных речений. В едином порыве они отбрасывают былые сомнения и с воодушевлением клянутся безотлагательно отправиться освобождать Гроб Господень...

Конечно, историку трудно пройти мимо столь выигрышных эпизодов, не попытавшись с их помощью “проникнуть во внутренний мир людей прошлого”. Эти и подобные им сцены не раз предъявлялись читателю в качестве доказательств расшатанности нервов (или — научнее — “повышенной эмоциональности”, “чрезвычайной импульсивности”) “средневекового человека”, вызванной якобы особой тяжестью окружавших его обстоятельств. Возможно, что всплески эмоций действительно сотрясали средневековых европейцев чаще и сильнее, чем нынешних, но как раз из описанных ситуаций это меньше всего следует. В каждом из трех кратко пересказанных случаев (как и во множестве иных подобных) чьи-то внезапные душевные порывы не играли никакой роли в создании столь впечатляющих драматических эффектов. Скорее всего, никаких особых порывов вообще не было — их заменял холодный расчет. Все детали предстоящей “неожиданной” сцены обговаривались и согласовывались в ходе обстоятельных предварительных переговоров между ее участниками. “Инсценированные импровизации”, столь хорошо запоминавшиеся современниками, являлись преимущественно бесписьменном обществе *формой опубликования* уже загодя принятых решений, достигнутых компромиссов. Поэтому говорить в связи с пересказанными эпизодами 23 стоило бы не столько о беспокойном душевном мире людей средневековья, сколько об особенностях их политической культуры.

Процедура избрания короля представляла собой для германских князей, оказывается, тоже такую импровизацию, которую неплохо было бы хорошо подготовить. Когда Карл IV со своими советниками детально описывал в Золотой булле ход выборов Римского короля, он, разумеется, хотел придать правильную форму вполне “реальному” процессу “голосования”. Однако столь подробное нормирование само по себе весьма способствует ритуализации действия. Чтобы не нарушить благолепия происходящего (т. е. не поставить под сомнение его правовое значение), стоит заранее исключить всякие неожиданности и договориться обо всем за рамками формализованного действия. Получается, что *избрание* как таковое должно произойти раньше, чем начнется официальная *процедура* избрания. “Реальное дело” вытесняется из поля регламентированных действий, из пространства формирующегося ритуала. В результате оказывается, что подробный “сценарий” Карла IV (в противоречии с исходными намерениями автора) относится только к приданию правовой формы уже фактически состоявшемуся избранию и оглашению его результата. Карл IV предполагал на

ладить ход переговоров и выборов, а наладил ход церемонии опубликования их результатов.

24

1 сентября 1410 г. “подготовить” предстоящее на следующий день избрание, несмотря на все усилия, так и не удалось. И похоже правы те, кто упрекал в лицемерии архиепископа Майнцского, вроде бы все-таки повелевшего начинать приготовления к утренней мессе Святого Духа в церкви св. Варфоломея. (Эта месса обычно открывает церковные соборы, конклавы и прочие собрания, где участникам предстоит проявить особую мудрость – во время литургии возносится моление о том, чтобы Святой Дух просветил разум присутствующих.) Все понимали, что в торжественных выборах, при которых два голоса были бы отданы Сигизмунду, а два – Йошту, толку мало. Такие выборы могли привести только к расколу, т. е. именно к тому, чего любой ценой стремился не допустить Карл IV, разрабатывая Золотую буллу. Важнейший принцип, на котором, по замыслу Карла IV, должна была строиться деятельность избирательной коллегии, – это принятие окончательного решения большинством голосов. Но нет ничего более чуждого традиционному ленному праву, а значит сознанию как сеньора, так и вассала, чем подсчет голосов. Каждый член, к примеру, королевского совета самозначим и самодостаточно, он особый индивид и в личностном, и в политическом плане, а потому его мнение не может быть попросту приравнено к мнению любого другого участника того же заседания. Для принятия решения важно не количество высказавшихся за ту или иную идею, а “качество” высказывавшихся. В традиционной феодальной среде голоса не подсчитываются, а взвешиваются. Соответственно, до четких формулировок Золотой буллы выбор большинства из курфюрстов мало к чему обязывал меньшинство. Более того, меньшинство могло в итоге избрать своего короля и не усматривать никакой ущербности в его положении из-за того, что за него подано меньше голосов, чем за другого. Подобное в немецкой истории действительно случалось.

25

26

Столь привычные нам сейчас механизмы выявления позиции большинства и подчинения ему меньшинства вырабатывались в средние века преимущественно в сфере церковного права, в ходе заседаний синодов, монастырских конвентов, соборных капитулов. Именно из церковной практики эти механизмы начинают постепенно перениматься парламентами, городскими советами и прочими светскими коллегиальными органами. Карл IV также совершенно сознательно перенес несколько принципиальных положений канонического права в Золотую буллу, чтобы добиться послушания от тех курфюрстов, которые в ходе голосования останутся в меньшинстве. Однако “патовая” ситуация, сложившаяся на выборах 1410 г., не предусматривалась даже Карлом IV.

Хотя 2 сентября к избранию короля курфюрсты так и не приступили, зато случилось другое событие, самым серьезным об-

разом повлиявшее на все последующие. Перед закрытыми на время выборов воротами Франкфурта появился Фридрих VI Гогенцоллерн, бургграф Нюрнбергский, и потребовал пропустить его вместе с 200 человек свиты в город, потому что он — полномочный представитель курфюрста Бранденбургского Сигизмунда Люксембурга. Это известие, надо полагать, вызвало очередной всплеск споров среди курфюрстов — можно ли считать Сигизмунда курфюрстом Бранденбургским. Право было все-таки скорее на стороне Йошта. Принятое в конце концов решение на первый взгляд может показаться соломоновым, хотя на деле таковым вовсе не являлось, что доказали последующие события. Курфюрсты передали властям Франкфурта разрешение впустить бургграфа Фридриха в город, но только “в качестве посла или же члена посольства *венгерского короля*, а не *бранденбургского курфюрста*”.

72 Чтобы подчеркнуть “некурфюршеский” статус бургграфа городским стражникам было приказано не задавать Фридриху вопрос о численности его сопровождения, а просто пропустить всех, кого он сочтет нужным с собой взять. Тем самым князья избиратели весьма изяшно провели очередную ритуальную грань между курфюрстами и некурфюрстами. Из прагматического установления Карла IV, желавшего ограничить численность курфюршеских свит во избежание серьезных столкновений при выборах, в три приема создается новый ритуал. Во-первых, чисто “полицейская” мера переосмысливается как придающая особый статус. Во-вторых, она превращается в привилегию и отличительный знак, присущий лишь определенной группе лиц. И, в-третьих, вводится элемент публичного действия — им становится вопрос о численности свиты, который может быть задан, а может и не задаваться, что и служит обозначением и вместе с тем оглашением “качества” и прав вступающего в город князя.

Здесь нам удастся наблюдать один из характерных для средневековья способов рождения ритуала — ритуализации может подвергнуться при подходящих обстоятельствах любое действие, которое содержит в себе элемент статусных различий. Если бы не спрошенный о количестве сопровождавших лиц Фридрих поддался понятному искушению и провел с собой через городские ворота больше народа, чем уже прибывшие князья, он тем самым попал бы в ловушку, сам себя дезавуировав в качестве представителя курфюрста. Однако можно быть уверенным, что и без традиционного вопроса горожан бургграф не взял в Франкфурт ни на одного человека больше положенных курфюрсту двух сотен людей, и лишь на 50 из них блистали латы.

Появление в городе бургграфа даже при его неясных правах привело к усилению “партии Сигизмунда”. Фридрих Гогенцоллерн готов был идти напролом и преодолеть любое препятствие, чтобы добиться избрания своего сеньора и союзника. Похож

именно он стал самым активным из трех сторонников венгерского короля, собравшихся тогда во Франкфурте. (Память о тех осенних днях 1410 г., в которые Фридрих как бы играл роль курфюрста Бранденбургского, наверняка, была свежа у Сигизмунда, когда в 1411 г. он сделал бургграфа управляющим Бранденбургским курфюршеством, а спустя четыре года – полноправным курфюрстом. Тем самым деятельность Фридриха VI в 1410 г. оказалась предпосылкой для весьма существенного в германской истории события – перехода Бранденбурга под власть князей из рода франконских Гогенцоллернов.) 28

После въезда маркграфа Фридриха во франкфуртские ворота “партия Йошта”, надо полагать, быстро поняла тяжесть допущенной ошибки и теперь уже откровенно вела дело к переносу собрания на более поздний срок. Необходимость такого переноса официально мотивировалась тем, что два курфюрста – Рудольф, герцог Саксонский, и Йошт, маркграф Бранденбургский (в соответствии с представлениями архиепископов Майнцкого и Кёльнского), – не смогли прибыть сейчас во Франкфурт из-за опасностей, прозякающих империи на востоке. Там после столь неудачной для Немецкого (Тевтонского) ордена битвы при Грюнвальде Пруссия наводнили войска короля польского и “сарацины”. Если же отложить выборы, то оба курфюрста смогут в них принять участие.

На это последовали возражения Людвиг Пфальцкого и Вернера Трирского. Во-первых, чем меньше мы будем затягивать избрание государя, тем скорее сможет новый Римский король организовать Пруссии помощь со всех концов империи. Во-вторых, собственные письма Йошта и Рудольфа хорошо показывают, что они вообще не желают участвовать в выборах. Разве нет у них епископов, аббатов, священников или иных людей, которые непригодны для боев с врагами, но вполне могли бы представлять своих господ при выборах? Да к тому же они оба сами написали, что, по их мнению, в новом избрании нет никакой необходимости, потому что подлинный Римский король и так наличествует – это чешский государь Вацлав. 29

Естественно, архиепископы Майнцкий и Кёльнский остались к этим аргументам глухи. В те дни их люди, надо полагать, настойчиво вели тайные переговоры и с герцогом Рудольфом, и с маркграфом Йоштом и, может быть, даже с самим Вацлавом. Ход этих консультаций, вероятно, уже вселял надежду на успех, а раз так, то главным пока было как можно дольше тянуть время. Но именно этого не желали терпеть сторонники Сигизмунда. Они решили приступить к избранию короля 20 сентября независимо от согласия или несогласия остальных курфюрстов.

Несколько слов о причинах выбора именно дня 20 сентября. Анализ дат, по которым короновались в средние века германские государи, показал, что выбор праздников Богородичного цикла для коронаций, возможно, как-то связан с интересами Майнцкого архиепископства. Если допустить, что и в рассмат- 30

риваемом здесь случае сохраняется тот же принцип, то назначение архиепископом Иоганном сбора князей-избирателей на 1 сентября — день не слишком известного святого Эгидия — может прояснить кое-что из планов курфюрста. Дело в том, что на 8 сентября приходится большой праздник Рождества Богородицы, и избрание нового государя в этот день или же накануне пошло бы на пользу прославлению майнцской церкви. Получается, что Иоганн представлял себе заранее трудности предстоящих переговоров с коллегами-курфюрстами и потому собрал их “с запасом” в пять-шесть дней. За эту неполную неделю он, должно быть, надеялся перетянуть на свою сторону то ли архиепископа Вернера, то ли бургграфа Нюрнбергского, то ли обоих вместе.

Непреодолимое упрямство оппонентов, поломавшее заготовленное расписание, оказалось, очевидно, для майнцкого прелата неприятным сюрпризом. Может быть, совсем не случайно решающие переговоры между бургграфом, с одной стороны, и архиепископами Кёльнским и Майнцским — с другой, состоялись при соблюдении всех норм конспирации посреди ночи с 7 на 8 сентября. Они оказались неудачными, и первый слух о грядущем переносе выборов распространился именно 8 сентября. Если праздник Рождества Богородицы действительно был для архиепископа Иоганна крайним сроком, то подобное развитие событий представляется весьма логичным. После 8 сентября майнцкий прелат мог продолжать переговоры только с целью выиграть время. Конечно, ему следовало бы уехать вместе с кёльнским архиепископом (их пожитки уже начинали было демонстративно грузить на ладьи), но Золотая булла лишает голоса тех, кто покинет до выборов Франкфурт.

Майнцкий и кёльнский прелаты ждали к тому же, вероятно, хороших новостей с упоминавшихся уже тайных переговоров, а то и появления новых курфюршеских “делегаций”. Только поэтому они провели еще две недели в совершенно бесплодных переговорах со своими оппонентами — Фридрихом, Людвигом и Вернером. Те же все время настаивали на необходимости как можно скорее приступить к процедуре избрания, и тогда, дескать, Святой Дух сам откроет, возможно, правильные и достойные пути решения проблемы. Но Иоганн Майнцкий и Фридрих Кёльнский при сложившихся обстоятельствах не возлагали, очевидно, больших надежд на Святого Духа и отказывались наотрез.

День 20 сентября является вигилией (кануном) праздника посвященного апостолу Матфею. Анализ дат коронаций в Германии показывает, что предпочтение для них дней святых апостолов связано с влиянием не майнцской церкви, а кёльнской. Однако апостольская традиция играет и для Трира ничуть не меньшую роль, чем для Кёльна. Трирское епископство, согласно легенде, основано учениками апостола Петра, “князю апостолов” посвящен кафедральный собор, а кроме того, в Трире находится единственная в Европе к северу от Альп и Пиренеев

гробница апостола. Там похоронен апостол Матфий. И хотя это не евангелист, а один из 70 учеников, якобы заступивший место Иуды Искаротиота, созвучие в именах не могло не приводить к путанице в отношении того, кто же именно — Матфей или Матфий — погребен на берегу Мозеля и чью память отмечают 21 сентября. Итак, если Рождество Богородицы в интересующем нас контексте — это день скорее “майнецкий”, то день апостола Матфея — “трирский”. Он также вполне мог устроить и архиепископа Кёльнского. Не крылась ли в выборе этого дня надежда на то, что кёльнского прелата в последний момент удастся все-таки оторвать от его майнецкого коллеги?

19 сентября архиепископ Вернер и пфальцграф Людвиг отправили своих представителей (“наверное, человек четырнадцать”) к архиепископу Кёльнскому, чтоб сказать ему: “Поскольку мы здесь уже долго находимся, но до сих пор еще не приступили к избранию, то завтра, в субботу, утром, в седьмом часу, мы велим начать служить мессу Святого Духа в храме св. Варфоломея, после чего дело пойдет своим чередом”. Кёльнский архиепископ ответил в том смысле, что эта затея ему не нравится и что трирскому архиепископу с пфальцграфом не следует требовать служить мессу в церкви св. Варфоломея без согласия архиепископа Майнецкого, в чьей церковной провинции этот храм, собственно, находится. В ответ тотчас был выдвинут аргумент, что во Франкфурте “гости и прочие лица” уже много лет заказывают мессы в храме св. Варфоломея, не спрашивая на то всякий раз согласия архиепископа Майнецкого. Аргумент, конечно же, небесспорный, но интересный самим стремлением преодолеть нормы даже канонического права с помощью по-своему толкуемого локального городского обычая.

После некоторых дискуссий такого рода “четырнадцать представителей” трирского архиепископа оставили архиепископа Кёльнского и отправились к Иоганну Майнецкому с теми же речами. Тот в свою очередь ясно дал понять, что замысел коллег-курфюрстов из Трира и Пфальца ему очень не нравится.

Тогда оба курфюрста, настроенные в пользу Сигизмунда, повелели сказать декану храма св. Варфоломея, чтобы он на следующий день с утра устроил мессу Св. Духа. Декан оказался в очень деликатном положении — ему предстояло лавировать между двумя могущественными партиями князей и при этом по возможности не повредить ни себе, ни своему храму. Получив заказ на мессу, он, как и требовала субординация, прежде всего поспешил сообщить об этом советникам своего церковного начальника — архиепископа Майнецкого. Однако уже не субординация, а личная обходительность побудила декана после этой беседы направиться напрямую и незамедлительно к советникам князей Трира и Пфальца. Их он почтительно уведомил, что получил строгий приказ назавтра устроить все-таки ту мессу, какая положена по календарю, и никакую иную. На том день и завершился.

На рассвете в субботу, в канун дня евангелиста Матфея, люди архиепископа Вернера и пфальцграфа Людвига направились в храм св. Варфоломея, чтобы уже на месте настоять на желаемой ими мессе.

Но там их ожидал сюрприз — все двери церкви оказались наглухо закрыты. Когда удивленные придворные стали выяснять, что бы это могло означать, им сообщили о запрете архиепископа Майнцского проводить в храме богослужение “из-за некоторых неустройств, имевших здесь место”. Последовал вопрос: почему же из-за каких-то неустройств заперли все двери на замки? Ответа на него сначала не поступало, но постепенно стало выясняться, что властью архиепископа Майнцского на весь город наложен “строжайший церковный интердикт”. Тут уж удивлению не было границ. Что столь ужасное могло произойти прошедшей ночью, из-за чего Франкфурт внезапно заслужил интердикт — наказание тяжкое, для применения которого церковное право требовало весьма серьезных поводов?

Пока перед храмом св. Варфоломея продолжались эти недоумения и пререкания, на церковный двор прибыли и сами князья — сторонники Сигизмунда. Они, естественно, пожелали войти в храм и, очевидно, не веря на слово своим советникам, лично толкнулись в каждую из дверей, но ни одна из них не поддавалась. Кто-то из курфюрстов (возможно молодой и оттого горячий Людовиг), выйдя из себя, уже приказывал силой пробить ему вход, но тут уж, похоже, решительно воспротивилось местное духовенство. Беспомощно бродя по церковному двору, курфюрсты снова послали к коллегам из Кёльна и Майнца с “дружеской и братской просьбой” явиться и совершить то дело, ради которого они все здесь собрались. Те ответили, как и встарь, что пока еще не готовы к выборам, которые стоит провести в более подходящее время несколько попозже. Люди сторонников Сигизмунда рвались в дома декана, настоятеля храма, каноников, чтобы всех их привести и, вероятно, добиться-таки от них ключей. Все попусту. Между тем время шло, был уже девятый час.

Неожиданный (и, разумеется, ничем не обоснованный) интердикт был ходом блистательным. Не прибегая к какому бы то ни было насилию, более того, не предпринимая формально ничем направленного против сторонников венгерского короля, Иоганн Майнцский изыскал, но решительно заблокировал избрание.

В ритуале коронации фактор пространственной привязки действия всегда играл очень важную роль. Известно несколько случаев, когда коронация, проведенная в силу каких-либо причин не в Ахене, “не засчитывалась” — рано или поздно ее нужно было повторить в “правильном месте”. Й. Петерзон доказывает даже, что фактор “соблюдения места” при коронации имел несравненно большее значение, чем подлинность используемых коронационных инсигний. В отношении выборов, всегда предшествовавших коронации, подобная традиция, кажется, сначала отсутствовал

но постепенно начала все-таки складываться. Косвенно это подтверждает эпизод 1314 г. Тогда каждая из двух групп соперничавших между собой курфюрстов равно стремилась во Франкфурт, чтобы там осуществить избрание своего кандидата. Когда же сторонники Фридриха Габсбурга заняли правый берег Майна, на котором и лежит основная часть города, приверженцы Людвига Баварского разбили в то же самое время свой лагерь на левом берегу реки – в Заксенхаузене. В один и тот же день почти в одном и том же месте, но на разных берегах Майна, были избраны два разных государя. Избрание Людвига “в топографическом отношении” было, конечно, менее убедительно, но сам этот государь впоследствии всячески подчеркивал, что избирали его в “правильном” месте, а именно в городе Франкфурте, с давних времен для этого предназначенном. На взгляд его противников, традиция, разумеется, должна была указывать не только на “правильный” город, но и на “правильную” точку в нем. Вряд ли такое место до середины XIV в. было действительно строго определено. Во всяком случае, и король Генрих VII в 1308 г., и, кажется, “антикороля” Гюнтера Шварцбургского в 1349 г. избирали в монастыре доминиканцев, не говоря уже о том, что избрание самого Карла IV состоялось в 1346 г. вообще не во Франкфурте, а в Ренсе. Однако Карл IV, счастливый соперник Людвига Баварского, в своей Золотой булле указал вполне недвусмысленно на главный храм Франкфурта – приходскую церковь св. Варфоломея на правом берегу Майна – как на место, в котором должны проходить выборы нового короля.

В 1410 г. майнцский архиепископ предпочел подстраховаться и действовать наверняка, не только закрыв один лишь храм св. Варфоломея, но наложив интердикт на весь город. Теперь если бы “партия Сигизмунда” решилась даже вопреки Золотой булле назначить избрание не в предназначенном для этого храме, ей все равно пришлось бы в поисках открытой церкви покинуть Франкфурт, что сразу же обесценило бы любое принятое решение.

Все это, очевидно, было вполне осознано бургграфом, пфальцграфом и архиепископом Трирским. Но они не пошли на попятный, а изобрели-таки ответный ход – не менее дерзкий и решительный. Проведя еще около часа посреди церковного двора, трое князей уселись прямо на воздухе под каменным распятием, украшавшим внешнюю стену храма апостола Варфоломея с северной стороны, сразу за главным алтарем. Тут они некоторое время сошлись. Была зачитана грамота Сигизмунда с подтверждением полномочий бургграфа как представителя бранденбургского маркграфа, и Фридрих Нюрнбергский без споров (хотя, похоже, и вопреки действующим правовым нормам) был допущен к голосованию от имени своего сеньора. Затем престарелый трирский преват взял на себя функцию председателя коллегии выборщиков, вообще-то принадлежавшую архиепископу Майнцскому. Участники заседания под открытым небом заявили друг другу, что они желали бы провести свое собрание внутри храма, но поскольку

это невозможно, им придется выполнить свой долг перед империей и в сложившихся условиях. Тотчас же прямо в церковном дворе затянули “*Veni creator spiritus*” с коллектой “*deus qui corda fidelium*”. Этот гимн призван был, очевидно, заменить мессу, которую без алтаря нельзя было провести. Подобная замена Золотой буллой, естественно, не предусматривалась. Было раскрыто на первой странице Евангелие от Иоанна, оба светских князя коснулись его рукой, а архиепископ Трирский, стоя над ним, положил руку на сердце. Архиепископ Вернер вымолвил: “Если бы здесь присутствовал наш господин архиепископ Майнцкий, то это ему полагалось бы зачитать нам всем клятву, которую мы бы за ним вслух повторили, после чего он бы опросил нас. Но поскольку он отсутствует, это придется сделать мне”. И затем каждый произнес по-немецки текст клятвы, приведенный (разумеется на латыни) в Золотой булле. “И произошло это открыто, так что могли слышать и видеть их советники, слуги и много прочих людей”.

Теперь князья, давным-давно согласовавшие свои позиции и уже несколько недель кряду единым фронтом отстаивавшие их против оппонентов, инсценируют обсуждение. “Затем три государя приказали людям отойти несколько назад, некоторое время совещались только между собой, а потом позвали принять участие некоторых из своих советников и слуг”. И только после этого архиепископ Вернер, вновь оговорив, что вообще-то первый голос принадлежит отсутствующему архиепископу Майнцскому, громко объявил, что он выбирает Сигизмунда. Выдержав небольшие паузы, то же самое повторили пфальцграф и бургграф. К процедуре относился также вопрос к бургграфу, согласится ли пославший его Сигизмунд принять это избрание. Бургграф тотчас же достал грамоту с печатью и подписью Сигизмунда, в которой венгерский король милостиво соглашался стать и королем Римским.

На этом избрание как таковое закончилось, теперь предстояла борьба за признание его результатов. Начинать ее надо было немедленно — со зрителей, толпившихся на церковном дворе. Похоже, происходящее породило даже среди них немало недоумений. Почему избрание происходит под открытым небом? Где остальные два курфюрста? И, конечно же, насколько правомочны такие выборы? Если бы сцена избрания вызвала у зрителей всеобщее признание и ликование, курфюрстам вряд ли пришлось бы в голову заставлять своих советников тут же объяснять “народу” смысл всего произошедшего и якобы строгое его соответствие Золотой булле. Избрание Римского короля осуществляется большинством голосов присутствующих курфюрстов, и если кто из курфюрстов был приглашен на выборы, но от участия в них уклонился, как поступили архиепископы Кёльнский и Майнцкий, то голоса их сами собой пропадают — громко растолковывали всем советники. Думается также, что яркая сцена с публичным зачитанием подходящих отрывков из Золотой буллы “перед храмом св. Варфоломея в [старой] ратуше на оживленной улице

бесчисленным людям обоего пола” относилась не к вечеру предшествующего дня, как считал Х. Хаймпель, а к утру 20 сентября. 43
Оглашавшиеся разделы буллы должны были, очевидно, убедить всех в законности избрания Сигизмунда.

Разумеется, среди последствий странных выборов 20 сентября было не только заключение военного союза между князьями, отдавшими свой голоса Сигизмунду, но и начало ожесточенной полемики по поводу их действий. Именно благодаря своей скандальности этот казус в истории имперского избирательного права оказался относительно хорошо документирован — нам осталось несколько подробных, хотя и пристрастных его описаний, которые и позволяют столь полно реконструировать события. Оставляя в стороне ряд собственно юридических и политических проблем, отразившихся в выборах 20 сентября 1410 г. 44
и достаточно рассмотренных в литературе, обратим внимание на несколько пунктов, по которым уже современники вели ярые споры, но которые представлялись позднейшим историкам не дающими особых поводов для размышлений.

Во-первых, это, конечно, странная локализация выборов. В сочинениях, составленных сторонниками Сигизмунда, подробно рассказывается о зловредном интердикте и вынужденности заседания под открытым небом. К тому же подспудно читателю внушается мысль, что место было не так скверно — все-таки в церковном дворе, под распятием, у внешней стороны хора (т. е. алтарной части), как бы еще в сакральной зоне, “вокруг главного алтаря в месте, достаточно просторном для публичных действий”. 45
Противники Сигизмунда про интердикт не говорят ничего, так же, как и про каменное распятие и прочие удобства избранного тремя князьями места. По их версии, бургграф Фридрих, бесосновательно присвоивший себе голос курфюрста Бранденбургского, заодно с архиепископом Вернером и пфальцграфом Людвигом, вопреки возражениям остальных князей-избирателей, “стремительно и внезапно” безо всякого соблюдения должных и обычных процедур “позади церкви” провозгласили Сигизмунда избранным Римским королем, хотя случившееся и называть-то выборами невозможно. Как пренебрежительно звучит это “позади церкви”, 46
как сакральное мигом выворачивается в нечто совершенно противоположное, как сразу же читателю или слушателю становится ясно, что дело там творилось нечистое!

На этот циркуляр архиепископов Иоганна и Фридриха последовал, естественно, пространный ответ их противников, любопытный как сам по себе, так и подробными комментариями на полях доктора обоих прав Йоба Фенера, едва ли не главного ученого советника пфальцского курфюрста, сыгравшего весьма заметную роль в описываемых событиях. Йоб Фенер, вероятно, 47
ощущал слабость позиции своих патронов именно в вопросе о “месте, достаточно просторном для публичных действий”, и представил развернутое рассуждение с целью доказать, что ниче-

го особенного и не произошло. “Конечно, кажется, что, по Золотой булле, они должны были бы осуществить это внутри церкви... Соглашаюсь, что лучше и торжественней было бы совершить это там”. Однако, по мнению комментатора, из этого еще не следует, что курфюрсты вообще не могли проводить избрание. “Кто захочет утверждать, что в случае, если папский дворец будет заперт или по какой-либо иной причине недоступен, кардиналы не могут провести выборы в ином месте? Разумеется, никто”. Тут глоссатор, конечно же, лукавит, подразумевая полную “симметричность” положения папы и Римского короля в империи, а следовательно аналогичность процедур избрания их обоих. Повод для такого сближения действительно дают и широко распространенное представление о двух главах христианского мира — папе и императоре, и сам текст Золотой буллы, в котором даже не слишком опытный канонист легко обнаружит заимствования из декрета Григория X в выборах папы. В Золотую буллу перенесено даже знаменитое требование посадить избирателей на хлеб и воду, если они в течение 30 дней не смогли прийти ни к какому решению.

Эти нормы явно не опираются на традицию, а искусственно привнесены советниками Карла IV. Процедура избрания римского папы в средние века нам известна плохо, и тем не менее ясно, что никакой особенной смысловой значимости от помещения, в котором оно осуществлялось, не ожидали. Оно могло вообще не быть ни храмом, ни “папским дворцом”. Здание, в котором состоялся конклав во время Констанцского собора в 1415 г., сохранилось до сегодняшнего дня — это просторный склад для привозимых в город товаров (в котором их осматривали и облагали пошлинами городские власти, прежде чем допустить в продажу) на берегу Боденского озера. Принимая во внимание, что папы годами, а то и десятилетиями не вступали на землю города Рима, предполагать четкую фиксацию места их избрания было бы вообще странно. Скорее стоит исходить из максимы, которая постепенно находила все большее применение в практике курии: “где папа, там и Рим”.

Второй любопытный для нас момент в заочной дискуссии двух групп князей касается детали, казалось бы, второстепенной. Каждая из сторон допустила достаточно спорных в правовом отношении действий, чтобы их обсуждения хватило на несколько полемических трактатов. На их фоне вопрос о численности публики, наблюдавшей за “избранием” Сигизмунда, не очень впечатляет, тем более что и Золотая булла не выдвигает по этому поводу никаких требований. И все-таки за спорами по всем другим “более серьезным” аспектам выборов 20 сентября курфюрсты не забыли и этой мелочи. По мнению сторонников Сигизмунда, свидетелями выборов стали “высшая знать, благородные, горожане и собравшийся в большом числе народ”, “господа, рыцари, кнехты, члены городского совета и прочие люди из Франкфурта и других мест, которые присутствовали при этом в большом числе”, а то даже “все на свете, оказавшиеся

в то время во Франкфурте”. По оценке же противников Сигизмунда, напротив, “на это зрелище собралось мало народа”. 52 53

Похоже, что вопрос о размерах толпы у внешней стены хора оказывается также принципиальным. И здесь стоит коснуться характера публичности в средние века. Известно, что в западноевропейском средневековье публичность действия — одно из главных условий его правильности и соответствия норме. Напротив, действие, совершенное втайне или при малом числе свидетелей, скорее всего “беззаконно”. Стандартная формула в королевских грамотах о том, что их содержание предварительно было обсуждено с “князьями, баронами, рыцарями, благородными...” и прочими сословиями, перечень которых порой растягивается на несколько строк, не просто стилистическое украшение. В ней отражается исконное почтение к публичности законоговора. И глубина этого почтения становится нам еще понятнее, когда мы по другим источникам узнаем, что в момент составления данной грамоты при королевском дворе не было не только “всех”, но даже и малой части князей, баронов или рыцарей. Значит, чтобы повеление государя могло приобрести необходимую авторитетность, ему необходимо “добавить” публичности, если не в реальности, то хотя бы на уровне топики документа.

Столь трепетное отношение к публичности действия не противоречит тому, что круг лиц, реально “обеспечивавших” эту публичность, всегда был весьма узок. Он состоял из “значимых свидетелей” — в случае с поступками короля это могли быть дружинники, позже — главные князья, крупнейшие вассалы, собранное в поход войско... По мере усложнения средневекового общества, складывания новых групп носителей особых прав и собственных властных полномочий, круг потенциально значимых свидетелей чрезвычайно расширился. В ответ на это со временем в разных странах Европы вырабатываются те или иные формы представительства отдельных социальных групп. В империи начала XV в. инструменты такого рода представительства по сути дела не были еще известны. Поэтому крайне любопытно наблюдать, как происходит приспособление давнего принципа публичности важного политического действия к новым условиям, когда действительной публичности даже по отношению только к “значимым свидетелям” достичь нельзя уже по чисто техническим причинам.

Один вариант подобного приспособления — это придание действию так сказать “символической публичности”. Характерный пример ее можно рассмотреть при возведении уже избранного, но еще не коронованного Римского короля на “старый сводчатый полуразрушенный королевский престол, что стоит среди ореховых деревьев” прямо “в поле” на левом берегу Рейна у местечка Ренс. Там в присутствии нового государя должны были громко объявить на трех языках — латинском, “романском” и немецком, что он направляется в Ахен с целью принять там королевскую корону. “И делалось это для того, чтобы его соперники

или кто бы то ни было еще не могли сказать, что он скрытно от правился на коронацию”. Разумеется, публичность такого действия весьма условна — возможный соперник усевшегося на полуразвалившемся каменном троне государя вряд ли находился среди его свиты, а значит и не мог слышать обращенный к себе вызов. Пока же сообщение о подобном действии его достигло бы и он смог бы принять свои меры, коронация уже скорее всего состоялась — от Ренса до Ахена всего несколько дней пути без особой спешки. В этом действии публичность становится совершенно символической, но и, превратившись в фикцию, она, очевидно, сохраняла значимость для современников.

Действие, состоявшееся “позади алтаря” храма св. Варфоломея представляет иной, еще более частый в Германии XIV—XV вв. вариант понимания публичности. В нем любой самый случайный подбор свидетелей (лишь бы в нем были члены разных сословных групп) становится “репрезентативным заменителем” всех значимых свидетелей в империи. Численность публики в данном случае не играет принципиальной роли. На церковный двор во Франкфурте трое князей — сторонников Сигизмунда — привели, скорее всего, почти всех своих людей, т. е. человек 600. Более чем вероятно, что приготовления к странному действию должны были привлечь внимание франкфуртских горожан и прочего праздного люда — так что определить число свидетелей избрания Сигизмунда в тысячу человек мы вполне вправе. Но даже если бы на необычную сцену взирало все население Франкфурта — что значили бы эти 10, 20 или даже 30 тыс. человек в сравнении с миллионами подданных империи? Вопрос о “репрезентативности” только ставился, однако, современниками вовсе не в плане арифметического подсчета ее численности. Одно из двух: либо “позади церкви” собралось “мало народа” — и тогда действие неправомерно, либо же “в месте, достаточно просторном для публичных действий”, было людей “много и разных”, а потому все происшедшее на их глазах и ими не оспоренное — законно.

Как бы ни ухищрялись правоведы той или иной стороны в доказательстве правильности или неправильности избрания Сигизмунда, у подданных империи должны были сложиться свои представления о происшедшем. Издевательский стишок, с которого начиналась статья, может нам кое-что о них поведать. Похоже, что старания юристов — сторонников Сигизмунда — пропали зря. Дразнилка явно совпадает с мнением их оппонентов. Здесь и “позади хора”, и непризнание голоса бургграфа, а главное — совершенно уничижительная оценка двух курфюрстов. Действительно, только якобы неразумный в силу своей молодости “ребенок” Людвиг (которому тогда на самом деле было уже 32 года) и впавший в слабоумие по причине дряхлости “глупец” Вернер могли придумать *так* избирать короля.

Выборы 20 сентября 1410 г. могут быть отнесены к числу исторических казусов уже постольку, поскольку они — происше-

ствии весьма необычное, ведь ни до, ни после не выбирали германского короля столь странным, экзотическим способом. К тому же неординарность деяния “ребенка и глупца” вызвала у многих современников не только удивление, но и резкое неприятие, и в их глазах торжественное призвание на престол нового Римского государя превратилось в... “казус” сомнительного свойства. (Разве не чувствуется порой в русском употреблении слова “казус” легкий привкус скандала и конфуза?)

Рассмотренный эпизод хорошо показывает, из каких “составных частей” может слагаться по крайней мере один из бесчисленных вариантов исторического казуса. Для его рождения требуется, во-первых, комплекс вполне развившихся и начинающих “закаменевать” правил осуществления какого-либо важного в социальном отношении действия. Во-вторых, необходима историческая обстановка, никак не позволяющая полностью выполнить эти правила. В-третьих, должна присутствовать чья-то личная воля, замешанная на столь же личном интересе и направленная на то, чтобы данное действие все-таки было осуществлено. В результате сочетания этих трех обстоятельств почти наверняка получится что-то весьма причудливое, “противоестественно” соединяющее в себе и преклонение перед традиционной нормой, и грубое надругательство над ней во имя сиюминутной прагматической цели.

В латинской Европе вообще весьма нередким был такой способ обращения с обычаем, когда его выворачивали чуть ли не наизнанку в убеждении, что он по-прежнему соблюдается вполне должным образом. Психологическая (точнее, общекультурная) установка на допустимость такого рода тихого насилия над традицией весьма способствует нарастанию динамизма в обществе, а также — что в данном контексте особенно интересно — появлению многочисленных исторических казусов. Впрочем, для превращения просто странного эпизода в исторический казус необходим еще четвертый (при данной системе подсчета) фактор — общественное внимание, сохраняющее то или иное необычайное событие в поле культурной памяти. Так что скандальность сцены, разыгравшейся у стен храма св. Варфоломея во Франкфурте в 1410 г., стала последним необходимым слагаемым — и в сумме получился очередной вариант исторического казуса.

58

* * *

Закулисные переговоры архиепископов Майнцкого и Трирского с прочими курфюрстами все-таки увенчались успехом. Спустя всего десять дней после странной сцены у стен церкви св. Варфоломея — 1 октября — под сводами того же храма звучала месса Святого Духа. Курфюрсты избирали короля, теперь уже “по-настоящему” — чему совершенно не мешало отсутствие как “ребенка”, так и “глупца”. Рядом с архиепископами Кёльн-

ским и Майнцским сидели послы Йошта, маркграфа Бранденбургского и даже представители Вацлава, короля Чешского. Все они единодушно отдали свои голоса Йошту. На следующий день после выборов во Франкфурт прибыл наконец и опоздавший посланец герцога Саксонского. Его отвели в храм св. Варфоломея и также позволили отдать голос Йошту.

Вацлав принял участие в выборах, но сам при этом от короны не отказался. Тайное соглашение между ним и Йоштом предусматривало, что Вацлав будет коронован в Риме императором, а Йошт будет Римским королем “при нем”, как когда-то сам Вацлав был Римским королем при своем отце — императоре Карле IV. Мало кому было известно об этом довольно странном договоре, и путаница в головах подданных империи после избрания Йошта не только не прояснилась, но скорее, наоборот, усугубилась. Многие, как и прежде, продолжали считать единственным Римским королем только Вацлава. Так что в итоге в империи на короткое время оказалось три государя: Вацлав, Сигизмунд и Йошт. Тот же Андрей Регенбургский приводит еще один ироничный стишок, на этот раз, впрочем, очень ученый и явно не распевавшийся на площадях. В нем Сигизмунд, Йошт и Вацлав предстают в виде легендарных трех королей, поклоняющихся новорожденному Христу. “Тремя королями” в Германии повсеместно и вплоть до сегодняшнего дня принято называть тех трех волхвов (в Вульгате — *magi*), что по Евангелию от Матфея пришли поклониться младенцу Иисусу. Останки “трех королей” с XII в. находятся в Кельнском соборе и относятся к величайшим христианским святыням Германии. После коронации в Ахене новый германский государь обычно должен им поклониться. Так что когда сколько-нибудь образованный немец слышал что-либо о трех королях, у него немедленно должна была возникнуть ассоциация с “королями” евангельскими.

В Германии легендарным “королям” придумали не только имена — Мельхиор, Каспар и Балтазар, но, судя, в частности, по нашему стишку, и царства. Один правил арабами, второй — Савским царством, а третий — городом Фарсисом. Вот наш ученый стихотворец и рассматривает с иронией, как “три короля поклоняются Иисусу, и все они Римские, нет среди них ни араба, ни савского, ни фарсисского”:

Adorant Christum tres reges iam Romanorum
Non sunt Tharsenses nec Arabes nec Sabinenses.

59

Итак, 1 октября 1410 г. в результате повторных выборов христианский мир пришел в состояние удручающе полной симметрии — во главе его стояли три римских папы и три короля Римских. Странно, что в тот год ни в Регенсбурге, ни в другом городе империи не было замечено рождения младенца с тремя головами. Впрочем, стремительное приближение конца времен было очевидно и без всяких дополнительных знамений.

Примечания

¹ Статья подготовлена при поддержке Международного научного фонда.

² *Andreas von Regensburg. Sämtliche Werke* / Hg. G. Leidinger. München, 1903 (Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte. N.F. Bd. 1). S. 145.

³ *Lintzel Th.* Die Entstehung des Kurfürstenkollegs (Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften in Leipzig. Phil.-hist. Klasse. 99.2). Berlin, 1952; *Schubert E.* Die Stellung der Kurfürsten in der spätmittelalterlichen Reichsverfassung // *Jahrbuch für westdeutsche Landesgeschichte*. 1975. Bd. 1. S. 97–141; *Idem.* Der Mainzer Kurfürst als Erzkanzler im Spätmittelalter // *Der Mainzer Kurfürst als Reichskanzler* / Hg. P.C. Hartmann. Stuttgart, 1997. S. 77. А. Вольф развивает на протяжении последних лет гипотезу о родственных связях (общности происхождения) курфюрстов. Выделение коллегии семи избирателей из более широкого круга князей, имевших право голоса, он связывает с избранием Рудольфа I Габсбурга в 1273 г.: *Wolf A.* Warum konnte Rudolf von Habsburg (†1291) König werden? // *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte*. Bd. 109. Germanistische Abteilung. 1992. S. 48–94, особенно S. 89–94.

⁴ Издание см.: *Monumenta Germaniae Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*. T. XI. Fasc. VII. Weimar, 1988. (Далее: GB.) Основная литература указана в статье: *Бойцов М.А.* Золотая булла 1356 г. и королевская власть в Германии во второй половине XIV в. // *Средние века*. 1989. Вып. 52. С. 25–46.

⁵ *Moraw P.* Politische Sprache und Verfassungsdenken bei ausgewählten Geschichtsschreibern des deutschen 14. Jahrhunderts // *Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im Spätmittelalter* / Hg. H. Patze. Sigmaringen, 1986 (Vorträge und Forschungen 31). S. 695–726.

⁶ Эта легенда распространилась повсеместно благодаря исключительно популярной хронике Мартина Польского (Мартина из Троппау, Мартина из Опавы). Сам Мартин, собственно говоря, выразился вполне корректно. Констатируя, что после смерти Оттона III коро-

лей стали избирать, он перечислил в следующей фразе тех князей, которые в его время имели право участвовать в этом избрании (т. е. курфюрстов) (см.: *Monumenta Germaniae Historica. Scriptores*, Bd. 22. Stuttgart, 1872. S. 466). Однако хронисты, использовавшие сочинение Мартина, не обратили внимание на временные формы глаголов в этих его двух фразах и накрепко связали появление курфюрстов с выборами Генриха II.

⁷ Саксонское зеркало. М., 1985. С. 102 (Земское право III, 54, 3).

⁸ Подробно см.: *Gerlich A.* Habsburg-Luxemburg-Wittelsbach im Kampf um die deutsche Königskrone. Wiesbaden, 1960.

⁹ *Sächsische Weltchronik* // *Monumenta Germaniae Historica. Deutsche Chroniken*. Hannover, 1877. T. 2. S. 361: “Und man hies in nür den neuen künig, davon daz der elter Römisch künig Wenzel dennoch lebte”.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Ее общее описание см. в каталоге: *Die deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek München*. / Bearb. K. Schneider. Cgm 691–867. Wiesbaden, 1984 (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Monacensis. T. 5. P. 5).

¹² Баварская Государственная библиотека (Мюнхен). Cgm 735. Fol. 92v: “Zu den selben / zeitten ward ein kindt geporen zu / Regenspurg, das hett zwey houpt / auff einem pauch... vnd mitt / dem ainem houpt reggt es sich / vnd was lebendig geporen, aber mit / andir houpt reggt... es / sich nyendert, wann es was todt”.

¹³ *Ibid.* Fol. 93–93v: “Er hieltt auch das hailigum Innen / das Im der vorgehent kunig Ruppracht / nie kunndt angeroymmen, weder mitt / tading noch mit kriege. das darum der / vil versucht wardt. Also hetten die / Curfürsten auff die selben zeytte / zwen Baupst und zwen Kunig”.

¹⁴ Саксонская всемирная хроника: “...der was gar ain gotförichtig herr und was gütig gen allen menschen, und milt was er gen armen leuten” (*Sächsische Weltchronik*. S. 360). Продолжатель Кёнигсхофена: “Der kunig was ain gottlicher, tugenthaffter man und herr, der gottes dienst und die pfsahit lieb hett. er

- hielt daz studium und dy studentten zu Haidelberg in grossen freyhaitten und ernen" (Quellensammlung der badischen Landesgeschichte / Hg. F.J. Mone. Karlsruhe, 1848. Bd. 1. S. 260).
- 15 Sächsische Weltchronik. S. 360: "Der gögelman ist chomen, er hat ain läre taschen pracht, daz hat man wol vernomen".
- 16 Подробнее о мотивах Людвиг см.: *Wefers S.* Das politische System Kaiser Sigmunds. Stuttgart, 1989 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz. Bd. 138). S. 9–17, с указанием предшествовавшей литературы.
- 17 О правлении Сигизмунда в Венгрии см.: *Mályusz E.* Kaiser Sigismund in Ungarn 1387–1437. Budapest, 1990. Основной работой по истории императора Сигизмунда остается: *Aschbach J.* Geschichte Kaiser Sigmunds. Bd. 1–4. Hamburg, 1838–1845 (перепечатка: Aalen, 1964). Из новых публикаций см., помимо указанной книги С. Веферс: *Sigismund von Luxemburg. Kaiser und König in Mitteleuropa 1387–1437* / Hg. J. Macek, E. Marosi, F. Seibt. Warendorf, 1994. *Baum W.* Kaiser Sigismund. Wien, 1993; *Hoensch J.* Kaiser Sigismund. München, 1996.
- 18 См. подробно: *Leuschner J.* Zur Wahlpolitik im Jahre 1410 // Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters. 1954/1955. Bd. 11. S. 506–553; *Heimpel H.* Die Vener von Gmünd und Straßburg 1162–1447. Göttingen, 1982 (Veröffentlichungen des Max-Planck-Instituts für Geschichte. Bd. 52). S. 637–657.
- 19 GB. 1, 17, 19.
- 20 В некоторых отношениях выборы 1400 г. прямо противоречили Золотой булле. Так, и низложение Вашлава, и избрание Рупрехта произошли не во Франкфурте, а в городке Ланштайн на Рейне. Это обстоятельство также должно было впоследствии вредить репутации Рупрехта.
- 21 Сообщение горожан из Страсбурга: Deutsche Reichstagsakten. Ältere Reihe. (Далее: RTA). Bd. 7. Nr. 29. S. 40: "...uf zinstag haben die vier kurfürsten ieglicher dreizehen seiner räte geschickt uf das rothuß, ie drizehen sunder gewesen, die warent bi enander von fruge unze uf den imbiß und darnach unze gesticketer nacht, und sind die kurfürsten ie zu inen und von inen geritten".
- 22 GB. 2, 1.
- 23 Это подробно показывает в исследованиях на материале первых столетий немецкой истории Герц Альтофф. См. прежде всего: *Althoff G.* Demonstration und Inszenierung Spielregeln der Kommunikation in mittelalterlicher Öffentlichkeit // Frühmittelalterliche Studien. 1991. Bd. 57. S. 27–50.
- 24 Это не означает, впрочем, что "реальное действие" (например политические переговоры) вообще всегда ускользает от регламентации, от соединения по крайней мере с элементами ритуала. Выборы папы римского "нормированы" примерно на тот же манер, что и избрание Римского короля, однако в этом случае вполне "реальные" споры по поводу кандидатов проходят внутри ритуализированного пространства (в конклаве) а не за его пределами. В каких случаях (или в каких культурах) "реальное действие" позволяет себя регламентировать, а в каких отторгает подобную регламентацию — самостоятельная большая тема.
- 25 RTA. Bd. 7. Nr. 30. S. 42: "...daselbe ist von mins herren von Mencze weg erzelet worden, daz man sulte en messe von dem heiligen geiste zu sant Bartholomei gesungen han des morgen nach sant Egidii tag, die sie in der besten underweggen gelassen".
- 26 Требования Золотой буллы о необходимости признания решения большинства коллегии, впрочем, не были изобретены во времена Карла IV. По крайней мере Людвиг IV Баварский в своей известной заксенхаузенской апелляции 1324 г. ссылался на традицию, соответствия с которой "избранным в согласии" (in concordia electus) должен считаться тот, за которого отдали голоса большинство (т. е. по крайней мере четверть) курфюрстов (Monumenta Germanica Historica. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. Hannover 1981. Bd. 5. Nr. 909–910. Art. 11. (Далее: MGH. Const.)) Данный принцип перешел в имперское право вне всяких сомнений, из права канонического и, судя по судьбе самого Людвиг, ожесточенно борющегося со своим соперником из дома Габсбургов, вовсе не был столь очевидным, как это предстает в приведенном документе.

- ²⁷ RTA. Bd. 7. Nr. 23. S. 37: “...des si unser herren der kurfursten meinunge, daz die von Franckfurd in sullen als einen boden odir in botshaft des kuniges von Ungern und nit als eins marggraven von Brannenburg inlassen mit wievil daz er lude bringe. und sullen nach keiner zal fragen. und sullen ime auch sagen, daz sie in also inlassen und nit als einen boten eins marggraven von Brannenburg zu der kure gehorende”.
- ²⁸ Старая прусская историография всячески подчеркивала, сколь большую услугу оказал “империи” в этом случае Гогенцоллерн. Новая литература, разумеется, свободна от таких крайностей, но вот и С. Веферс после обсуждения разных точек зрения на роль Фридриха в выборах 1410 г. также склоняется к признанию за ним весьма значительного участия в их проведении и исходе (*Wefers S. Op. cit. S. 9*).
- ²⁹ RTA. Bd. 7. Nr. 30. S. 43: “...sie mochten wole bischofe epte paffen order andere personen die zu dem stride nit gehorent mit macht hergesant haben”.
- ³⁰ Это тема предполагаемой отдельной публикации.
- ³¹ *Leuschner J. Op. cit. S. 547–549*.
- ³² RTA. Bd. 7. Nr. 29. S. 41.
- ³³ GB. 1, 18.
- ³⁴ RTA. Bd. 7. Nr. 30. S. 44: “...so gebe dan der heilige geiste villichte wege die dogelich und redelich weren, den sache nachzugeunde”.
- ³⁵ *Petersohn J. “Echte” und “falsche” Insignien im deutschen Krönungsbrauch des Mittelalters? Kritik eines Forschungsstereotyps (Sitzungsberichte der wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main, Bd. XXX, Nr. 3). Stuttgart, 1993. При всей справедливости суждений автора стоит все-таки предположить, что фактор подлинности инсигний если и не играл роль в праве, то оставался значим в общественном сознании.*
- ³⁶ *MGH. Const. Art. 12: “...electus in loco ad eligendum regem Romanorum... videlicet in opido de Frankenfurt”; а также: “...et in loco de Frankenfort ad hoc antiquitus deputato...”.*
- ³⁷ *Frankfurter Chroniken und annalistische Aufzeichnungen des Mittelalters, bearb. R. Froning (Quellen zur Frankfurter Geschichte Bd. 1.) Frankfurt a.M., 1884. S. 86, 182.*
- ³⁸ RTA. Bd. 7. Nr. 30. S. 45: “...sassen die selben dri herren zusamen under unsers herren martel ußwendig an dem chore hinde dem fronaltare...”.
- ³⁹ *Ibid.: “...wie sie gern in die kirchen gewesen were und messe hetten lassen singen unde den sachen nachgangen darumb sie hie weren, diewilen aber daz in der kirchen nit gedihen mochte... so wulden sie doch darumb nut underwegen lassen den sachen nachzugeun und daz riche mit eim heübt zu verssehen als in daz zugehorte”.*
- ⁴⁰ В Золотой булле при описании этого действия говорится, что светские курфюрсты прикасаются к Евангелию согоралитер, а это подразумевает, видимо, что лица духовного сана, уже в силу совершенного над ними таинства священства, усиленного посвящением в епископы, приобщены Святого Духа, имеют его в сердце своем и “касаются” его spiritualiter.
- ⁴¹ RTA. Bd. 7. Nr. 30. S. 46: “sprachen also den eit in dutsche von worte zu worte, als er in dem latine in der gulden bullen begriffen ist. und geschach daz allis uffinlich zu angesicht und gehorde irer rete dienere und vil ander lude. darnach hiessen die drei herren die lute ein wenig besit dreden und underredtent sich ezwaz allein und rufftent da ezlichen iren frunden und dienern hinzü”.
- ⁴² Точно так же и в 1486 г., когда курфюрсты собрались избрать нового Римского короля и итоги выборов были заранее предreshены, избиратели, тем не менее, провели, закрывшись в ризнице храма св. Варфоломея, “час или более”, прежде чем они объявили имя избранника (“...und waren volliglichen bey einander darin ein stund lang oder mehr”. – *Das Familienbuch der Herren von Eptingen. / Hg. D.A. Christ. Liestal., 1992. S. 402*).
- ⁴³ *Heimpel H. Op. cit. S. 658: Tandem lecta fuit aurea bulla per magistrum Job Vener doctorem utriusque iuris coram omni populo publice prope sanctum Bartholomeum in palacio in publica strata coram infinitis personis utriusque sexus et eciam presentibus principibus Treverensi, Coloniensi, Palatino et... burgravio.*
- ⁴⁴ Подробно о политическом фоне избрания Сигизмунда и различных

- правовых аспектах его см.: *Schrol-ler F.* Die Wahl Sigmunds zum römischen Könige. Breslau, 1875; *Schro-he H.* Die Wahl Sigmunds zum römischen König // Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 1898. Bd. 19. S. 471–516; *Kaufmann A.* Die Wahl König Sigmunds von Ungarn zum römischen Könige. Diss. // Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen. 1877 / 1878. Bd. 17; *Quidde L.* König Sigmund und das Deutsche Reich von 1410 bis 1419. Diss. Göttingen, 1881; *Leuschner J.* Op. cit.; *Wefers S.* Op. cit. S. 5–25.
- 45 RTA. Bd. 7. Nr. 53. S. 83: "...ad cimetrium ecclesie memorate et ibidem retro chorom ipsius ecclesie circa altare majus in loco actibus publicis satis apto..."
- 46 Ibid. Nr. 52. S. 74: "...retro ecclesiam s. Bartholomei precipitanter et ex abrupto, nulla penitus debita vel consueta solemnitate servata..."
- 47 Подробнее о значении этого юриста см.: *Heimpel H.* Op. cit. S. 637–690.
- 48 Ibid. Nr. 53. S. 83: "Immo videtur, quod hec debuissent in ecclesia fieri secundum constitutionem auree bulle... fateor, quod de bene esse et de solemnitate magis decuisset ibi fieri; sed ex quo per eligentes non stetit quominus ista solemnitas observaretur, et fecerunt de hoc diligentiam suam, non curatur... quis enim vellet dicere, quod clauso palatio pape vel alias impedito cardinales non possent alibi eligere? certe nullus".
- 49 GB. 2, 3. При выборах папы этот срок, правда, существенно короче.
- 50 RTA. Bd. 7. Nr. 53. S. 84: "...fueruntque mox, magnatibus nobilibus civibus et numero ibidem populo congregato, hujusmodi electio ejusque acceptatio cum omnibus circa predicta tunc gestis et tractatis exposita manifeste".
- 51 Ibid. Nr. 30. S. 47: "...und begertent auch darzu gezugnisse der herren rittere und knechte burgere von dem rade und anderer von Franckfurt und anderswoher, die do zugegen waren [in grosser zale". См. также: Ibid. Nr. 32. S. 49: "...habin wir offentlich clarer und eigentlicher hie of sand Bartholomeus kirchoff herren rittern knechten burgern und dem folke verkondin lassin..."
- 52 "...und das ließen sie auch offentlich aller der welte, die dann of die zit zu Franckfurt waz, verkünden". – *Leuschner J.* Op. cit., S. 551.
- 53 RTA. Bd. 7. Nr. 52. S. 74: "...populo ad tale spectaculum congregato licet pauco..."
- 54 Deutsche Reichstagsakten. Mittlere Reihe. Bd. 1. Nr. 874: "...uf den alt, gewelbten, zerrissen Königstul, der in den nußbomen stat".
- 55 Ibid. Nr. 917. S. 954: "Do ward der König durch die Kurfürsten gefuehrt und gesezt auf den Königstul, der daselbst im velde under den paeumen steet..."
- 56 RTA. Bd. 16. Nr. 100. S. 171: "...darauf sol ain Römischer kung sitzen und sol da in seiner gegenwartigkeit in dreien zungen lassen ruffen, latein, welisch und teutsch, wie er ziech gen Ach und wöll da sein könikliche kron emphahen und das ist darumb, das sein partei oder ander iemant icht gesprechen mug, das er zu der kronung haimblich komen sei".
- 57 Фридрих I Барбаросса после своего избрания королем отправился в путь из Франкфурта 6 марта 1152 г. Уже 8 марта он въезжал в ворота Ахена.
- 58 Некоторым подтверждением тому служит и окончательный итог борьбы за германский трон в начале XV в. Несмотря на всю скандальность избрания, осуществленного "ребенком и глупцом", именно Сигизмунд в конце концов станет общепризнанным государем "римлян". Ему предстоит провести Констанцкий собор и положить конец "великой схизме", много лет тщетно бороться с гуситами, короноваться императором и придать внутриимперским отношениям тот устойчивый облик, который в основном сохранится и при его наследниках и преемниках – Габсбургах.
- 59 *Andreas von Regensburg.* Op. cit. P. 146.

Дело об ожерелье Марии Антуанетты

В 1785—1786 гг. история, которой посвящен данный очерк, приковала к себе внимание всей Европы. Современники единодушно признавали дело из ряда вон выходящим. Газеты разных стран подробно освещали ход судебного разбирательства. Иностранцы писали о нем донесения своим государям. Гёте быстро откликнулся на скандальные события пьесой “Великий Кофта”. Спустя годы он говорил Эккерману: «Право же, французский автор может только позабавлять, что я перехватил у него такой хороший сюжет. Я говорю “такой хороший сюжет”, имея в виду не только его нравственное, но и большое историческое значение. Факты, мною выбранные, непосредственно предшествуют Французской революции и в известной мере послужили для нее основанием. Королева, безнадежно запутавшаяся в злосчастной истории с ожерельем, утрачивает свое достоинство, более того — уважение народа, а следовательно, в его глазах и свою неприкосновенность. Ненависть никому не вредит, но презрение губит человека». 1
Вслед за Гёте к “такому хорошему сюжету” неоднократно обращались и другие авторы. Самые известные примеры тому — “Ожерелье королевы” А. Дюма-отца и “Мария Антуанетта” 2
С. Цвейга. Познакомимся с обстоятельствами этой драмы. 3

Луи Рене Эдуард, князь де Роган, принадлежал к одной из самых древних и знатных французских фамилий. Роганы вели свой род от средневековых правителей Бретани. Князь Луи имел основания и явные намерения претендовать на высшие государственные посты. Это был человек элегантный, приятный в общении, остроумный и хорошо образованный. В 27 лет его избрали во Французскую академию. Он вступил на духовное поприще, что во Франции старого порядка нередко совмещалось со светской карьерой. Роган стал коадьютором своего дяди, епископа Страсбургского, а в 1771 г. получил многообещающее назначение послом в Вену. Однако вскоре новый посол навлек на себя немилость двух влиятельнейших особ: императрицы Марии Терезии и ее дочери Марии Антуанетты, супруги

- наследника французского престола. Набожную католичку Марию Терезию возмущал рассеянный образ жизни де Рогана, его пристрастие к роскоши и многочисленные любовные похождения, что явно не приличествовало его духовному сану. Возмущение императрицы могло быть связано также с тем, что французский посол быстро проведал о тайных переговорах между правителями Австрии, Пруссии и России по поводу раздела Польши, счел их предательством интересов французского двора и не сумел достаточно дипломатично скрыть свое недовольство.
- 4 Причины неприязни Марии Антуанетты к Рогану не вполне ясны. Современники поговаривали, что в одном из секретных доносений он позволил себе язвительные замечания по поводу двуличной политики Марии Терезии во время первого раздела Польши; в результате придворной интриги эти колкости стали известны дочери императрицы и вызвали ее гнев против Рогана.
- 5 Сразу же после того, как дофин Людовик Август стал королем Людовиком XVI, прежнего посла отозвали из Вены и назначили на его место барона де Бретёя, которому предстояло сыграть роковую роль в судьбе Рогана в ходе дела об ожерелье.



Портрет королевы Франции
Марии Антуанетты

Эта личная неудача затрагивала интересы всего клана Роганов, социальное положение которого было блистательным и в то же время весьма спорным. Роганы принадлежали к верхушке придворной аристократии, но не довольствовались этим и претендовали на особое промежуточное положение между высшей аристократией и королевской семьей. Ввиду того, что их предки — гер-

щюги Бретонские — являлись в средние века правителями самостоятельного государства, Людовик XIV возвел две ветви этого рода — Роган—Гемене и Роган—Субизов — в ранг “иностранных принцев”, т. е. потомков иностранных правящих династий со всеми подобающими им особыми почестями. Это решение вызвало бурное негодование придворной знати. На протяжении XVIII в. Роганы, наряду с герцогами Буйонскими и Лотарингскими, безуспешно добивались признания за собой при французском дворе статуса “иностранных принцев”. Их претензии отвергались с обеих сторон: как принцами королевской крови, так и основной массой придворной знати, от которой Роганы, Буйоны и Лотаринги хотели дистанцироваться. Споры вокруг привилегий дома Роганов в 60—70-е годы XVIII в. выплеснулись на страницы целого ряда записок, памфлетов и протестов. Их авторы старательно изыскивали юридические, философские и исторические аргументы, чтобы объяснить, кто кого пропускает вперед и в каком порядке дамы танцуют менуэт на придворных балах.

6

7

Но у Роганов была еще возможность возвыситься над другими герцогами, заняв ключевые посты при дворе и в государстве. Наиболее предпочтительными с этой точки зрения представлялись шансы Луи Рене Эдуарда де Рогана. Его отзыв из Вены и неприязненное отношение молодой королевы явились серьезным ударом по амбициям семейства, но не все еще было потеряно. Клан Роганов, не жалея сил, продвигал вверх своего попрежнему считавшегося перспективным члена. Его энергично поддерживали влиятельные родственники и родственницы: маршал, государственный министр и пэр де Субиз, сестра маршала — воспитательница королевских детей графиня де Марсан, ее племянница княгиня де Гемене, унаследовавшая место воспитательницы королевских детей от своей тетки в 1775 г. Мадам де Гемене благодаря возможности часто видеть королеву сыграла очень важную роль в возвышении де Рогана. Наконец, он пользовался поддержкой со стороны “ментора” короля — министра графа де Морепа.

Общими усилиями в 1777 г. удалось добиться назначения Луи де Рогана на должность верховного омонье Франции (*le grand aumonier de France*). Это была высшая придворная и церковная должность. Верховный омонье считался первым священником Франции. В его компетенцию входила выплата милостыни, пенсий, пожалований и стипендий королевских коллежей из предназначенных на благотворительные нужды фондов королевской казны. Он назначал и возглавлял других королевских омонье и, подобно министру, периодически работал вместе с королем в его кабинете над делами своего ведомства. В 1778 г. вдобавок к высокой должности Роган получил сан кардинала, а в 1779 г. стал епископом Страсбургским. Перед честолюбивым кардиналом забрезжила была перспектива карьеры Ришелье и Мазарини, когда головокружительный взлет сменился серьезными осложнениями.

8

В 1781 г. умер Морепа. В следующем году разразился громкий скандал, вызванный банкротством господина де Гемене. Имущество банкрота было скомпрометировано, и его супруге пришлось отказаться от должности воспитательницы королевских детей. На вакантное место королева устроила свою подругу герцогиню де Полиньяк. Таким образом, кардинал де Роган лишился покровителей, и результаты не замедлили сказаться. В 1783 г. известным своим мотовством кардинала обвинили в присвоении крупных денежных сумм, полученных от продажи старых зданий известной больницы для слепых Кенз-Вен. Ему пришлось держать ответ перед Парижским парламентом. Рогану с трудом удалось выпутаться из этого скандального и темного дела и снять с себя обвинения. В том же году пост государственного секретаря королевского двора и ранг государственного министра получил барон де Бретей-человек королевы и недоброжелатель кардинала. Положение де Рогана стало критическим. Для исполнения честолюбивых планов ему было крайне необходимо каким-то способом добиться того, чтобы королева сменила гнев на милость.

К тому времени кардинал уже был знаком с мадемуазель Жанной де Валуа. Она принадлежала к очень знатному, хотя и совершенно обнищавшему роду. Ее отец происходил по прямой линии от внебрачного сына короля Генриха II, что было подтверждено генеалогистом и гербовым судьей д'Озье. Противоречие между блистательным происхождением девушки из рода Валуа и ее бедственным положением произвело впечатление на кардинала, и он выхлопотал для нее у короля небольшую пенсию. Знакомство на этом не прекратилось, и встречи продолжались. Тем временем протеже кардинала вышла замуж за офицера королевских жандармов де Ламота, не имевшего за душой ничего, кроме долгов, и самозванно присвоившего себе графский титул. Весной 1784 г. мадам де Ламот поведала своему покровителю, что ей удалось вызвать сочувствие королевы к своей несчастной доле и добиться расположения государыни. Она показывала Рогану письма, якобы написанные Марией Антуанеттой. По словам кардинала, он всему поверил, так как почерк королевы никогда не видел. Мария Антуанетта действительно поддерживала с Роганом исключительно официальные контакты, так что у него не было возможности увидеть что-либо, написанное ее рукой. После смерти Морепа и отставки княгини де Гемене он вообще оказался при дворе в относительной изоляции и не мог проверить правдивость слов госпожи де Ламот. Если участь его шаткое положение в то время, неудивительно, что он оказался столь доверчивым. Для него это был единственный шанс: близость бывшей протеже к королеве могла помочь ему спасти карьеру.

Мадам де Ламот говорила кардиналу слова, ласкавшие его слух: оказывается, королева меняет гнев на милость и даже хочет вступить в переписку. Наконец, Ламот удалось убедить Рогана написать королеве. К его большой радости на письмо при-

шел ответ, затем последовали другие письма. Послания “королевы” под диктовку Ламот писал ее сообщник Рето де Вилет.

Следующим, еще более смелым шагом стало состоявшееся приблизительно в конце июля – начале августа ночное свидание кардинала с королевой в версальском парке, выдержанное в духе модной тогда “Женитьбы Фигаро”. Роль Марии Антуанетты в этом спектакле исполняла девица Мари Николь Леге. Ее приметил на улице граф де Ламот, пораженный внешним сходством Леге с королевой. Ламоты приблизили ее к себе, дав ей вымышленное имя Валюа (Valois – Oliva). Свидание длилось несколько минут, взволнованный кардинал пробормотал две-три бессвязные фразы. “Королева”, как ей было велено, подала ему розу со словами: “Вы знаете, что это значит”. Если у Рогана до этого еще оставались какие-то сомнения в благосклонности королевы, то теперь они рассеялись окончательно. После свидания мадам де Ламот начала смело занимать у него деньги от имени Марии Антуанетты на благотворительные цели. Предприимчивые супруги быстро поправили свои финансовые дела и купили дом.

12

Свои якобы доверительные отношения с королевой графиня де Ламот не держала в тайне и поведала о них не только кардиналу. В конце года к ней обратились королевский ювелир Бёмер и его компаньон Бассанж с просьбой о помощи: ей предстояло уговорить королеву купить у них ожерелье.

Это украшение было уникальным и имело свою историю. В течение нескольких лет Бёмер и Бассанж скупали лучшие в Европе бриллианты и сделали большое ожерелье оригинальной работы, которое они рассчитывали продать Людовику XV для подарка фаворитке Дюбарри. Смерть старого короля расстроила планы ювелиров. Молодой монарх – несмотря на всем известное пристрастие его очаровательной супруги к украшениям – отказался купить драгоценное кольцо. Ввиду плачевного состояния финансов страны он счел чрезмерной цену ожерелья – 1 млн 600 тыс. ливров. Ювелиры предлагали свое произведение другим монархам, но безуспешно, так как цена была слишком высокой. Бёмер снова и снова обращался к Марии Антуанетте, умоляя ее купить кольцо и говоря, что иначе он будет разорен, но официальным ответом неизменно оставался отказ.

13

Ламот обещала помочь ювелирам и порадовала кардинала приятной новостью. Королева оказывает ему большое доверие: она мечтает приобрести ожерелье, но не располагает для этого необходимой суммой и поручает ему, Рогану, вести переговоры с ювелирами. Для убедительности она показала кардиналу еще одно письмо Марии Антуанетты, в котором та выражала желание, чтобы он взял на себя столь ответственное и щекотливое дело. Итак, в конце января 1785 г. кардинал стал договариваться с ювелирами, заявив, что выступает в качестве доверенного лица королевы. Стороны пришли к соглашению о покупке с уп-

14

латой в рассрочку. Первый взнос в размере 400 тыс. ливров Мария Антуанетта должна была сделать через шесть месяцев по получении ожерелья, т. е. 1 августа 1785 г., и далее полагалось платить по 400 тыс. каждые шесть месяцев.

Кардинал де Роган



Кардинал собственноручно записал условия сделки, ювелиры поставили под документом свои подписи, после чего Роган все же потребовал от мадам де Ламот, чтобы договор был заверен королевой. Ламот добросовестно выполнила поручение кардинала: на каждой странице текста на полях Рето де Вилет написал слово “одобрено”, а в конце поставил очень странную подпись “Мария Антуанетта Французская”. Впоследствии многие, начиная с Людовика XVI, недоумевали, как мог вельможа из рода Роганов, придворный и кардинал не знать, что супруга короля Франции никогда не подписывается подобным образом. По словам Ламот, они с Рето де Вилетом специально изобрели нечто, как она выразилась, “химерическое”, для того, чтобы в этом нельзя было усмотреть подделку подписи королевы. Но каковы бы ни были мотивы заговорщиков, они не объясняют, почему столь необычная подпись не вызвала подозрений ни у кардинала, ни у ювелиров ее величества. Ведь Бёмер и Бассанж, не заметив подделки, спокойно сняли для себя копию с документа, оригинал которого остался у Рогана. Пожалуй, единственное убедительное объяснение этому дал историк Ж. Мишле. Смысл подобной подписи, по его мнению, состоял в том, чтобы после смерти Марии Антуанетты купленная драгоценность осталась собственностью французской короны и не могла бы перейти по наследству Габсбургам.

Ювелиры вручили ожерелье кардиналу, а тот передал его человеку, которого Ламот представила как придворного королевы. После всего случившегося Ламоты продолжали жить на широ-

кую ногу как ни в чем не бывало. В апреле супруг отбыл в Лондон, чтобы продать там несколько бриллиантов, а в начале июня преспокойно вернулся во Францию. Эти люди явно не опасались ареста.

У ювелиров же постепенно стали возникать подозрения. Время шло, а королева так ни разу и не появилась на публике в своем новом столь желанном ожерелье. В июле, когда истекал срок первого платежа, мадам де Ламот сказала кардиналу, что у королевы сейчас нет денег, и велела просить ювелиров об отсрочке. Просьба кардинала еще больше обеспокоила Бёмера и Бассанжа, и они начали настойчиво добиваться аудиенции у королевы. Наконец, Бёмеру удалось объясниться сначала с первой камеристкой королевы мадам Кампан, а 9 августа он был принят Марией Антуанеттой.

Узнав о происшедшем, королева стала советоваться с близкими людьми, как быть. Таких людей было двое: ее духовник аббат де Вермон и ее человек в министерстве, государственный секретарь королевского двора барон де Бретей. Полномочия государственного секретаря королевского двора во Франции старого порядка отчасти соответствовали полномочиям министра внутренних дел в современном государстве, так что барон де Бретей имел все основания взять расследование дела в свои руки. По его требованию ювелиры составили для королевы записку с подробным изложением обстоятельств случившегося. Имя мадам де Ламот еще не было произнесено, так как все переговоры ювелиры вели только с кардиналом. Тяжкие подозрения в мошенничестве и в оскорблении величества падали на него одного. 15 августа его арестовали, причем барон де Бретей постарался, чтобы это было сделано самым скандальным и оскорбительным для Рогана способом.

День ареста пришелся на праздник Успения. Кардинал де Роган как верховный омонье должен был служить торжественную мессу в присутствии королевской семьи и всего двора. Когда утром он явился во дворец в праздничном облачении, его пригласили для объяснений в кабинет короля. Там присутствовали Людовик XVI, Мария Антуанетта, хранитель печатей Ю де Миромениль и барон де Бретей. Спустя три дня полномочный представитель России во Франции И.М. Симолин, основываясь на ходивших в обществе слухах, в своей депеше в Петербург так описывал этот допрос: "Объяснение последовало в понедельник утром в кабинете короля, говорившего с кардиналом со всей возможной добротой, мягкостью и умеренностью, тогда как королева все время плакала". Именно тогда кардинал впервые рассказал о роли мадам де Ламот в этом деле. По словам Кампан, "г-н де Верженн и хранитель печатей придерживались мнения, что надо не придавать огласки этому делу и избегать скандала. Но возобладало мнение барона де Бретёя; этому благоприятствовала раздраженность королевы".

19

20

21

22

23

Под нажимом со стороны Марии Антуанетты и де Бретё Людовик XVI повелел арестовать Рогана. Королева сообщила в письме брату, императору Иосифу II, о том, как кардинал просил короля повременить с арестом и провести все тихо и незаметно, но тот ответил, “что не может на это согласиться ни как король, ни как супруг”. Кардинала взяли под стражу на глазах у всего двора и отправили сначала под домашний арест, а потом в Бастилию. После допроса в кабинете короля он понял, что ему будет инкриминировано оскорбление величества. Он сумел, обманув стражников, передать записку своему секретарю Жоржелю, чтобы тот сжег письма, полученные якобы от Марии Антуанетты. Мадам де Ламот, со своей стороны, уничтожила все письма кардинала королеве, как только узнала о его аресте.

Симолин сообщал о сильном впечатлении, произведенном арестом кардинала, и о том, что это происшествие расценивалось как удар по всей семье Роганов: “Арест персоны столь высокого ранга, сделанный с таким шумом, дал пищу толкам в обществе. Оно теряется в догадках относительно мотивов столь сурового обращения с кардиналом. Должно быть, он серьезно провинился перед их Величествами, раз навлек на себя такое публичное порицание, являющееся ударом по дому Роганов, которому поведение господина де Гемене уже нанесло бесконечный ущерб в общественном мнении”.

Выяснение обстоятельств дела король поручил военному министру маршалу де Кастри, графу де Верженну, барону де Бретёю и генерал-лейтенанту парижской полиции де Крону. Таким образом, расследование попало в руки людей, входивших в две враждующие группировки. Они существовали уже несколько лет, но до поры до времени их противоборство носило характер мелких интриг и не велось в открытую. Современники называли их “партией короля” и “партией королевы”. В “партию короля” входили хранитель печатей Ю де Миромениль, государственный секретарь иностранных дел Верженн, генеральный контролер финансов Калонн, его друг — бывший генерал-лейтенант парижской полиции Лемуар. В “партию королевы” — барон де Бретёй, военный министр де Сегюр, морской министр де Кастри. Активную роль в расследовании играла королева. Ей удалось настоять на том, чтобы министры общались с королем только в ее присутствии. Так что она имела все основания писать Иосифу II: “Я никогда не забуду того поведения, которого король придерживался с самого первого мгновения и на всем протяжении этого дела; оно было идеальным для меня; и его министры, с которыми он говорил только в моем присутствии, не могли заставить его свернуть с пути, хотя одни из них имели связи с кардиналом, а другие — с его родственниками”.

Удивительно, что сразу же после первого допроса Рогана не схватили Ламот с бриллиантами. Она была арестована только 18 августа. Ее муж успел бежать, через несколько дней он

объявился в Лондоне и продавал там бриллианты. 23 августа за- 28
 держали близко знакомого с кардиналом известного авантюри-
 ста и духовидца Калиостро и его жену. На допросах кардинал 29
 обвинял во всем Ламот, а та — кардинала и Калиостро. Ламот
 рассказывала захватывающие истории о колдовских опытах Ка-
 лиостро. Она говорила, что приводила к нему свою малолетнюю
 племянницу и чародей пытался вызвать у девочки способности
 к ясновидению. Девочка утверждала, что видела нечто, связан-
 ное с королевой и кардиналом. 30

Роль Калиостро в данном деле не вполне ясна. Очевидно одно:
 этот таинственный человек очень интересовал кардинала де Рогана,
 пользовался его доверием и многое о нем знал. В деятельности
 Калиостро высший церковный иерарх Франции не усматривал ни-
 чего предосудительного. На допросах кардинал с сочувствием рас-
 сказывал о его опытах, связанных с магнетизмом, и о том, как Ка-
 лиостро удалось предсказать, что королева родит дофина. По сло- 31
 вам самого Калиостро, он всего лишь лечил кардинала от астмы
 и вообще занимался физикой и медициной, но не магией и нико-
 гда никого не пытался уверить в своих будто бы сверхъестественных
 способностях. Аббат Жоржель придерживался иного мнения. 32
 С его точки зрения, шарлатан Калиостро сумел полностью подчинить
 себе волю кардинала. Жоржель пишет о том, что Калиостро
 обосновался в резиденции Рогана в Эльзасе, подолгу беседовал
 с кардиналом с глазу на глаз и если и не вовлек его в темные дела
 с графиней де Ламот, то наверняка был осведомлен о них. 33

Итак, де Роган, мадам де Ламот и Калиостро были арестованы,
 и их полагалось судить. Ответ на вопрос “а судьи кто?” вызвал
 споры, в которых проявились характерные черты правосудия
 старого порядка. В соответствии с принятой процедурой дело по-
 добного рода следовало бы передать на рассмотрение в высшую
 судебную инстанцию — Парижский парламент. Вместе с тем, со-
 гласно неписаным законам и традициям французской монархии,
 король являлся верховным судьей в своей стране. Все органы юстиции
 вершили правосудие от его имени и по его поручению. Любое
 дело, в котором король был лично заинтересован, он мог судить
 сам и наказать виновных с помощью *lettres de cachet*, мог пере-
 нести разбирательство из суда в королевский совет или же на-
 значить специальный трибунал из верных ему людей. Верженн
 и морской государственный секретарь маркиз де Кастри выступи-
 ли за то, чтобы дело Рогана слушал специальный трибунал.

Высказывалось также мнение, что, поскольку Роган является
 духовным лицом, его дело следует передать на рассмотрение церковного
 суда. Правда, к тому времени правители Франции существенно
 ограничили компетенцию церковных судов, постановив рядом
 ордонансов, что уголовные дела, в которых оказывались за-
 мешанными священнослужители, подсудны королевским судам.
 Споры из-за компетенции органов церковной и светской юстиции,
 однако, не прекращались. Ассамблея французского духовенства

ства заявила, что судьями кардинала де Рогана могут быть только люди духовного сословия. Аргументируя это требование, клир ссылался на фундаментальные законы французской монархии. древние традиции, сословные привилегии и права граждан.

Однако де Бретей выступал за то, чтобы кардинала судил Парижский парламент, и склонил к этому короля. Людовик XVI предложил кардиналу на выбор: предстать перед судом парламента или же признать свою вину и положиться на милость короля. Роган, желавший гласно и публично доказать свою невиновность, выбрал первое. Этот шаг вызвал недовольство римского папы, который полагал, что таким образом нарушается судебный иммунитет служителей церкви. Папа временно сложил с Рогана сан и прерогативы кардинала и потребовал, чтобы он в течение шести месяцев явился сам или направил своего представителя на суд в Рим.

Из всех главных действующих лиц этой истории наибольшее удивление вызывает Людовик XVI. Поведение других персонажей проще истолковать: у каждого четко прослеживается его амплуа. Мадам де Ламот — женский вариант авантюриста, комми столь богат XVIII век. Ее выдумки кажутся даже не столь уж дерзкими на фоне историй Калиостро или графа Сен-Жермена. Роган явно ориентирован на то, чтобы занять место в длинной череде прославленных кардиналов-политиков: Ришелье, Мазарини, Дюбуа, Флери. Но король? Вынести дело, в котором затронута честь королевы, на суд парламента?! Как будто он не абсолютный монарх, а законопослушный гражданин. Впоследствии многие современники и историки, зная исход дела, называли это решение большой ошибкой. Почему король так поступил? Чтобы понять мотивы, которыми он руководствовался, уместно вспомнить, что дело об ожерелье при всей его необычности не было абсолютно уникальным. Ему предшествовал отчасти похожий случай, не имевший столь серьезных последствий и ныне совершенно забытый, хотя в свое время и достаточно шумевший. В 1785 г. память о нем была еще свежа. Симолин, сообщая об аресте Рогана, попутно заметил, что “вот уже второй раз с королевой сыграли такую штуку: второй раз циркулировали поддельные бумаги, подписанные ее именем”. Возможно, что та первая история, случившаяся весной 1777 г., вдохновила предприимчивых людей, замысливших обвести Рогана вокруг пальца. Героиней авантюры восьмилетней давности была жена казначея королевского двора мадам Каюэ (или Кауэ — в письмах современников встречаются разночтения) де Вилле. Она хвалилась, будто ей удалось добиться покровительства со стороны тогда совсем еще юной Марии Антуанетты, демонстрировала подписанные королевой бумаги и занимала якобы для королевы крупные суммы денег: по 100 тыс. экю у казначея герцога Орлеанского и у банкира Лафосса. Вот как описывал случившееся посол императрицы Марии Терезии при французском дворе

Мерси-Аржанто: “Эта женщина прежде всего призналась в том, [...] что она пользовалась именем королевы, чтобы занимать деньги у различных частных лиц; что с этой целью она замыслила и изготовила поддельные письма королевы; что она лживо хвасталась своими частыми аудиенциями у Ее Величества, хотя в действительности она никогда не имела случая приблизиться к этой августейшей государыне; и наконец, что она обзавелась также реестром, на обложке которого имелся герб королевы, и что она показывала эту якобы расчетную книгу, дабы пускать пыль в глаза тем, кого она обманывала”.

38

Дело мадам Каюэ де Вилле, обвиненной в мошенничестве и в оскорблении величества, передали в чрезвычайную комиссию, и после судебного разбирательства преступницу пожизненно заключили в тюрьму Сент-Пелажи. Мерси-Аржанто был крайне недоволен таким исходом, замечая, что если бы ее судил обычный суд, то ей грозила бы виселица. Но главное для него заключалось даже не в жестокости наказания, а в том, что преступница скомпрометировала имя королевы и именно гласное разбирательство дела в парламенте должно было защитить честь Марии Антуанетты.

39

О том, что сомнения Мерси-Аржанто отнюдь не беспочвенны, свидетельствовали порочащие королеву слухи. Они нашли отражение в письме одного современника. Его версия событий заметно отличалась от той, которую излагал императорский посол. “Вас немного удивит, — писал он, — что эта женщина [...] сумела [...] заручиться покровительством нашей молодой Королевы и даже завоевать ее доверие в разных мелких секретных делах. [...] Доверие, которое Королева оказывала мадам де Вилле, дало той возможность делать для Королевы покупки в Париже. Недавно ей поручили взять заем, который следовало держать в строжайшей тайне; но, по-видимому, посреднице изменила осторожность, и имя Королевы оказалось скомпрометированным”. Сказанное следует очевидно понимать таким образом: Каюэ де Вилле воспользовалась данным ей деликатным поручением, чтобы самой поживиться за королевский счет, и подделала долговые обязательства Марии Антуанетты. Для опровержения подобных слухов и нужен был, по мнению Мерси-Аржанто, обычный судебный процесс в Парижском парламенте.

40

41

У короля было по крайней мере три причины отдать дело об ожерелье на суд парламента. Во-первых, он безгранично верил своей супруге и ни секунды не сомневался в ее абсолютной невинности, так же как и в виновности кардинала. Во-вторых, памятуя о деле Каюэ де Вилле, он считался с реакцией общественного мнения и хотел, чтобы невинность королевы и виновность злоумышленников, посягнувших на ее репутацию, были продемонстрированы общественности на публичном процессе. В-третьих, он не сомневался, что парламент ему верен. И у него были основания так думать. До сих пор на протяжении

первых десяти лет его царствования в Парижском парламенте существовала многочисленная и влиятельная проправительственная группировка, так называемая министерская партия, которая неизменно поддерживала политику короля и его правительства в обмен на покровительство с их стороны и в надежде на министерские посты. Так что, с точки зрения Людовика XVI и де Бретёя, исход процесса был заранее предрешен. Они не сомневались в том, что послушный им парламент осудит Рогана. Как оказалось, они были неправы.

Мадам де Ламот и после ареста оставалась спокойной, так как два самых опасных для нее свидетеля — ее супруг и Рето де Виллет — находились в бегах за пределами Франции. Все улики были против Рогана. Общественное мнение поначалу было настроено против кардинала, известного неприличным для духовного лица разгульным образом жизни и многочисленными любовными связями. Еще в декабре 1785 г. Симолин сообщал: “Кажется, это дело принимает неприятный оборот, и г-ну кардиналу трудно будет выйти из него с честью”. То же самое писал он и два месяца спустя: “Судя по тому, что выясняется из допросов, проведенных по этому делу, г-ну кардиналу трудно будет выйти из него с честью, и он прослышет или мошенником, или простофилей”. Но существовала и иная точка зрения, распространенная среди придворной аристократии. Тогда как в Париже обвиняли мадам де Ламот и кардинала, при дворе обвиняли королеву, считая ее причастной к интриге против де Рогана.

Де Бретёй не скрывал, что будет добиваться осуждения де Рогана. Одного этого оказалось достаточно, чтобы враждебная партия, желая унижить и свалить соперника, начала активно содействовать оправданию кардинала. Люди, которых называли “партией короля”, не считались ни с интересами короля, ни с репутацией королевской семьи. По одну сторону баррикад оказались король с королевой, барон де Бретёй, королевский прокурор и часть парламента во главе с первым президентом. По другую — семья Роганов, семья Морепла, духовенство, друг кардинала Ю де Миромениль, часть парламента, многие придворные, министры Калонн и Верженн и верный друг Калонна Ленуар.

Верженн принимал энергичные меры к тому, чтобы найти за границей и добиться выдачи свидетелей, способных подтвердить невиновность кардинала. В октябре в Брюсселе арестовали девицу д’Олива. Однако доставить из Великобритании графа де Ламота не удалось. В этом случае Верженн проявил меньше рвения. Ламот ему не был нужен, так как, подобно своей супруге, он начал бы, выгораживая себя, валить всю вину на кардинала. Мерси-Аржанто с негодованием сообщал, что в деле де Рогана “граф де Верженн проявил пристрастность, имевшую целью спасти прелата, и не обеспечил должной справедливой сатисфакции Королеве, августейшее имя которой осмелились скомпрометировать”.

В качестве обвиняемых на процессе поначалу выступали Роган, мадам де Ламот, ее муж заочно, девица д'Олива и Калиостро.

Дело об ожерелье привело к появлению множества памфлетов, которые пользовались у публики большим спросом и перепечатывались за границей. Многие из них были написаны по заказу самих обвиняемых или их адвокатов. В ряде памфлетов содержались тяжкие обвинения в адрес Марии Антуанетты. О королеве Франции шла речь в самом непочтительном тоне. Ее изображали развратной интриганкой, состоявшей в любовной связи с де Роганом. К тому времени целенаправленная дискредитация Марии Антуанетты велась уже несколько лет. Распространение слухов, порочивших королеву, началось "сверху". Ее врагами были члены королевской семьи: граф Прованский, который рассчитывал занять престол вслед за братом и пережил крушение надежд после того, как Мария Антуанетта наконец родила наследника; королевские тетки, недовольные ее поведением, нарушающим строгий этикет версальского двора, а за их спинами стояла вся антиавстрийски настроенная придворная знать. Клеветническая памфлетная кампания развернулась еще в период первой беременности королевы в 1777 г., и есть серьезные подозрения, что она инспирировалась из кругов, близких к графу Прованскому. Скандал, вызванный делом об ожерелье, усилил эту кампанию. По мере расследования дела отношение к нему в обществе менялось в пользу кардинала. Многие считали, что королева замешана в деле, а Роган стал невинной жертвой интриги.

Против кардинала было выдвинуто обвинение в подлоге. Он лично вел переговоры с ювелирами, он сам написал текст договора, за исключением подделанной подписи королевы, наконец, ему в руки ювелиры отдали ожерелье, которое затем бесследно исчезло. Казалось невероятным, что его могли обмануть. Свидетельство д'Олива о ночном свидании в версальском парке не выглядело убедительным. Но все изменилось, когда в середине марта 1786 г. в Женеве арестовали Рето де Вилета. На допросе он показал, что примерно с мая 1784 г. писал Рогану письма под диктовку мадам де Ламот, но смысла их не понимал и только уловил в ответах кардинала его непомерные амбиции и желание стать первым министром. Он подтвердил, что ночная сцена с девицей д'Олива действительно имела место. Рето де Вилет сознался также, что написал слова "Мария Антуанетта Французская", вовсе не собираясь подделывать подпись королевы Франции и думая, что он просто переписывает какой-то документ. О преступных намерениях своей подруги он, разумеется, ничего не знал и в похищении ожерелья не участвовал. Так как сама Ламот упорно все отрицала, Вилету удалось избежать обвинения в сообщничестве.

В результате расследования парламент пришел к следующим заключениям: кардинал де Роган был уверен, что покупает ожерелье для королевы; подпись Марии Антуанетты подделал Рето

де Вилет по поручению мадам де Ламот; кардинал отдал ожерелье де Ламот, с тем чтобы она вручила его королеве; господин де Ламот отвез ожерелье в Лондон в разобранном виде и продал; некоторые камни; де Ламот воспользовалась доверием кардинала в преступных целях.

54 Таким образом, кардинала обвиняли уже не в подлоге, а “в недостатке уважения к священным особам Короля и Королевы, в чудовищном злоупотреблении именем Королевы и поддельной под-
55 писью Королевы, которую он выдавал за подлинную”. А именно ему вменяли в вину следующие помыслы и действия: он поверил в возможность тайного свидания с королевой в версальском парке в неурочный час; он поверил, что королева без ведома короля подписала договор о покупке ожерелья; заключая сделку с ювелирами, он имел дерзость заявить, что действует по поручению королевы, и, таким образом, скомпрометировал ее августейшее имя.

56 Генеральный прокурор Жоли де Флери потребовал для подсудимых следующих наказаний: де Ламота и Рето де Вилета с веревкой на шее высечь кнутом, заклеить и пожизненно отправить на галеры; мадам де Ламот с веревкой на шее высечь кнутом, заклеить, обрить и пожизненно отправить в заточение; девицу д’Олива оправдать с формулировкой *hors de soup* (что приблизительно соответствует нашему “оправданию за отсутствием доказательств”); она хоть и признавалась невиновной в уголовном преступлении, но ее репутация была запятнана); с Калиостро все обвинения были сняты; кардинал де Роган объявлялся *hors de soup*. По мнению прокурора, кардинал должен был публично покаяться, и его следовало лишить высокой должности и сана, запретив пребывание при дворе и в королевских резиденциях.

Таковы были выводы прокурора, согласованные с первым президентом и некоторыми советниками парламента. 31 мая 1786 г. эти выводы стали предметом ожесточенных дебатов в парламенте, продолжавшихся с раннего утра почти до 11 часов вечера. В голосовании участвовали 49 человек. Мадам де Ламот единогласно признали виновной и приговорили к битью кнутом, клеймению и пожизненному заточению в тюрьму Сальпетриер; де Ламота заочно — к битью кнутом, клеймению и отправке на галеры пожизненно; Рето де Вилета — к изгнанию из
57 страны, что явилось для него неожиданно мягким наказанием; девицу д’Олива объявили *hors de soup* (невиновная, по мнению судей, в мошенничестве, она фактически содействовала этому мошенничеству, сыграв роль королевы в ночной сцене в парке), и Калиостро был оправдан.

Споры шли о том, какой приговор вынести кардиналу. Судьи единогласно признали его невиновным в подлоге и похищении ожерелья, но при этом одни поддерживали требование королевского прокурора объявить Рогана *hors de soup*, а другие выска-

зывались за полное его оправдание. Дискуссия подчас приобретала политический характер. Советник Робер де Сен-Венсан, выступавший за оправдание кардинала, произнес длинную речь, в которой были такие слова: “Всей корпорации магистратов следовало бы желать, чтобы заключения г-на королевского прокурора никогда не были произнесены. ...С каких это пор магистраты приемлют министерские заключения?” То есть он выражал открытое возмущение тем, что выводы прокурора продиктованы министром королевского двора бароном де Бретёем. Подобных оппозиционных выпадов в стенах парламента не звучало уже лет пятнадцать. В зале раздался ропот, и решительный Робер де Сен-Венсан еще раз повторил: «Да, господа, я сказал “министерские”». В конце концов незначительным большинством голосов (26 против 23) кардиналу был вынесен оправдательный приговор.

58

Пока парламента совещался, его окружала многотысячная толпа. Весть об оправдании кардинала вызвала взрыв энтузиазма, свидетельствовавший о том, что в Рогане видели жертву произвола, спасенную — благодаря заступничеству парламента — от преследований со стороны королевы и министров.

Имперский посол Мерси-Аржанто отправил Иосифу II письмо, к которому были приложены следующие материалы: “Список парламентариев, голосовавших за hors de cour”, “Список парламентариев, голосовавших за снятие обвинений” и “Подробности относительно высказавшихся в пользу оправдания с указанием предполагаемых мотивов, которые обусловили их мнение”. Мерси-Аржанто был хорошо осведомлен о внутренних делах парламента благодаря близким отношениям с первым президентом д’Алигром. По-видимому, от д’Алигра он и получил эти сведения о голосовании, так как первый президент сам собирал и подсчитывал голоса. Два “Списка” представляют собой просто перечни фамилий. В них поименно названы все 26 магистратов, высказавшихся за оправдание, и 23, подавших голоса за hors de cour. Составитель (или составители) третьего документа излагает свои соображения относительно причин, побудивших каждого из 26 магистратов проголосовать за оправдание кардинала.

59

60

Этот текст в отличие от двух первых доводит до нашего сведения не достоверные факты, а лишь субъективное мнение д’Алигра или кого-то другого. Автор не мог заглянуть в душу каждому из магистратов, и потому во многих случаях его мнение, вероятно, ошибочно, но от этого не менее ценно. Нам важно знать, какие факторы, по мнению информированного современника, могли повлиять на исход голосования в парламенте и обусловить позицию того или иного магистрата.

“Подробности относительно высказавшихся в пользу оправдания...” таковы. Президент де Розамбо разорился и многократно обращался в финансовый департамент с просьбами о деньгах [автор документа намекал, что этот магистрат мог принять ре-

шение в пользу Рогана под давлением со стороны генерального контролера финансов Калонна). *Президент де Ламуаньон* связан с бывшим генерал-лейтенантом парижской полиции Ленуаром, а через него — с Калонном. *Президент де Сен-Фаржо* принял решение под влиянием Ламуаньона и Розамбо. *Президент де Жильбер* многим обязан генеральному контролеру финансов, купившему для него имение за казенный счет. *Президент де Сарон* прислушался к мнению Ламуаньона. *Була* проголосовал за оправдание из-за своего племянника, казначея главных конюшен, у которого грозились отнять четырех лошадей, предназначенных для его личного пользования, в случае если его дядя проголосует против кардинала. *Фрето* приходился близким другом Тарже — адвокату кардинала де Рогана. *Д’Утремон* предан графине де Брионн (урожденной Роган-Рошфор). *Ланглуа* принял решение под влияние д’Утремона и Фрето. *Урсен* приходился кузеном Ленуару и был предан Калонну. *Ламбер* подчинился мнению Фрето. *Паскье* зависел от генерального контролера финансов, так как обратился к нему с просьбой уменьшить плату за должность для сына. *Робер де Сен-Венсан* имел репутацию противника двора и одновременно был другом адвоката Тарже. *Бертен* подчинился Роберу де Сен-Венсану и Тарже. *Дельпен* связан с генеральным контролером финансов. *Амело* предан семье Морепе. *Де Лагийоми* пользовался благодеяниями дома Роганов. *Барийон* просил у генерального контролера финансов простить ему часть долга по капитации, которую он не платил уже несколько лет. *Де Бретиньер* — друг адвоката Тарже. *Де Жонвиль* предан семейству Роганов. *Лепилёр* проголосовал вслепую за Барийоном. *Де Глатиньи* зависел от Ламуаньона. Относительно магистратов *Эрона*, *де Ламишодьера*, *Дюбуа* и *Дюпора* автор “Подробностей” замечает: “Мы не знаем мотивов, которые обусловили их мнение”.

61

Итак, в качестве вероятных мотивов голосования автор называет денежный или иной материальный интерес, принадлежность к клиентеле министра или вельможи, личные и дружеские связи, следование за мнением влиятельного магистрата и, наконец, нелюбовь к двору.

Не меньший интерес представляют сведения о том, какие влиятельные лица, по мнению осведомленного современника, могли лоббировать в парламенте в пользу кардинала. В документе поименно названы генеральный контролер финансов Калонн, государственный советник и бывший генерал-лейтенант парижской полиции Ленуар, клан Роганов и клан Морепе. Действия этих людей были обусловлены двумя мотивами: защитой семейных интересов (Роганы и Морепе) и принадлежностью к правительственной группировке, враждебной де Бретёю (Калонн, Ленуар, Морепе). Имя другого лидера этой группировки, де Верженна, в документе не названо. По-видимому, он сам не оказывал давления на магистратов. Его роль в деле была иной -

62

обеспечить явку свидетелей, нужных для защиты кардинала. И эта его деятельность была по достоинству оценена парламентом 31 мая. “Во время заседания гг. Фрето и д’Утремон воздавали пышную хвалу графу де Верженну, превознося то усердие, с коим сей министр предоставил парламенту все сведения, способные прояснить истину в столь важном деле, и обеспечил судьям возможность определиться в своем мнении”.

63

Через несколько дней после своего оправдания кардинал по приказу короля был лишен должностей и сана и выслан в аббатство Шез-Дьё в Оверни. Калиостро изгнали из Франции, согласно другому королевскому приказу. Что касается мадам де Ламот, то она, как говорили, не рассчитывала на столь суровый приговор. По сообщению Симолина, “она, казалось, не ожидала, что с ней осмелятся поступить таким образом, ибо во время своего заточения в Консьержери она держала себя с полным спокойствием”. Во время экзекуции она выкрикивала обвинения в адрес королевы и барона де Бретёя. Ее муж из Лондона требовал освободить супругу и угрожал в противном случае опубликовать некое сочинение, компрометирующее Марию Антуанетту и де Бретёя.

64

65

Мадам де Ламот просидела в Сальпетриере около года, а затем среди бела дня сбежала, переодевшись мужчиной. Дерзкий побег преступницы не повлек за собой никакого расследования, и никто не был наказан. Современники по-разному оценивали случившееся: одни считали, что побег устроили по воле Марии Антуанетты, убожавшейся угроз графа де Ламота; другие, напротив, утверждали, что это дело рук врагов королевы из клана Роганов.

66

67

Приехав в Лондон к мужу, Ламот начала писать мемуары. Она утверждала, что вся интрига была сплетена по приказу Марии Антуанетты, использовавшей невинную бедняжку Ламот как орудие своей мести кардиналу. Слухи об этих записках вызвали волнение при французском дворе, и с несдающейся авантюристкой завязались секретные переговоры. Близкая подруга королевы — герцогиня де Полиньяк прибыла в Англию под предлогом поездки на воды в Бат. У современников не было сомнений относительно истинных целей этой поездки. В обществе открыто говорили о том, что герцогиня встречалась с Ламотами и заплатила им за молчание. Однако супруги де Ламот все же опубликовали мемуары в 1788 г. Двор скупил весь тираж. Книги были сожжены за исключением одного уцелевшего экземпляра, во время революции перепечатанного по приказу Национального конвента и много раз переиздававшегося. Вслед за женой граф де Ламот тоже написал мемуары, полные обвинений против королевы. Его записки попали в архивы полиции, долгие годы там хранились и были опубликованы в середине XIX в.

68

69

70

Конец мадам де Ламот был плачевным: в 1791 г. она погибла, то ли выбросившись, то ли выброшенная из окна третьего этажа. Впрочем, даже смерть поставила в невероятной судьбе

этой женщины не точку, а вопросительный знак. Ходили легенды, что предполагаемая кончина явилась лишь инсценировкой, и Жанна де Ламот дожила до глубокой старости. Ее супруг впоследствии вернулся во Францию, где не подвергался никаким преследованиям и умер в нищете в 1831 г.

71 Историков XIX в. в деле об ожерелье больше всего интересовал вопрос о том, какую роль на самом деле играла в нем Мария Антуанетта. Одни авторы полностью отметили какие бы то ни было подозрения о причастности королевы к делу. Другие считали, что многочисленные странные обстоятельства этого дела можно объяснить, только допустив причастность к нему Марии Антуанетты. По их мнению, устроить кардиналу подобную жестокую мистификацию было бы вполне во вкусе капризной и неосторожной государыни. При этом у авантюристки де Ламот мог созреть план извлечь максимальную выгоду из интриги, орудием которой она стала, и похитить бриллиантовое ожерелье.

72 Что же это за странные обстоятельства, на основании которых некоторые историки делали вывод о причастности королевы к делу? По их мнению, кардинал в этой истории выглядит неправдоподобно наивным. Не мог же он так долго верить, что он в фаворе у королевы, не имея тому достаточно веских доказательств! В ответ на это защитники королевы выдвигают соображение психологического свойства: человек способен поверить самым нелепым небылицам, если ему очень хочется в них верить.

Много странностей было и в поведении Ламотов. Они явно ничего не боялись: не заплатили девице д'Олива всего обещанного вознаграждения за ночную сцену в версальском парке и не опасались, что та в отместку проговорится. Мадам де Ламот вообще вплоть до самой развязки вела себя так, как будто ей ничто не угрожает, и не ожидала для себя сурового приговора. Почему супруги не скрылись сразу же, как только драгоценность оказалась у них в руках? Обличители королевы утверждают, что Ламоты рассчитывали на поддержку со стороны Марии Антуанетты. Однако защитники королевы объясняют это иначе и, на мой взгляд, вполне убедительно. Вплоть до самого ареста кардинала Ламоты могли жить спокойно в надежде, что кардинал, узнав, что подпись королевы подделана, предпочтет заплатить за ожерелье из своего кармана, лишь бы избежать громкого скандала, который, несомненно, вызовет его участие в столь темном деле. Девицу д'Олива можно было припугнуть тем, что именно она сыграла главную роль в ночном спектакле и потому ей еще больше, чем Ламотам, следовало бы опасаться огласки. 73 Что же касается поведения мадам де Ламот во время следствия и экзекуции, то сведения о нем имеют своим источником слухи и не могут считаться вполне достоверными.

Таким образом, в поступках главных действующих лиц была логика независимо от того, участвовала королева в плетении интриги или нет. Труднее найти объяснение некоторым обстоятель-

ствам дела. Так, ночное свидание происходило в парке, огороженном решеткой. На ночь ворота версальского парка запирались, их охраняла стража, и проникнуть в парк без специального разрешения было нельзя. Как же удалось организовать это свидание? Кто помог Ламотам и кардиналу пройти ночью в парк? Следствие не дало ответов на эти вопросы. Историки, взявшие на себя труд защищать честь королевы, обходили их стороной.

Осталось неясным, кто помог Ламот бежать из заточения. Наконец, непонятно, куда делось ожерелье. Ясно, что его расчленили. Отдельные камни продали Ламоты, но большая часть бриллиантов им наверняка не досталась, так как в Лондоне они жили бедно и источником доходов для них была продажа порочащих королеву памфлетов. Зная их образ жизни и вызывающую расточительность до ареста, трудно предположить, что эти люди были способны терпеть нужду, обладая несметными богатствами.

74

Никто из историков не принимал всерьез тех обвинений, которые обрушила на голову несчастной Марии Антуанетты мадам де Ламот. С гораздо большим доверием исследователи прислушивались к мнению аббата Жоржеля. По его словам, королева заранее знала об афере с ожерельем. Историки, желавшие обвинить королеву в соучастии, обязательно цитировали то место из его мемуаров, где он описывает свою встречу с Бассанжем в 1797 г. В ходе этой встречи ювелир будто бы по секрету признался, что королева была осведомлена о переговорах относительно покупки ожерелья. Но эти сведения нельзя безоговорочно принимать на веру, так как Жоржель не был беспристрастным очевидцем. Это ярый защитник кардинала, стремящийся в своих мемуарах во что бы то ни стало доказать, что люди из окружения королевы (прежде всего де Бретей) затеяли интригу с целью погубить де Рогана. Иногда Жоржель явно подстраивает факты под свою концепцию.

75

76

Одним словом, всех перечисленных труднообъяснимых фактов совершенно недостаточно для того, чтобы сделать окончательный вывод об участии королевы в деле или об ее осведомленности. Впрочем, раскрыть все тайные пружины и обстоятельства этого дела, возможно, так никогда и не удастся.

77

Но дело об ожерелье привлекает внимание не только своей загадочностью. К цитированным в начале статьи словам Гёте добавим мнение графа Мирабо, согласно которому дело явилось "прелюдией к революции". Его значение станет ясно при сравнении с уже упоминавшимся аналогичным делом Каюэ де Вилле. В двух историях можно заметить как явные параллели, так и столь же заметные расхождения. Что их объединяло? Во-первых, в обоих случаях главным действующим лицом была авантюристка, ссылавшаяся на свои близкие отношения с королевой Франции. Во-вторых, суть аферы (в деле об ожерелье часть аферы) состояла в получении у частных лиц денег взаймы якобы для королевы. В-третьих, подделывалась подпись Марии Антуанетты. В-четвертых, и в том и в другом случае часть обще-

78

ства не довольствовалась официальной версией происшествия и поддерживала компрометиовавшие королеву слухи.

Отличалось одно дело от другого тем, что прежде всего афера с ожерельем была гораздо масштабнее. В ней участвовали несколько человек, тогда как Каюэ де Вилле действовала в одиночку. Кроме того, если среди подозреваемых в первом деле фигурировали только казначей королевского двора (полностью оправданный) и его супруга, то в дело об ожерелье оказался втянутым кардинал де Роган. Одно это обстоятельство придавало делу больший общественный резонанс, создавало угрозу влиянию клана Роганов и порождало надежды на возвышение у их соперников, т. е. уголовный процесс приобретал политическое значение. И еще. Дело Каюэ де Вилле разбирала чрезвычайная комиссия, а дело Рогана и Ламот — Парижский парламент. Наконец, различие состояло также и в том, что дело Каюэ де Вилле оказалось благополучно забытым еще в XVIII в., вытесненное из памяти современников и потомков более громкими событиями, тогда как дело об ожерелье на протяжении двухсот с лишним лет привлекает к себе внимание как нечто необычное и очень важное. Почему?

Дело об ожерелье оказало сильное влияние на умонастроения французов. Какую бы роль ни играла в нем Мария Антуанетта, ее дискредитация в общественном мнении в результате дела не вызывает сомнений. Если говорить о влиянии этого скандала на общественное мнение, то следует подчеркнуть два обстоятельства. Прежде всего памфлетная война против Марии Антуанетты достигла тогда такого накала, какой будет превзойден только в годы революции. В многочисленных брошюрах, изданных в то время, были уже высказаны все чудовищные обвинения в адрес королевы, которые потом перекочевали в газету Эбера. Революционная публицистика не изобрела по сути ничего нового. Кроме того, в результате скандала стало очевидным, что памфлетная кампания против королевы, которая велась уже несколько лет, принесла результаты. В это время впервые отчетливо проявились симптомы характерной для умонастроений революционных лет всеобщей ненависти к “австриячке”. То, о чем раньше писали в запрещенных анонимных памфлетах, теперь было фактически официально признано в приговоре Парижского парламента. Оправдав вчистую кардинала, парламент как бы заявил, что подданный королевы мог рассчитывать на тайную переписку и ночное свидание с ней. Репутации королевы был нанесен непоправимый, смертельный удар, ее дискредитация обрела силу закона. Впервые государственное учреждение повело себя по отношению к ней столь неуважительно. А парламент успешно выступил в роли заступника от произвола, которую он в скором времени возьмет на себя в период предреволюционного кризиса 1787—1788 гг.

Помимо политической порнографии, направленной против Марии Антуанетты, в связи с делом об ожерелье было сказано и

написано немало резких слов в адрес министров короля и всего политического устройства Франции. Во многих памфлетах поднимался вопрос о гражданской свободе и “министерском деспотизме”. Духовенство, защищая свои судебные привилегии, использовало одновременно традиционалистскую и гражданско-правовую риторику. Через десять с лишним лет после дискуссий вокруг парламентской реформы Мопу 1771–1774 гг. впервые снова зазвучала резкая критика правительства.



Карикатура революционного времени
“Прыжок Святого семейства из Тюильри в Монмеди”,
на которой изображены Мария Антуанетта,
мадам де Ламот с ожерельем и кардинал де Роган

В июне 1786 г. высланный из Франции Калиостро пишет из Лондона письмо французскому знакомому. Он выражает возмущение по поводу *lettres de cachet* — дурного обычая, который дает простор чудовищному произволу таких министров, как барон де Бретей, и позволяет им обманывать доброго, но слабого короля. “Как, друг мой, ваша личность, ваше имущество — все отдано на милость одного этого человека! Он может безнаказанно обманывать короля; на основании клеветнических сведений, которые некому опровергнуть, он может схватить, сослать, поручить подобным ему людям или не отказать самому себе в ужасном удовольствии привести в исполнение жестокий приказ, бросающий невинного в темницу и отдающий его дом на разграбление!” Калиостро уверен в том, что король и парламенты отменяют *lettres de cachet*; французы получают свободу из рук короля, и это явится “счастливой революцией”. “Да, друг мой, заявляю вам: у вас будет царствовать государь, который

прославит себя отменой *lettres de cachet*, созывом ваших Генеральных штатов и в особенности восстановлением истинной религии. (...) Может быть это время уже пришло; по крайней мере, несомненно, что ваш суверен способен на сей великий труд Я полагаю, что он этим займется”. В этом письме, написанном за восемь месяцев до созыва первого собрания нотаблей и до начала публичной дискуссии о необходимости глубоких социально-политических реформ, уже содержатся основные элементы предреволюционного антиабсолютистского дискурса: во Франции нет свободы, царит чудовищный министерский произвол, дальше так жить нельзя, нужны реформы, необходимо гарантировать свободу личности, противостоять произволу министров способны парламенты, следует также созвать Генеральные штаты.

Дело об ожерелье повлияло и на расстановку сил внутри правящей элиты. Это влияние было двояким: дело кое-что обнаружило и кое-что изменило. Оно обнаружило, насколько далеко зашло соперничество фракций в правительстве. Короля в этот момент по сути предали два его лучших министра — Вержени и Калонн, которым он доверял больше, чем кому бы то ни было.

Кроме того, дело нанесло непоправимый удар по сложившейся в правление Людовика XVI политической структуре. Министры короля, действуя в собственных интересах и сводя личные счеты, разрушили “министерскую партию”, с помощью которой правительство руководило Парижским парламентом на протяжении первых десяти лет царствования Людовика XVI. После этого парламентская оппозиция действиям правительства усилилась, а бороться с ней стало труднее, что сказалось в недалеком будущем на печальной судьбе реформ Калонна. Прогремевшие в стенах парламента антимиистерские выпады Робера де Сен-Венсана, не говоря уже о принятом судом решении оскорбительном для королевы, явились предвосхищением борьбы парламента за гражданскую свободу и его оппозиции абсолютистской монархии в 1787—1788 гг. Скоро выяснилось, что прежнее правление стало невозможным, и для принятия плана реформ король будет вынужден созвать собрание нотаблей. В результате скандального уголовного дела возник правительственный кризис, хотя до поры до времени он еще не был очевиден.

Когда в мае 1774 г. на французский престол взошел молодой король Людовик XVI, это породило в обществе большие надежды на перемены к лучшему. В мае 1789 г. созыв Генеральных штатов снова вызвал в стране подъем энтузиазма и самые радужные иллюзии. Людовика XVI стали называть “восстановителем французской свободы”. Однако эта весна надежд уже сильно отличалась от той, пятнадцатилетней давности. Франция переживала острый революционный кризис. К нему привлекла длинная цепь событий, начало которой уходит гораздо дальше 1774 г. Он был вызван как глубинными причинами, органиче

ски связанными с самим характером монархии Бурбонов, так и осложнениями, порожденными политикой правителей Франции на протяжении XVIII в. Наконец, у него были и непосредственные предпосылки, коренящиеся в истории последних предреволюционных полутора десятилетий.

Мы рассмотрели лишь одно, очень мелкое звено этой бесконечно длинной цепи. Какую же роль сыграло отдельное маленькое, но роковое событие в судьбе страны? Этот казус пролил свет на сложившуюся ситуацию и показал, что авторитет королевы пал уже неприлично низко (а это, конечно, сказывалось и на авторитете самого короля); что даже лучшие из министров ставят личные интересы выше королевских и государственных; что среди аристократии, духовенства, в парламенте и в Париже в целом распространяются оппозиционные настроения.

Тайное стало явным, а то, что и раньше не составляло тайны, но существовало как наметившаяся тенденция, теперь превратилось в свершившийся факт. Обнаружившиеся в связи с делом об ожерелье развал “министерской партии”, строптивость парламента и полная дискредитация королевы повлияли на поведение современников в ходе дальнейших событий. Таким образом, данный казус явился ключевым эпизодом в истории формирования предреволюционного общественного мнения и предреволюционной расстановки политических сил.

Примечания

¹ Цит. по. *Эккерман И.П.* Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1986. С. 390–391.

² В этом романе дело об ожерелье изображено как результат зловещего масонского заговора под руководством Калиостро, нацеленного на свержение королевской власти во Франции.

³ Обстоятельства “дела об ожерелье” подробно изложены в письмах и воспоминаниях современников. См., например: *Campan, m-me.* Mémoires sur la vie de Marie Antoinette, Reine de France et de Navarre, suivis de souvenirs et anecdotes historiques sur les règnes de Louis XIV, de Louis XV et de Louis XVI. P., 1849. P. 207–221, 453–464; *Georgel, l'abbé.* Mémoires pour servir à l'histoire des événemens de la fin du XVIIIe siècle depuis 1760 jusqu'en 1806–1810, par un contemporain impartial. P., 1817. Т. II. P. 1–220. События, связанные с этим делом, не раз описывались и в исторической литературе. См., например:

Michelet J. Histoire de France. P., 1878. Т. 19. P. 249–296; *Campardon E.* Marie Antoinette et le procès du collier d'après la procédure instruite devant le Parlement de Paris. P., 1863 (эта книга представляет интерес тем, что в приложениях автор опубликовал материалы следствия: протоколы допросов кардинала де Рогана, мадам де Ламот, Калиостро, девицы д'Олива и Рето де Виллета); *Funck-Brentano F.* L'Affaire du collier, d'après de nouveaux documents. P., 1903; *Hardman J.* Louis XVI. Yale Univ. Press, 1993. P. 80–87.

⁴ Фридрих II, пристально следивший за действиями де Рогана, обратил внимание и на его вызывающее поведение, и на его реакцию в связи с переговорами о разделе Польши. См.: *Politische Correspondenz Friedrich's des Grossen.* В. 1908. Bd. 32. S. 115, 118, 211, 424.

⁵ *Georgel, l'abbé.* Mémoires... Т. II. P. 6–9.

- 6 Влияние специфического положения этого клана при дворе на поведение Луи Рене Эдуарда де Рогана рассмотрено в статье: *Browne R. The Diamond Necklace Affair revisited: the Rohan family and court politics // Renaissance and Modern Studies. 1989. Vol. 33. P. 21–40.*
- 7 Réclamation de la noblesse de France contre les prérogatives prétendues par les maisons de Lorraine, Rohan & Bouillon, notamment aux Bals parés pour les mariages de Mss. les comtes de Provence et d'Artois. Mémoire à ce sujet. Décision du roi Louis XV, contre ces prétentions. Vers 1773 // Archives Nationales. (Далее: AN). К.Х. 1712. N 23; Observations et remarques historiques et critiques sur un ouvrage qui a pour titre "Réponse à un écrit anonyme intitulé mémoire sur les rangs et les honneurs de la Cour" // AN, KK. 619; последняя рукопись содержит перечень вышедших ранее сочинений на эту тему: Histoire de Louis XIII, 1768; *Griffet S. Traité des différentes sortes de preuves qui servent à établir la vérité de l'histoire, 1768; Mémoire sur les rangs et les honneurs de la Cour, en réponse aux trois derniers chapitres de l'ouvrage de S. Griffet, 1771; Georget S. Réponse à un écrit anonyme intitulé mémoire sur les rangs et les honneurs de la Cour, 1771.* Состоявшие на службе у Роганов публицисты, в частности секретарь и старший викарий нашего героя аббат Жоржель, доказывали происхождение их рода от иностранных венценосцев, ссылаясь при этом на почести, оказывавшиеся Роганам прежними королями. Противники особых привилегий Роганов настаивали на том, что доказательствами королевского происхождения могут служить только подлинные исторические документы и даже воля государя, при всем уважении к ней, бессильна даровать какой бы то ни было семье происхождение более высокого, чем оно есть на самом деле.
- 8 О компетенции верховного омонье см.: *Georget, l'abbé. Mémoires... Т. II. P. 33–34.*
- 9 *Ibid.* P. 35–37.
- 10 Современники и историки обычно называют Ламота графом, но, по свидетельству Ф. Функ-Брентано, во всех сохранившихся актах гражданского состояния он квалифицируется как просто дворянин, экоййе (*Funck-Brentano F. Op. cit. P. 73–75*).
- 11 Premier interrogatoire de M. le cardinal de Rohan // Campardon E. Op. cit. P. 207–208.
- 12 Premier interrogatoire de M. le cardinal de Rohan // *Ibid.* P. 209; Interrogatoire de la fille Leguay, dite d'Oliva // *Ibid.* P. 353–356.
- 13 Первая камеристка королевы, мадам Кампан, подробно описывает всю эту историю со множеством трогательных деталей, призванных доказать добропорядочность Марии Антуанетты и ее полную непричастность к афере с ожерельем. *Campan, m-me. Op. cit. P. 208–210, 453–454.*
- 14 Premier interrogatoire de M. le cardinal de Rohan // Campardon E. Op. cit. P. 210–211.
- 15 Об условиях сделки и обстоятельствах ее заключения подробно говорится в докладной записке, поданной ювелирами на имя королевы (Mémoire remis à S. M. la Reine, le 12 Août 1785 // Bibliothèque de l' Arsenal. Archives de la Bastille. 12.459. Affaire du collier. P. 17–22), и в показаниях кардинала де Рогана (Premier interrogatoire de M. le cardinal de Rohan // Campardon E. Op. cit. P. 210–214).
- 16 Ей полагалось бы написать: "Мария Антуанетта Австрийская".
- 17 Vie de Jeanne de St. Remy de Valois, ci-devant comtesse de la Motte, écrite par elle-même. P., l'an premier de la République Française. Т. I. P. 357–359.
- 18 *Michelet J. Op. cit. P. 263–271.*
- 19 *Michelet J. Op. cit. P. 213–214, 457–458; Georget, l'abbé. Mémoires... Т. II. P. 66–70.*
- 20 Mémoire remis à S.M. la Reine, le 12 Août 1785.
- 21 См. депешу русского посла в Париже И.М. Симолина вице-канцлеру И.А. Остерману от 8/19 августа 1785 г.: Архив внешней политики Российской империи. Ф. 93. Оп. 6. Ед. хр. 428. Л. 43 (Далее: АВПРИ). Депеши Симолина представляют для нас особый интерес в связи с

тем, что писались по горячим следам событий. Поэтому при расхождении в изложении отдельных фактов ему отдается предпочтение перед мемуаристами, описывавшими случившееся много лет спустя (в частности, мадам Кампан, описывая допрос в кабинете короля, включила Верженна в число его участников: *Campan, m-me*. Op. cit. P. 459).

²² Государственный секретарь иностранных дел.

²³ *Campan, m-me*. Op. cit. P. 459.

²⁴ *Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau avec l'Empereur Joseph II et le prince de Kaunitz*. 2 Vol. P., 1889—1891. Vol. I. P. 448.

²⁵ Делеша от 8/19 августа 1785 г. // *АВПРИ*. Ф. 93. Оп. 6. Ед. хр. 428. Л. 43.

²⁶ *Darnton R. The mémoires of Lenoir, lieutenant de police of Paris, 1774—1785* // *The English Historical Review*. 1970. N 336. P. 541—543.

²⁷ *Ibid*. P. 453.

²⁸ *Funck-Brentano F.* Op. cit. P. 247—250.

²⁹ "Они, — пишет Симолин, — совершили увеселительное путешествие в Лион, где г-н Калиостро намеревался устроить кардиналу ужин с г-ном Вольтером и г-ном Монтескье; но арест его Высокопреосвященства расстроил это приятное развлечение" (Делеша Симолина от 15/26 августа 1785 г. // *АВПРИ*. Ф. 93. Оп. 6. Ед. хр. 428. Л. 59).

³⁰ *Premier interrogatoire de Madame de Lamotte*. 21—25 janvier 1786 // *Campardon E.* Op. cit. P. 313—315.

³¹ *Premier interrogatoire de M. le cardinal de Rohan*. 31 janvier 1786 // *Ibid*. P. 251—253.

³² *Interrogatoire du sieur de Cagliostro*. 30 janvier 1786 // *Ibid*. P. 337—350.

³³ *Georgel l'abbé. Mémoires...* Т. II. P. 45—53.

³⁴ "Мы проповедуем и учим, что власть наших Королей является независимой, универсальной и полной по отношению ко всем объектам, на которые она должна распространяться ради сохранения общественного порядка... — заявлял в своей речи председатель генеральной ассамблеи духовенства архиепископ Нарбоннский. — Мы вовсе не собираемся требовать

привилегий, которые были бы несовместимы с этими фундаментальными истинами. Но мы будем смело требовать тех, которые даны нам Законами, Королями и нацией..." (*Discours de M. L'Archevêque de Narbonne* // *АВПРИ*. Ф. 93. Оп. 6. Ед. хр. 428. Л. 95. Копии этого и следующего документов были пересланы Симолиным в Петербург в сентябре—октябре 1785 г.). В том же духе было выдержано и адресованное королю письмо ассамблеи духовенства. Настаивая на том, что "епископ подсуен только епископам", священнослужители продолжали: "Такова, Сир, привилегия, которой мы требуем; ее происхождение древнее, чем установление Монархии; до нас она неизменно передавалась из поколения в поколение, и за это наследие мы отвечаем перед нашими потомками.

Она покоится на законных основаниях; она была дарована не временно и не частным лицам, но навсегда и всему первому сословию Вашего Королевства; таким образом, она неизменна и не может быть произвольно отнятой; как все драгоценнейшие права Граждан, она неизменно пребывает под вашим Королевским надзором и покровительством, и именно в этом важнейшая причина нашего почтительного доверия" (*Copie de la lettre de l'assemblée du Clergé au Roy* // Там же. Л. 123).

³⁵ *Hardman J.* Op. cit. P. 82.

³⁶ Об этом сообщал Симолин в делеше от 23 февраля/6 марта 1786 г. // *АВПРИ*. Ф. 93. Оп. 6. Ед. хр. 438. Л. 47.

³⁷ Там же. Ед. хр. 428. Л. 44.

³⁸ *Mercy à Marie-Thérèse*. 16 avril 1777 // *Marie-Antoinette: Correspondance secrète entre Marie-Thérèse et le comte de Mercy-Argenteau*. 3 Vol. P., 1875. Vol. 3. P. 40—41.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ По мнению автора публикации, это был Ж.Л. Фавье, занимавший место личного секретаря у разных высокопоставленных лиц и пользовавшийся покровительством Верженна.

⁴¹ *Correspondance secrète inédite sur*

- Louis XVI, Marie-Antoinette, la cour et la ville de 1777 à 1792 publiée d'après les manuscrits de la Bibliothèque impériale de Saint-Pétersbourg par M. de Lescure. T. 1—2. P., 1866. Т. 1. P. 36—37.
- 42 О “министерской партии” см.: *Hardman J.* Op. cit. P. 71—72, 85—87.
- 43 Деша от 8/19 декабря 1785 г. // АВПРИ. Ф. 93. Оп. 6. Ед. хр. 428. Л. 227.
- 44 Деша от 9/20 февраля 1786 г. // Там же. Ед. хр. 438. Л. 37.
- 45 *Funck-Brentano F.* Op. cit. P. 254.
- 46 У Калонна могли быть и свои, особые причины вставлять палки в колеса де Бретёю. Он надеялся таким образом отправить барона в отставку и занять его место. Калонну лучше, чем кому бы то ни было в стране, было известно плачевное состояние финансов, и ему хотелось бы, пока кризис еще не разразился, перейти из генерального контроля в более спокойное в такой обстановке министерство королевского двора (свидетельства современника об этих планах Калонна см.: *Hardman J.* Op. cit. P. 82).
- 47 *Funck-Brentano F.* Op. cit. P. 347—349; *Hardman J.* Op. cit. P. 82—87.
- 48 Mercy à Joseph II. 27 décembre 1785 // Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau... Vol. 1. P. 473.
- 49 Симолин, заметив, что дело кардинала де Рогана “привлекает к себе любопытство и внимание всех европейских дворов своей сложностью и необычностью”, переслал в Петербург мемуары мадам де Ламот, Калиостро, девицы Олива, кардинала де Рогана и другие материалы дела (см.: АВПРИ. Ф. 93. Оп. 6. Ед. хр. 438. Л. 72, 137—140, 160). Сразу же после публикации во Франции этих сочинений стали появляться их русские переводы. См., например: Возражение со стороны Графини де Валуа-ла Мотт, на оправдание Графа де Калиостро. В Санкт-Петербурге печатано с дозволения Указного, у Шнора 1786 года (название брошюры дано с сохранением особенностей орфографии оригинала).
- 50 О памфлетной кампании против Марии Антуанетты см. специальное исследование: *Thomas Ch.* La reine scélérate: Marie Antoinette dans les pamphlets. P., 1989. P. 57—65, 135—138.
- 51 Верженн добился его экстрадиции (*Funck-Brentano F.* Op. cit. P. 255—256, 260—261).
- 52 Deuxième interrogatoire de Rétaux de Villette. 5 mai 1786 // Campardon E. Op. cit. P. 384—386; Troisième interrogatoire de Rétaux de Villette. 1 mai 1786 // Ibid. P. 409.
- 53 Deuxième interrogatoire de madame de Lamotte. 8—11 mai 1786 // Ibid. P. 389—402.
- 54 *Georgel, l'abbé.* Mémoires... Т. II. P. 196.
- 55 Mercy à Joseph II. 23 mai 1786; Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau... Vol. 1. P. 24—25.
- 56 О приговоре и о том, как он был вынесен, см.: *Funck-Brentano F.* Op. cit. P. 324—326, 332—338. Обо всем этом подробно написал Симолин: депеше от 22 мая/2 июня 1786 г. (АВПРИ. Ф. 93. Оп. 6. Ед. хр. 438. Л. 167—168).
- 57 Вилета следовало наказать гораздо строже, так как он был виновен: подделке писем королевы, т. е.: оскорблении величества; абба Жоржель обоснованно связывал странню мягкий приговор ему, оправданием кардинала: все именно признания Рето де Виллет сняли с кардинала подозрения: соучастия, и это обстоятельство могло привлечь судей на сторону Вилета (*Georgel, l'abbé.* Mémoires Т. II. P. 199).
- 58 *Funck-Brentano F.* Op. cit. P. 334—335.
- 59 Mercy à Joseph II, 12 juillet 1786; Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau... Vol. 2. P. 32—33.
- 60 Мадам Кампан в своих мемуарах также упоминает некий попавший в руки королеве список членов парламента с указанием, каким именно образом друзьям кардинала удалось заполучить их голоса. По словам Кампан, приманкой для почтенных судей служил главным образом женщины и крупные суммы денег (*Campan, Mme.* Op. cit. P. 463—464).

- ⁶¹ Ibid. P. 35–36.
- ⁶² С кланом Морела у Роганов были многочисленные семейные и личные связи (*Brownie R.* Op. cit. P. 24). Не будем забывать, что в свое время покойный “ментор” короля граф де Морела в немалой мере содействовал блестящей карьере Луи де Рогана.
- ⁶³ *Mercy à Joseph II. 12 juillet 1786 // Correspondance secrète du comte de Mercy-Argenteau... Vol. 2. P. 36.*
- ⁶⁴ Дешета от 12/23 июня 1786 г. // *АВПРИ. Ф. 93. Оп. 6. Ед. хр. 438. Л. 191.*
- ⁶⁵ *Georgel, l'abbé. Mémoires... Т. II. P. 208–209.*
- ⁶⁶ Ibid.
- ⁶⁷ *Campardon E.* Op. cit. P. 171–178.
- ⁶⁸ *Vie de Jeanne de St. Remy de Valois, ci-devant comtesse de la Motte... écrite par elle-même. Т. 1–2. 2-ème éd. P., l'an premier de la République Française.*
- ⁶⁹ Ibid. Находившаяся в это время во Франции Наталия Петровна Голицына посвятила делу об ожерелье несколько страниц своего дневника и поведала о разного рода слухах, распространенных во французском высшем обществе. Голицына напрямую связывает угрозы Ламота опубликовать памфлет под названием “Секреты Антуанетты”, беспрепятственный побег его жены из Сальпетриера и последовавшую затем поездку герцогини де Полиньяк в Англию с целью уладить дело и купить опасную рукопись. См.: *Голицына Н.П. Remarques sur mes voyages (дневник путешествия по Европе 1783–1790 гг.) // Отдел рукописей РГБ. Ф. 64. Вязёмы. К. 113. Ед. 1. Л. 68.*
- ⁷⁰ *Michelet J.* Op. cit. P. 294; *Larousse. Grand dictionnaire du XIXe siècle. Т. 4. P. 618.*
- ⁷¹ *Campardon E.* Op. cit.; *Chaix d'Est-Ange. Marie Antoinette et le procès du collier. Suivi du Procès de la reine Marie Antoinette. P. 1889; Funck-Brentano F.* Op. cit. Как заявил Кампардон, цель его научных исследований — “отомстить за королеву и очистить ее от клеветы, которую распространяли против нее современники и с чрезмерной готовностью подхватили сейчас некоторые историки” (*Campardon E.* Op. cit. P. VII).
- ⁷² *Michelet J.* Op. cit. P. 249–296; *La Grande Encyclopédie. Т. 11. P. 967–969; Larousse. Op. cit. P. 614–618.*
- ⁷³ См., например: *Campan, m-me.* Op. cit. P. 219.
- ⁷⁴ *Michelet J.* Op. cit. P. 293.
- ⁷⁵ *Georgel, l'abbé. Mémoires... Т. II. P. 66–68.*
- ⁷⁶ В частности, он переносит ночное свидание на лето 1785 г., когда ожерелье уже было приобретено (Ibid. P. 81–85). По мнению Жоржеля, это свидание имело целью убедить кардинала в том, что договор о продаже ожерелья был подписан королевой. Однако, согласно показаниям на допросе самого кардинала и других участников ночной сцены, она имела место годом раньше, т. е. летом 1784 г., задолго до начала каких бы то ни было разговоров об ожерелье (*Premier interrogatoire de M. le cardinal de Rohan // Campardon E.* Op. cit. P. 209; *Premier interrogatoire de Rétaux de Vilette // Ibid. P. 361–363*).
- ⁷⁷ Предположение, что Мария Антуанетта участвовала в интриге против Рогана, если и снимает какие-то вопросы, то при этом ставит новые. Как мог король вынести это дело на суд парламента, зная об участии в нем своей супруги? Или король ничего не знал? Почему в таком случае королева с ним не объяснилась и поставила на карту свою репутацию?
- ⁷⁸ *Funck-Brentano F.* Op. cit. P. 1.
- ⁷⁹ В этом убеждает цитированное выше исследование Ш. Тома (*Thomas Ch.* Op. cit.).
- ⁸⁰ *Traduction d'une lettre écrite par M-r le C-te de Cagliostro à M... // Bibliothèque de l' Arsenal. Archives de la Bastille. 12. 457. Affaire du collier. P. 21–22.*
- ⁸¹ Нельзя, разумеется, утверждать, что “министерская партия” в парламенте была уничтожена исключительно в результате дела об ожерелье. Но дело в немалой мере этому способствовало. Во всяком случае, до процесса над Роганом эта

партия еще существовала, и сам факт ее существования явился одним из мотивов, побудивших де Бретёя и Людовика XVI вынести дело на суд парламента. Вскоре после процесса от “министерской партии” не осталось и следа. Хара-

ктерно, что историк, исследовавший парламентскую оппозицию абсолютизму в предреволюционные 1787–1788 гг., уже не упоминает о ней (*Egret J. La Pré-révolution française. 1787–1789. P., 1961 P. 147–203*).

Л.А. Пименова

Был ли заговор роялистов?

(Жозеф Кайо
и дело “Аксьон франсэз”)

В ночь на 28 октября 1917 г. по приказу военного губернатора Парижа, дивизионного генерала Дюбайля, полиция произвела обыски в редакции газеты “Аксьон франсэз”, где размещалась штаб-квартира одноименного монархического движения, дома у руководителей этого движения, а также в помещениях, занимаемых родственными организациями. В тот же день военный комендант официально известил прокурора республики о действиях полиции. Он сообщил, что захваченные во время обысков предметы и документы, по его словам, “свидетельствуют о правонарушениях, предусмотренных статьей 91 уголовного кодекса и законом от 24 мая 1834 г.” Юридические нормы, на которые ссылался генерал Дюбайль, касались судебного преследования лиц, обвиненных в хранении оружия и подстрекательстве к гражданской войне в целях свержения государственного строя. Поскольку, по мнению военного губернатора, установленные в ходе дознания факты относились к компетенции гражданской юстиции, он принял решение направить все относящиеся к делу материалы в распоряжение прокурора республики.

На следующий день газеты опубликовали официальное сообщение о том, что в ходе операции, предпринятой полицией, обнаружено “несколько нелегальных складов оружия, созданных во время войны”, а также документы “чрезвычайной важности”. Сообщалось о начале следствия по делу о “покушении на развязывание гражданской войны путем вооружения одних граждан против других”.

Эти события положили начало крупному политическому скандалу, который всколыхнул общественное мнение Франции, взбудоражил политические круги и непосредственно привел к самому серьезному правительственному кризису за время войны, связанному с приходом к власти Жоржа Клемансо. Все это, на наш взгляд, является достаточным основанием для того, чтобы дело “Аксьон франсэз” заняло “почетное” место среди других знаменитых скандалов Третьей республики — Панамского,

1

2

3

дела Дрейфуса (которое тоже начиналось со скандала – выплывшей наружу заведомой судебной подтасовки) или дела Стависского.

Вообще говоря, вопрос о “роли скандалов в истории” заслуживает самого пристального внимания. Тем более если речь идет о Франции, где они весьма часто служили формой – что и говорить, своеобразной – выражения и разрешения политических противоречий. Порой они позволяли одним ловким движением склонить в ту или иную сторону колеблющиеся симпатии избирателей, загнать в тупик или, наоборот, вывести из тупика любое начинание. Не говоря уже о том, что для заносчивых политиков скандалы представляли идеальный способ подняться в глазах общественного мнения или, напротив, “уронить” своего противника. Воздействуя не столько на разум сколько на эмоции людей, скандалы усиливали элемент непрезказуемости в политике, позволяя случайным, на первый взгляд, обстоятельствам корректировать, и порой весьма существенно, ход событий.

Несмотря на то что дело “Аксьон франсэз” сыграло немаловажную роль в исходе политического кризиса, разразившегося во Франции летом и осенью 1917 г., упоминания о нем мы не встретим в учебниках по истории Франции. Даже более подробные книги ограничиваются лишь скухими упоминаниями о нем. Откуда такая забывчивость? И почему вообще столь избирательна память современников, которые во многом формируют представления по крайней мере одного-двух следующих поколений о современной истории?

Вопросы более чем уместные. Но если попытка разобраться во втором из них, пожалуй, слишком далеко увела бы нас от темы данного исследования, то на предыдущий мы все же попытаемся ответить. Первая мировая война, хотя и закончилась победой Франции, обошлась стране и народу очень дорого. Людские и материальные потери были огромны, непомерны. Глубокий след война оставила и в общественном сознании. Она потребовала напряжения сил и ресурсов всей страны, всего народа. Не случайно еще в ходе самой войны родилось ее определение как тотальной. Впервые в истории все население в воюющих и даже нейтральных странах оказалось в разной мере, но всегда ощутимо к ней причастно. Не составляла исключения и Франция, граждане которой в своем большинстве были психологически глубоко травмированы войной. Поэтому даже много лет спустя после ее окончания они не могли относиться к ней спокойно и рассудительно.

Общественное мнение Франции после войны как бы раскололось надвое. Часть французов считала, что самое главное – это завоеванная победа, “победа любой ценой”, на которую можно списать все допущенные во имя ее ошибки. Другие были настроены более критически к войне, о чем свидетельствовал

резкий рост пацифистских настроений в 20-е и 30-е годы, отмеченный историками. Но и они не хотели беречь раны, ограничиваясь моральным осуждением войны как вечного зла. Поэтому во Франции непосредственно после войны не имели особого успеха журналисты и политики, спешившие свести счеты с историей. Во всяком случае, сенсационные “разоблачения” в прессе и даже реабилитационные процессы по судебным делам военного времени не сильно взволновали публику и не стали предметом партийных препирательств. Как нам кажется, это наложило отпечаток и на французскую историографию середины XX в. В работах того времени о Третьей республике отчетливо ощутима тенденция рассматривать войну как некую паузу в политическом развитии страны. Что, конечно же, было неверно и с тех пор опровергнуто целым рядом блестящих исследований, простое перечисление которых заняло бы слишком много места.



Портрет
Жозефа Кайо

Но были, разумеется, и другие, конкретные причины того, почему дело “Аксьон франсэз”, затеянное следственными органами в октябре 1917 г., не смогло надолго удержать внимание

публики. Буквально в эти же дни сознание французов потрясли грозные события международной жизни, чреватые самыми тяжелыми последствиями для их страны. 26 октября в результате наступления австро-германских войск рухнул итальянский фронт. Отступление итальянцев напоминало паническое бегство. Возникла угроза выхода Италии из войны. И одновременно из Петрограда пришли известия о большевистском перевороте и намерении нового правительства заключить “всеобщий демократический мир”. Во Франции это было воспринято как недвусмысленное свидетельство готовности правительства большевиков заключить с Германией сепаратный мир.

До сих пор французам придавало бодрости сознание того, что, как бы ни было им трудно, все же их окружали союзники и друзья, на которых можно было в крайнем случае опереться. И вдруг они осознали грозящую им перспективу войны в Европе один на один с Германией (участие Великобритании в боевых действиях на Западном фронте они считали недостаточным, а США, по прогнозам, могли оказать существенную помощь войсками не раньше середины 1918 г.). Эти международные события естественно оттеснили на второй план политический инцидент, который при других обстоятельствах способен был наделать немало шума.

Да и сам инцидент с “Аксьон франсэз” оказался на редкость скоротечным. Не успели читатели газет посмаковать подробности этого весьма щекотливого дела (еще бы! обвинение одного из крупнейших оппозиционных движений в антигосударственном заговоре, причем в военное время), как 5 ноября 1917 г. оно было прекращено “за отсутствием состава преступления”. Правда, в истории Франции часто случалось, что решение судебных инстанций отнюдь не ставило в том или ином “скандальном” деле точку, а лишь переводило его из юридической в политическую плоскость. Вспомним самые известные примеры — тот же Панамский скандал или дело Дрейфуса. Но всякий раз это было результатом энергичных усилий влиятельных сил, заинтересованных именно в таком повороте событий. Раздуть же политическое дело “Аксьон франсэз” оказалось некому. Лица, лично и политически в нем заинтересованные, сами еще до конца года угодили под следствие. Над ними нависли столь тяжкие обвинения, что они сразу и надолго потеряли всякий интерес к делу о заговоре роялистов.

Мы имеем в виду прежде всего бывших председателя совета министров Жозефа Кайо и министра внутренних дел Луи Мальви, на которых пали подозрения — ни мало ни много — в измене. 22 декабря 1917 г. Кайо по представлению все того же генерала Дюбайля был лишен парламентской неприкосновенности, а 14 января следующего года арестован. Мальви 22 ноября 1917 г. сам изъявил желание предстать перед верховным судом (сенатом, наделенным, согласно конституционным законам 1875 г.,

высшей судебной властью), чтобы опровергнуть выдвинутые против него обвинения. Оба они столь печальным поворотом в своей личной судьбе были в немалой степени обязаны проискам “Аксьон франсэз”. Но если Мальви, как мы увидим, прямо в деле о заговоре роялистов замешан не был, то Кайо, напротив, фактически его инспирировал. Это и побуждает нас прежде всего разобраться в мотивах его поступков.

По роду своих занятий и интересов Кайо, а он был предпринимателем-финансистом и специалистом в области экономической политики, выглядел типичным политиком правого толка. Собственно, он и начал свою политическую карьеру в 90-х годах предыдущего столетия в рядах умеренно правой (по французским понятиям) прогрессистской партии. Но настойчивой борьбой за введение во Франции прогрессивного подоходного налога он создал себе репутацию человека левых убеждений. Накануне войны Кайо был избран председателем официальной партии радикалов. Впрочем, не он один во Франции начала XX в. сделал политическую карьеру в рядах левой партии. Эта своего рода “детская болезнь левизны”, с точки зрения французских политических нравов, отнюдь не считалась ни смертельной, ни постыдной. Зато большие нарекания, хуже того – ненависть, вызывал у националистов внешнеполитический курс Кайо. Со времени Агадирского кризиса 1911 г. (который он, занимая в ту пору пост председателя совета министров, сумел урегулировать ко взаимному удовлетворению Франции и Германии) он воспринимался общественным мнением как сторонник соглашения с Германией. Кайо действительно не одобрял союза Франции с Великобританией и Россией, выступая за сближение со странами Южной Европы при условии мирного сотрудничества с Германией.

Скандал, затеянный накануне мировой войны газетой “Фигаро” с целью опорочить Кайо и столь драматически завершившийся убийством директора этой газеты Гастона Кальметта и судом над мадам Кайо, его убийцей, нанес серьезный политический ущерб нашему герою. Уйдя по соображениям парламентской этики в отставку с поста министра финансов в марте 1914 г., он внезапно остался не у дел. Поэтому все перипетии начала войны, сопровождавшиеся перераспределением министерских портфелей, Кайо пережил в качестве стороннего наблюдателя, а не участника событий. В коалиционных кабинетах “священного единения” ему, естественно, не нашлось места. Более того, крупный политик с репутацией пацифиста и поборника франко-германского сближения вообще оказался лишним в то время в Париже. Под благовидным предлогом правительство поспешило избавиться от его присутствия. Осенью 1914 г. ему было поручено отправиться с миссией в Южную Америку, официально по заданию министерства торговли. Но в политических кругах поговаривали, что сделано это было по предложению ми-

6

7

8 нистра внутренних дел Мальви, на которого оказали давление парламентарии-радикалы, озабоченные репутацией своего партийного лидера. Во всяком случае, Кайо не противился новому назначению и невозмутимо отправился в заграничное турне.

Трудно сказать, догадывался ли он о том, что, ступив на борт судна, отплывавшего в Рио-де-Жанейро, он попал под неусыпное наблюдение французской военной контрразведки. Ее функции, наряду с разведкой, выполняло в годы войны особое подразделение генерального штаба армии Франции — 2-е Бюро (которому подотчетны были, в частности, французские военные атташе, возглавлявшие агентурную сеть за границей). Знай он об этом, вряд ли внимание названного ведомства обрадовало бы Кайо, потому что со стороны генерального штаба армии, слышавшего оплотом консервативных сил, он явно не мог рассчитывать на поблажки, как, допустим, со стороны гражданской службы безопасности — Сюрте генераль, действовавшей в рамках министерства внутренних дел, возглавляемого радикалом Мальви. Как бы то ни было, Кайо вел себя за границей достаточно беспечно, открыто, например, встречаясь с людьми, которых 2-е Бюро подзревало в “германофильстве”. Будь он осмотрительней, он, очевидно, избавил бы себя от многих неприятностей в будущем. Ибо контрразведка усмотрела в поведении Кайо преступный умысел — намерение установить тайные связи с Германией — и проявила столь пристальный интерес к его международным контактам (во время войны он выезжал несколько раз также в Италию), что к концу 1917 г. накопила массу компрометирующей его информации: сообщений агентов, всякого рода слухов и допущений, даже откровенных оговоров недоброжелателей. В дальнейшем эти материалы легли в основу следственного дела Кайо.

9 Первые два — два с половиной года войны Кайо и сам держался подальше от столичной политической сцены, редко появляясь даже в палате депутатов, место в которой он сохранил на выборах 1914 г. Большую часть времени он проводил в городе Мамер (деп. Сарта), своем избирательном округе, занимаясь местными делами: разбирал жалобы и просьбы избирателей, ходатайствовал по их делам перед столичными властями, помогал администрации в устройстве госпиталей для раненых, организации помощи военнопленным и размещении беженцев из оккупированных департаментов. Казалось бы, его противники должны были этому только радоваться. Но слишком уж демонстративно он отошел в сторону, как бы сняв с себя ответственность за происходящее, чтобы в его позиции не просматривался скрытый вызов властям. Поэтому всякий раз, когда он пытался напомнить стране о себе как о политике первого плана, в правительственных верхах возникал небольшой переполох.

Следует пояснить, что правительство Франции в первые годы войны основывалось на широкой коалиции политических сил, включая и правые партии, потерявшие власть во время де-

ла Дрейфуса. Это было данью духу “священного единения”, как во Франции называли политику национальной солидарности перед лицом внешнего врага. Но ключевые посты все равно остались в руках левых партий. Вместе взятые, они располагали двумя третями мест в палате депутатов, избранной накануне войны, в 1914 г. Причем, самая многочисленная фракция — треть всей палаты — принадлежала партии радикалов, образованной в 1901 г. Второй по численности — одна шестая депутатского корпуса — была фракция социалистов — членов СФИО.

Тесное сотрудничество в правительстве вчерашних непримиримых врагов давалось нелегко. Члены партий парламентского большинства, как радикалы, так и социалисты, были недовольны тем, как правительство “священного единения” справлялось со своими обязанностями, относя многие его просчеты и ошибки на счет влияния “реакционеров”. В качестве альтернативы “священному единению” они выдвигали идею возрождения Левого блока, который существовал в 1902—1905 гг., и создания правительства левого большинства. Само собой разумеется, на ведущую роль в таком правительстве естественным образом претендовал бы лидер партии радикалов. Этого-то больше всего и боялись правые националистические круги.

Вернувшись из Южной Америки, опальный политик решил опубликовать в прессе послание к своим избирателям, в котором намеревался ответить на нападки националистов по поводу его заокеанского вояжа. В парламентских кругах это было воспринято как “первый шаг к возвращению на политическую сцену” бывшего премьер-министра. Близкие к нему лица заявляли о готовности Кайо “при первой же благоприятной возможности” выступить против правительства с парламентской трибуны. Они давали понять, что он намерен “воссоздать, по мере возможности, прежний [политический] блок, бывшие участники которого проявляют озабоченность происками клерикальных и антипарламентских сил, пользующихся попустительством правительства”, и уверяли, что Кайо уже заручился поддержкой крайне левого крыла палаты депутатов (т. е. социалистов), а также части радикал-социалистов, хотя еще и далек от того, чтобы привлечь на свою сторону парламентское большинство. Не на шутку обеспокоенное правительство оказало давление на Кайо и сумело убедить его исключить из послания к избирателям то место, в котором он осуждал кабинет министров за “бездействие перед лицом клеветнической кампании... которая равносильна прямому подстрекательству к убийству”. В исправленном виде этот документ и был опубликован в печати.

10

11

На том инцидент был исчерпан. Но Кайо еще не раз с тех пор довелось испытать неприязнь официальных кругов и даже ненависть националистов. В августе 1916 г., находясь на отдыхе в Виши, он едва не подвергся линчеванию беснующейся толпы и с тех пор вообще избегал появляться в людных местах.

Летом 1917 г., когда Франция проявляла отчетливые признаки усталости от войны, а политические круги пребывали в растерянности перед лицом перемен, происходивших на международной арене и внутри страны, Кайо решил, что настала пора действовать. И верно, трудно было бы выбрать более подходящий момент для его возвращения к власти. Ведущие политики — Рене Вивиани, Аристид Бриан, Александр Рибо и др., — в течение трех лет стоявшие у руля управления страной, потеряли доверие парламента и граждан. Едва ли не повсеместно ощущалась необходимость серьезной “реконструкции” как самого правительства, так и правительственного большинства. При этом в рядах левых партий и движений, особенно среди социалистов, усилились пацифистские настроения, наглядным выражением которых явилось решение СФИО принять участие в конференции Интернационала для обсуждения условий всеобщего мира.

12 По всей видимости, Кайо был как раз тем человеком, который мог возглавить коалицию недовольных нынешним правительством и его политикой. На случай прихода к власти у него в общих чертах была готова и альтернативная программа действий, известная под названием “Рубикон”, которую он набросал на бумаге в несколько приемов где-то между 1915 и 1917 гг. Она предусматривала установление эффективного гражданского контроля над военным командованием, подготовку мирных переговоров и пересмотр конституции, включая проведение референдумов по важнейшим вопросам политической жизни, таким, как заключение мира или объявление мобилизации.

13 Политическая премьера Кайо была намечена на 27 июня 1917 г., когда в Париже состоялась учредительное собрание нового общественного движения — Республиканской лиги. Незадолго до этого, 23 июня, ее организаторы распространили “Обращение к гражданам”.

14 Это один из редких документов, дающих представление о политической линии Кайо в годы войны. В нем говорилось:

15 “Под покровом священного единения... ведется неутомимая пропаганда против республики. В вину республиканским учреждениям ставят ошибки и несчастья, которые на самом деле происходят как раз от того, что слишком часто эти учреждения бездействуют. Главной мишенью нападок служит всеобщее избирательное право, иначе говоря — народный суверенитет и парламент, являющиеся его воплощением. А излюбленным оружием — клевета, умело распространяемая прессой против партий и политиков левого направления. Таким образом, пока народ сражается с германским деспотизмом, клерикальная реакция готовит ему в награду за самоотверженность ярмо такого же деспотизма”.

Целями Республиканской лиги объявлялись борьба против реакционной (в уточненной редакции обращения — цезаристской) пропаганды и демократические реформы. Эти реформы должны были дать народу “решающее слово в вопросах ведения войны”. Организаторы лиги выступали за введение некоего

общественного контроля за деятельностью парламента (не путем ли референдума, как предусматривала программа “Рубикон”?). “Мы стремимся к тому, — отмечалось в обращении, — чтобы просвещенное и активное общественное мнение направляло и поддерживало парламент, который в свою очередь контролировал бы и поддерживал правительство, являющееся его продолжением. Только так весь народ может соизмерить со своими силами и поставленными целями те жертвы, на которые он готов пойти. Только установив таким образом строгую ответственность за действия лиц, можно будет избежать ошибок и прямого обмана, проистекающих из эгоизма, тщеславия или распушенности. Только так могут быть приняты и проведены в жизнь сверху донизу, невзирая на лица, меры общественного спасения”.

Организаторы лиги требовали признания Францией демократических целей войны, провозглашенных президентом США В. Вильсоном. Их перечень прилагался: “Уничтожение тирании и милитаризма, которые являются причиной войны и основанием нашей ненависти к Германии Гогенцоллернов; предоставление всем народам права на самоопределение посредством демократических учреждений в области внутренней политики и отмены секретных договоров — в области внешней; удовлетворение чаяний тех народов или их отдельных частей, которые насильственно удерживаются под иномземным игом; учреждение действительного международного арбитража во избежание новых конфликтов; востребование [с побежденных] не военной добычи, а необходимого возмещения причиненного ущерба”. Организаторы лиги подчеркивали свое “страстное стремление к тому, чтобы без нужды ни на минуту не затягивалась эта кровавая бойня, позорящая человечество”.

Обращение заканчивалось призывом ко “всем искренним демократам” — “от умеренных республиканцев до крайне левых партий” — объединиться во имя “спасения республиканской отчизны”. И этот призыв, по всей видимости, был услышан. Во всяком случае, организаторы лиги распространили список видных представителей мира политики, экономики, науки и культуры, которые согласились войти в состав руководящего комитета создаваемой организации. Среди них — более двух десятков членов парламента, главные редакторы левых газет антивоенной направленности, таких, как: “Бонне руж” (Bonnet Rouge), а также “Пэйи” (Pays), “Пёплъ” (Peuple), “Транше републикен” (Tranchée républicaine), “Лантерн” (Lanterne), “Насьон” (Nation), “Канар аншене” (Canard Enchaîné) и др., председатель Лиги защиты прав человека и гражданина профессор Сорбонны Виктор Баш, писатели А. Барбюс, Поль Брюла, Мишель Корде, Виктор Маргерит и А. Франс, художник Лемордан, скульптор О. Роден, наконец, известный промышленник, председатель одного из парижских окружных комитетов партии радикалов Мареско [Marescaut]. Естественно, более других обращало на себя внима-

ние в этом списке имя Кайо, который, как предполагалось, должен был возглавить новую лигу.

Однако политическая премьера Кайо с треском провалилась. Пресса, очевидно не без подсказки цензуры, очень влиятельного учреждения во время войны, вяло отреагировала на создание Республиканской лиги. Большинство газет кратко сообщили об этом событии, воздержавшись от каких-либо комментариев. Лишь некоторые из “патриотических” изданий в завуалированной форме выражали тревогу по поводу рождения нового политического движения. Например, “Фигаро” многозначительно вопрошала, означает ли создание лиги “уступку капитулянтским настроениям или же стремление к достижению полной победы над противником”. За годы войны люди привыкли читать между строк, и разнообразные риторические фигуры, к которым прибегала подцензурная пресса, давно никого не удивляли. Хуже было другое. Не прошло и дня после учредительного собрания лиги, как последовали опровержения от лиц, упомянутых среди членов ее руководящего комитета. По данным полиции, на 5 июля 1917 г. “заявления о выходе из рядов Республиканской лиги приобрели массовый характер”.

Вряд ли подлежит сомнению, что эта волна самоотводов была инспирирована правительством, которое с нескрываемым раздражением отнеслось к притязаниям Республиканской лиги на власть. Глава кабинета министров Рибо еще 28 июля заявил президенту республики Пуанкаре, что собирается ее запретить. Насколько нам известно, до формальных санкций против этой организации не дошло. Можно предположить, что, как обычно, правительство прибегло к другим, косвенным методам давления на оппозицию, например, по линии официального руководства партий или парламентских фракций, представленных в кабинете министров, а также министерства внутренних дел.

В этих условиях Кайо счел за лучшее не искушать судьбу и покинуть тонущий корабль. Брошенная на произвол судьбы Республиканская лига скончалась, так и не развернув свою деятельность. Ни единого упоминания о ней в источниках мы больше не встречали. Вместе с ней надолго был поставлен крест и на идее создания широкого, оппозиционного по отношению к “священному единению”, внепарламентского объединения левых сил.

Но от планов возвращения в правительство Кайо отнюдь не отказался. Об этом свидетельствовала его политическая речь 22 июля 1917 г. в Мамере, носившая программный характер. Потерпев неудачу с созданием массового политического движения, он попытался осуществить свои планы иными, чисто парламентскими методами.

Такую возможность предоставил ему правительственный кризис, вызванный отставкой кабинета Рибо 7 сентября 1917 г. Социалисты тогда впервые отказались от участия в правительстве, считая, что оно “не отвечает требованиям момента”. Этим

обстоятельством и поспешил воспользоваться Кайо в надежде сколотить новое парламентское большинство. На собрании фракции радикалов он добился отмены ранее принятого решения об участии пяти ее членов в новом кабинете. Но ввиду отсутствия на собрании большинства членов фракции победа Кайо выглядела столь неубедительно (его предложение было принято всего лишь 17 голосами против 4), что лишь один из кандидатов в министры подчинился партийной дисциплине. Четверо других приняли министерские портфели, и 18 сентября новый кабинет предался перед палатой депутатов.

Несмотря на очередную неудачу, Кайо не терял присутствия духа. Тактический проигрыш, казалось, обернулся для Кайо крупным выигрышем в стратегическом плане: со времени министерского кризиса в сентябре 1917 г. он стал восприниматься общественным мнением Франции как реальный кандидат на руководство страной и олицетворение левой альтернативы “священному единению”.

Благоприятным для Кайо было то обстоятельство, что во главе нового кабинета министров встал республиканский социалист Поль Пенлеве. Весьма авторитетный человек — ученый-математик с мировым именем, крупный политик, занимавший пост военного министра в предыдущем кабинете и сохранивший его за собой в новом, — Пенлеве был убежденным сторонником левоцентристской коалиции с участием социалистов. И хотя в сентябре 1917 г. социалисты не пошли за ним, он оставлял для них двери своего кабинета открытыми. Как своего рода временное, “переходное” правительство, как своеобразный мост, по которому страна могла бы перейти от “священного единения” к некоему возрожденному Левому блоку, оно более чем устраивало Кайо.

Тем более что в жизнеспособность нового кабинета во Франции мало кто верил. Общественное мнение выражало глубокое разочарование плодами политики “священного единения”. Идея создания политически “однородного” правительства находила теперь поддержку не только в левых, но и в правых политических кругах — с той только разницей, что одни выступали за “левое”, а другие за “правое” министерство. Влиятельная деловая газета “Энформасьон” так откликнулась на неудачу попыток привлечь социалистов в состав нового правительства: “Хотели создать кабинет единения. Концепция такого кабинета знала лучшие времена, хотя и тогда она не приносила ожидаемых результатов. Но эти времена прошли, и то, что вчера было единением, сегодня оказалось бы не чем иным, как разнородностью”.

Вместе с тем общественность вполне отдавала отчет в том, что привести к власти кабинет, не пользующийся поддержкой левых партий, технически невозможно: он не получил бы вотума доверия палаты депутатов. Широко распространены были и опасения относительно целесообразности сколько-нибудь резких политических перемен: коней на переправе, как известно,

не меняют. Поэтому даже лидеры правого общественного мнения, вместо того чтобы радоваться, выражали тревогу по поводу ухода социалистов из правительства. “Страна воспримет эту неожиданную новость с самой глубокой болью... — писала официальная газета “Тан”. — Как мы можем вести войну с внешним противником, если не установим мира между собой?” Один из директоров “Аксьон франсэз”, Шарль Моррас, уж на что ярый критик социалистов, но и тот считал, что социалистическая партия, “включающая народные, рабочие элементы и являющаяся довольно многочисленной партией, должна быть представлена в верхах государства”.

Близкие к отчаянию правые круги не видели приемлемого для себя кандидата в лидеры, который бы отвечал по крайней мере двум требованиям. Его поведение и взгляды за время войны не должны были оставлять ни малейших сомнений в решимости довести войну до победного конца. Вместе с тем ему следовало иметь устойчивую репутацию демократа и республиканца, которого левому большинству в парламенте нельзя было заподозрить в “реакционных происках”.

Осенью 1917 г. на роль такого лидера стал открыто претендовать Жорж Клемансо. Без преувеличения, это был самый яркий политик Франции довоенных десятилетий. Политическая карьера Клемансо началась еще в “героическую” эпоху истории Третьей республики, в годы борьбы за ее упрочение и демократизацию 70–80-х годов XIX в., когда он снискал славу главного оратора от радикал-социалистической (в ту пору крайне левой фракции) парламента. Годы и опыт поумерили его политические взгляды, но отнюдь не темперамент, за который он еще в молодости был прозван “Тигром”. Занимая в 1906–1909 гг. пост председателя совета министров, он повел энергичную борьбу с анархо-синдикалистами, пытавшимися организовать всеобщую стачку. Избранный после ухода в отставку председателем сенатской комиссии по военным делам, Клемансо добился усиления парламентского контроля за выполнением программ перевооружения армии, а с началом войны — и за действиями военного командования. Этот аспект его деятельности немало тревожил правые националистические круги, опасавшиеся “подрыва авторитета” армии. Но бескомпромиссная позиция Клемансо по вопросу о победе над Германией их весьма обнадеживала.

Убеленный сединами опытнейший политик, принадлежавший к поколению отцов-основателей Третьей республики, формально не связанный ни с одной партией, Клемансо был, несомненно, подходящей кандидатурой на роль лидера. Однако доверие к нему правые националистические круги проникли не раньше, чем сам он открыто не показал, что готов принять вызов Кайо и его единомышленников.

Отношение в обществе к Клемансо стало быстро меняться после того, как он, выступая на заседании сената 22 июля 1917

бросил в лицо министру внутренних дел Мальви: “Я упрекаю вас в том, что вы предали интересы Франции”. По иронии судьбы это заявление прозвучало в тот самый день, когда в Мамере с программной речью выступал Кайо. Слова Клемансо не вошли в официальную стенограмму, опубликованную в печати, однако молва быстро разносила их по стране, вызвав большой резонанс.

Брошенное в пылу полемики, это обвинение отнюдь не было случайным в устах Клемансо. В националистических кругах деятельность Мальви на посту министра внутренних дел, который он бессменно занимал начиная с июня 1914 г., давно вызывала беспокойство. В вину ему ставили чрезмерный либерализм в отношении активистов антивоенного и забастовочного движения. И прежде всего то, что в начале мобилизации Мальви, вместо того чтобы арестовать, как предусматривалось особым секретным планом, около двух тысяч анархистов и профсоюзных активистов, известных своими антивоенными настроениями, оставил их на свободе.

28

Справедливости ради надо отметить, что Мальви отказался от этого плана, лишь убедившись, что подозреваемые не будут препятствовать мобилизации. Его сдержанность позволила разрядить напряженность в отношениях между правительством и организованным рабочим движением, возникшую в предвоенные годы. В дальнейшем Мальви удалось наладить тесные взаимоотношения со вчерашними революционерами и антимилиаристами. Он добился того, что они длительное время воздерживались от забастовок как метода разрешения трудовых споров. Легко понять, как важно это было для страны в условиях войны. К тому же министерство внутренних дел не спускало глаз со своих “социальных партнеров”, тщательно отслеживая процессы, происходившие в рабочем движении. Об этом свидетельствуют богатейшие архивы полиции, отражающие день за днем его внутреннюю жизнь в годы войны. В настоящее время, когда эти архивы доступны для исследователей, можно со всей ответственностью утверждать, что ни о какой “утрате бдительности” со стороны Мальви не было и речи.

Глухой ропот против “мягкого” стиля его политики перерос в открытое возмущение после того, как Мальви не сумел предотвратить серьезную вспышку забастовок в Париже и других крупных городах в мае и июне 1917 г. Впечатление от этих забастовок в политических кругах Франции было тем большим, что они совпали с волной так называемых мятежей во французской армии. “Кризис неповиновения” — так военное командование определило характер этих волнений, происходивших преимущественно в форме отказа солдат починиться приказам о смене в окопах частей, отводимых на отдых. Эти отказы переполошили политиков и военных, которые в спешном порядке разработали систему репрессивных мер против “мятежников”. Однако в полном объеме их выполнять не пришлось: достаточно было

улучшить материальное положение солдат на фронте, упорядочить предоставление отпусков и т. д., как движение стремительно пошло на убыль. Едва оправившись от пережитого волнения, военное командование в лице генерала Петена поспешило переложить всю ответственность за мятежи в армии на гражданские власти, в особенности на министерство внутренних дел. Оно обвинялось в неспособности пресечь пацифистскую и “прогерманскую” пропаганду в тылу, якобы беспрепятственно проникавшую на фронт и подрывавшую моральный дух армии.

Такова подоплека тяжкого обвинения, прозвучавшего в стенах сената против Мальви. Особую весомость ему в глазах парламентариев и вообще осведомленных людей придавала позиция генералитета. Выступление Клемансо было рассчитано на непосредственный эффект и, как показали события, не осталось без последствий.

Прежде всего оно было воспринято правыми националистическими кругами как сигнал к открытому выступлению против правительства. Личность Мальви для них большого значения не имела. В их глазах он был символом обанкротившейся внутренней политики “священного единения”, а также заведомым пособником Кайо. Комментарии в правой печати на выступление Клемансо были столь единодушно подобострастны, что левосоциалистическая газета “Журналь дю пёпл” не без сарказма заметила: “Еще немного, и в его лице эта пресса будет чествовать завтрашнего гражданского диктатора”. Более серьезным симптомом явился внезапный уход в отставку 2 августа 1917 г. члена кабинета министров (в ранге государственного секретаря по делам экономической блокады) Дени Кошена, единственного в правительстве представителя консервативной “правой” группы парламента, объединявшей вчерашних (так называемых присоединившихся к республике) монархистов. А 31 августа под градом нападков был вынужден уйти из правительства и Мальви. Спустя неделю, 7 сентября, сложил свои полномочия весь кабинет министров, во главе которого стоял Рибо. Франция вступила в полосу правительственной нестабильности.

Выступление Клемансо в сенате определило и стратегию националистов в разразившемся во Франции осенью 1917 г. политическом кризисе. Они отказались принять сражение на том поле, на котором готовился дать им бой Кайо, выдвинувший лозунг “защиты республики”. Возникший конфликт они определяли не в идеологических, а преимущественно в морально-этических и юридических категориях — как борьбу здоровых “патриотических” сил страны против явных или тайных “антипатриотов” — предателей и пораженцев.

Осуществить этот маневр оказалось тем проще, что общественное мнение Франции было психологически подготовлено к такой постановке вопроса серией арестов известных лиц из мира политики и журналистики по обвинению в преступных

связях с противником. Пик арестов пришелся как раз на конец лета—начало осени 1917 г., когда газеты чуть ли не каждый день сообщали читателям все новые подробности о деятельности изобличенных шпионов. В частности, большое внимание они уделили аресту 4 августа 1917 г. директора левой пацифистской газеты “Бонне руж” Альмерейды (Виго). В его сейфе полиция обнаружила копии, снятые с секретных документов высокопоставленных лиц — генералов Жоффра и Саррайля, посла Франции в Греции Гильмена и даже президента республики Пуанкаре. Как сенсацию преподнесла пресса внезапную смерть Альмерейды в тюрьме 20 августа, согласно официальному сообщению — от гнойного перитонита. И если версия властей у многих во Франции вызвала недоверие, то заслуга в том принадлежала правой националистической печати, отметившей и такую подробность: в бумагах Альмерейды было обнаружено собственноручное письмо Кайо, благодарившего адресата за некие услуги.

Осенью 1917 г. в правой националистической печати развернулась пропагандистская “антипораженческая” кампания. “Фигаро”, например, призывала к созданию в общественном мнении “союза против предателей”. Насколько пристрастной была эта кампания, свидетельствует хотя бы то, что ее жертвами, как на подбор, оказались представители левого политического лагеря. 32

Особенно усердствовала “Аксьон франсэз”, один из директоров которой, Леон Доде, сын известного классика французской литературы, сам писатель, предпринял исключительную по дерзости акцию, которая еще более накалила политическую атмосферу. 30 сентября 1917 г. он послал президенту республики письмо, разоблачающее “предательство” Мальви. Не дождаввшись ответа, 2 октября Доде посетил следователя военной комендатуры Парижа и изложил ему свои обвинения в адрес бывшего министра в форме официального заявления.

Мы располагаем копией отчета об этом визите, который следователь, принявший Доде, направил генералу Дюбайлю. Из этого документа явствует, что свои показания Доде давал в течение девяти (!) дней. По мнению следователя, они были довольно путаными, и, чтобы “придать им немного порядка и ясности”, он сам подразделил их на четыре большие части: “1. Общие соображения о взаимоотношениях Мальви с Альмерейдой и его сообщниками; 2. Соображения также общего порядка о связях Мальви с некоторыми лицами, которых Доде считает подозрительными, и о попустительстве, которое Мальви проявлял в их отношении; 3. Чрезмерные личные траты Мальви...; 4. Ряд конкретных фактов в подтверждение обвинения о предательстве”. Суть дела следователь сформулировал так: «Мальви якобы сообщал Германии обо всех наших военных и дипломатических планах, прибегая к посредничеству шпионов из “Бонне руж”... В частности, таким образом германское военное командование получило точный план наступления на Шмен де Дам». Кроме того, 33 34

Доде ни много ни мало усматривал “руку Мальви и Сюрте женераль” в вышеупомянутых мятежах, охвативших в конце весны — начале лета 1917 г. французскую армию.

И к каким же выводам пришел следователь, терпеливо выслушав эти показания? По вопросу о том, подкрепил ли Доде свои обвинения достаточными доказательствами, следователь утверждал: “Вне всякого сомнения, нет”. Дали ли показания Доде хоть какое-то основание для возбуждения следствия по обвинению Мальви в предательстве? Его ответ гласил: “Мне также не кажется, что заявитель предоставил факты и предположения, которые могли бы лечь в основу презумпции, достаточной для принятия каких-либо мер судебного порядка”.

Итак, вопрос можно было считать закрытым? Как бы не так! Задетый за живое нелепыми нападками, гордый сознанием своей правоты и уверенный в том, что найдет поддержку у левого парламентского большинства, бывший министр внутренних дел 4 октября 1917 г. потребовал в палате депутатов обсуждения выдвинутых против него обвинений. Пенлеве был вынужден огласить письмо Доде президенту республики. Последовали бурные дебаты, во время которых Мальви произнес фразу, которая не могла не запасть в душу его друзьям и сторонникам: “Я заранее был намечен в качестве жертвы теми, кто, не сумев победить мою политическую линию, решил расправиться со мной как с человеком”. Комментируя состоявшиеся дебаты, социалистическая “Юманите” писала: “Терпение республиканцев лопнуло: они наконец поняли, что сама страна оказалась в опасности вследствие обвинений, выдвинутых против тех, кто ее возглавляет и олицетворяет”.

Хотя организаторы антипораженческой кампании избегали публичных упоминаний о Кайо, его имя было у всех на уме, и не только потому, что среди арестованных или подвергшихся поношению лиц оказалось немало его политических друзей и клиентов. Было очевидно, что, с тех пор как Кайо продемонстрировал намерение вернуться к активной политической деятельности, его враги объявили на него охоту. В этих условиях выдвинутый им в июне 1917 г. лозунг “защиты республики” спустя всего несколько месяцев, помимо своего основного политического значения — призыва к объединению всех левых сил и партий для совместных действий, приобрел и дополнительный, глубоко личный смысл — защиты политиков левого толка, ставших объектом преследования.

Эта атмосфера публичных разоблачений и доносов, захлестнувшая на какое-то время Францию после памятных “разоблачений” Леона Доде, помогает нам понять мотивы одного тоже достаточно экстравагантного поступка Кайо. Вряд ли он мог питать иллюзии относительно долговечности того хрупкого равновесия противоборствующих сил, которое установилось было во Франции во время короткого “междуцарствия” Пенлеве. Не мог Кайо и не сознавать того, что враги все ближе подбираются к нему и недалек тот

час, когда они нанесут свой удар. Время не ждало. От него требовались незамедлительные энергичные действия на опережение, способные вырвать инициативу из рук Доде и компании. Очевидно, именно так рассуждал Кайо (увы! об этом мы можем только догадываться), прежде чем отважился на поступок, который и положил начало делу о заговоре роялистов.

О том, как получилось, что полиция вдруг обнаружила у себя под носом некий заговор роялистов, мы попытаемся рассказать, основываясь на материалах следственного дела Кайо 1917–1918 гг., копию которого мы обнаружили в фонде Лиги защиты прав человека и гражданина (ЦХИДК). Это протоколы допросов самого Кайо, а также показаний других лиц, причастных к разработке дела о заговоре роялистов из “Аксьон франсэз” в октябре 1917 г., в том числе и весьма высокопоставленных — тогдашних министра внутренних дел Стега и директора Сюрте генераль Бужю.

О своей роли в этом деле рассказал сам Кайо, отвечая 2 июня 1918 г. на вопросы сенатора, члена следственной комиссии верховного суда Переса (Pérès), которого среди прочих обстоятельств жизни и деятельности бывшего премьер-министра в годы войны интересовал и этот вопрос. Как возникла эта линия следствия — вопрос особый, проливающий, на наш взгляд, свет на некоторые его существенные стороны. Но об этом позже. Пока же отметим, что следствие явно стремилось установить “злой умысел” в поведении Кайо. Материалы же дела, на наш взгляд, свидетельствуют скорее о том, что он лишь попытался сыграть “на поле противника” и — как это часто случается с непотычными (или недостаточно подготовленными) игроками — не сумел просчитать возможные последствия своих действий.

Как показал Кайо, утром 26 октября 1917 г., принимая у себя дома многочисленных посетителей, он получил визитную карточку некоего Жоссо (Josso), который отрекомендовался секретарем Леона Доде. «Я пригласил его войти, — продолжает свой рассказ Кайо. — Он мне заявил, что располагает доказательствами заговора, организованного “Аксьон франсэз” против внутренней безопасности государства. Он уточнил, что получил задание закупить в значительных количествах оружие, что знает, где это оружие хранится; он рассказал также, что ему поручено подготовить фальшивые пропуска для проезда по железной дороге и удостоверения инспекторов службы безопасности». Жоссо сказал, что мог бы передать все эти важные сведения правительству, но только в обмен на кругленькую сумму денег, которая позволит ему обеспечить в дальнейшем собственную безопасность.

Кайо, не долго думая, согласился выступить в роли посредника между доносчиком и правительственными инстанциями. В присутствии этого странного посетителя он позвонил министру внутренних дел Стегу и договорился с ним о встрече в 6 часов вечера того же дня в кабинете главы правительства Пенлеве. “Помнится, — рассказывал Кайо следователю, — в тот день

38 я выступал на съезде партии радикалов и радикал-социалистов и поэтому немного опоздал на эту встречу”. Встретившись наконец с Пенлеве и Стегом, Кайо рассказал им об утреннем визите, не умолчав и о вознаграждении, которого потребовал для себя Жоссо. По словам Кайо, в ответ от своих высокопоставленных собеседников он услышал: «Для нас это не имеет никакого значения. Если действительно “Аксьон франсэз” организовала антигосударственный заговор, то никаких денег не жалко, чтобы заплатить за эти сведения». Стег пообещал Кайо прислать утром к нему директора Сюрте женераль для переговоров с Жоссо.

Но уже спустя час после того, как Кайо вернулся домой, у него раздался телефонный звонок. Звонил Стег, чтобы предупредить, что к нему немедленно направляется директор службы безопасности Бужю. Явившись, тот заявил Кайо следующее: “Вы сообщили министру внутренних дел весьма интересные сведения, но я обязан Вас предупредить, что человек, от которого Вы их получили, хорошо известен нашей службе. Он является информатором одного из моих руководителей отделами. Стег и я посчитали, что Вам не следует принимать у себя за урядного осведомителя полиции”.

Утром следующего дня, когда Жоссо явился к Кайо, тот прямоком отправил его к директору Сюрте женераль. Но вечером Жоссо пришел к нему снова. “Я вежливо выставил его за дверь, рассказывает Кайо, — и с тех пор, я настаиваю на своих словах *я его больше не видел...* Вечером того же дня я позвонил в Сюрте женераль, чтобы узнать, был ли дан ход этому делу; мне сказали, что как раз по нему производится обыск. С дальнейшим ходом событий я знакомился по газетам. Вот и все, что касается моей роли в этом деле!”

Что во всей этой истории кажется действительно странным, так это то доверие, с каким Кайо отнесся к словам человека “по должности” принадлежавшего к стану его врагов, будто бы лично ему не знакомого и не внушавшего особого уважения ни своим общественным положением, ни характером предложений, с которыми к нему пришел. Поведение Кайо, запросто принявшего у себя “секретаря Леона Доде”, не поперхнувшись проглотившего всякий вздор о закупках оружия, фальшивых пропусках и удостоверениях и тут же поспешившего поделиться этими рассказами — с кем же? — с высшими должностными лицами, рангом никак не ниже министра и премьер-министра конечно же, выглядело подозрительным.

С большим недоверием к рассказу Кайо отнеслось и следствие, которое, по всей видимости, разрабатывало версию предварительного сговора Кайо с Жоссо и высокопоставленными государственными деятелями. Поэтому бывшего министра внутренних дел Стега следователь спросил: “Допустим, что моральный облик Жоссо вам изначально не был известен, но как вы допустили, что по делу, которое могло завершиться судебным

39

разбирательством, директор Сюрте генераль отправился на дом к г-ну Кайю, чтобы встретиться у него с неким информатором и таким образом открыть постороннему лицу, в данном случае — г-ну Кайю, некоторые обстоятельства чисто полицейской операции?” На что Стег ответил, что в его намерения никогда не входило “посвящать в обстоятельства этого дела г-на Кайю”, но что, не зная еще, что Жоссо является полицейским осведомителем, он не усмотрел “ничего предосудительного в том, чтобы г-н Бужю, который не служил в следственных органах, встретился с человеком, принятым в доме бывшего председателя совета министров”. Стег подчеркнул, что с самого начала дал указание Сюрте генераль заняться проверкой полученных сведений “теми методами, которыми эта служба обычно пользуется, не будучи связана в своих действиях чисто судебными предписаниями”. Но на вопросы следователя, интересовавшегося отношениями между Жоссо и Кайю, Жоссо и Бужю, Стег отвечать отказался, сославшись на забывчивость.

Ничего компрометирующего Кайю не удалось выяснить и благодаря показаниям бывшего директора Сюрте генераль. На вопрос следователя о том, вмешивался ли Кайю в ход дела о заговоре роялистов, Бужю ответил: “В субботу 27 октября, вечером, около 21 часа 30 минут Кайю связался по телефону с кабинетом директора Сюрте генераль. Он спросил меня о результатах обыска. Я коротко ему ответил, что нами обнаружено некоторое количество оружия. Это был мой единственный телефонный разговор с Кайю. Со времени моего прихода к нему вечером 26 октября мы больше с ним не виделись. Ни он, ни я не направляли друг другу посылных. Не состояли мы между собой и в переписке”.

Другой чиновник службы безопасности, Жан Франс, также допрошенный по делу о заговоре роялистов, по его признанию, лишь со слов самого Жоссо узнал о том, что Кайю сыграл какую-то роль в этом деле. По поручению Бужю, Франс 27 октября 1917 г. сопровождал Жоссо в его перемещениях по Парижу с целью удостовериться в том, что компрометирующие “Аксьон франсэз” материалы все еще находятся на своем месте. Когда поручение было выполнено и Жоссо подтвердил их наличие, Франс вручил ему в качестве задатка скромную сумму в размере нескольких сотен франков. Жоссо не смог скрыть своего разочарования и воскликнул: “Кайю мне обещал гораздо больше!” На вопрос о том, не был ли он удивлен, услышав имя Кайю, Франс ответил: «Я не был особенно удивлен, узнав об участии Кайю в этом деле, поскольку я знал, что он возглагал на “Аксьон франсэз” ответственность за организацию манифестации в Виши».

В интерпретации должностных лиц и самого Кайю его действия, направленные на разоблачение заговора роялистов, выглядят хотя и достаточно странными, но все же оправданными. Разве не долг всякого добропорядочного гражданина стоять на страже безопасности государства? Решительно отрицали они

и то, что Кайо вмешивался в сферу исключительной компетенции полиции, как пытались представить дело следователи. Впрочем, явное недоверие следствия к показаниям упомянутых лиц было не лишено оснований — слишком они были заинтересованы в благоприятном для себя исходе этого разбирательства. А кроме того, к тому времени, когда они представили свою версию событий, следствие уже располагало показаниями самого Жоссо, которые в существенно ином свете представляли роль Кайо в этом деле.

В отличие от вышеупомянутых свидетелей следователям не приходилось тянуть Жоссо за язык. Он рассказывал охотно, с подробностями, возвращаясь к деталям и эпизодам, пропущенным в начале рассказа. 10 мая 1918 г. Жоссо представил заблаговременно подготовленное им заявление следователю прокуратуры Нуазану. Затем в течение трех дней — 14, 15 и 16 мая 1918 г. — давал устные показания капитану Бушардону. Вот как выглядели события в изложении Жоссо.

В начале 20-х чисел октября 1917 г. (точной даты он не помнил) домой к Жоссо пришли два человека, представившиеся сотрудниками Сюрте. Назвать следователям их имена и должности Жоссо не смог, поскольку не догадался проверить их документы. Они предложили ему стать платным осведомителем полиции и сообщать обо всем, что происходит в “Аксьон франсэз”, где он служил с сентября 1916 г., выполняя, как можно понять из его слов, важные поручения. Через день-другой они явились снова и на этот раз припугнули Жоссо возможностью судебного преследования за участие в противозаконной деятельности. «Нам известно, — заявили они, — что “Аксьон франсэз” закупила оружие». Полицейские сказали, что некая высокопоставленная персона весьма заинтересована в информации об этом. Они оставили номер телефона этого лица, хотя и не назвали его имени. Лишь перелистав телефонную книгу, Жоссо узнал, что номер принадлежит Кайо.

Позвонив ему на следующее утро (26 октября), Жоссо представился просто: “Я человек, которого Вы ждете”. И был без промедления принят Кайо, хотя, как не без гордости он отмечает, “в приемной своей очереди дожидались человек двадцать”. Во время беседы с хозяином Жоссо удалось выяснить, что того интересуют не столько запасы оружия “Аксьон франсэз”, сколько компрометирующие материалы, собранные Леоном Доде на него самого. Услышав, что такие материалы действительно существуют, Кайо якобы попросил Жоссо указать полиции то место, где они хранятся, чтобы их можно было изъять во время обыска. Когда вечером Жоссо снова появился у Кайо, тот, по его словам, ему напомнил: “В особенности не забудьте о документах!”

Из показаний Жоссо явствует, что Кайо не только постоянно вмешивался в ход полицейской операции по изъятию оружия и документов “Аксьон франсэз”, но полностью ее контро-

лировал и даже в какой-то мере ею руководил. Например, от Бую, с которым он встретился на следующее утро (27 октября), Жоссо узнал, что глава кабинета министров Пенлеве якобы распорядился, чтобы обо всех обстоятельствах дела “Аксьон франсэз” докладывали лично Кайо. Жоссо отметил, что даже вознаграждение за свои услуги ему не пришлось выпрашивать: Кайо сам пообещал его щедро отблагодарить. “Я увижу Пенлеве, — пообещал он, — и постараюсь, чтобы Вам заплатили 100 тысяч франков! В случае, если Пенлеве проявит скупость, даю честное слово выплатить Вам всю сумму из своего кармана”. Если верить Жоссо, то именно по рекомендации Кайо он сразу по завершении операции уехал из Парижа в Марсель, где стал дожидаться дальнейших указаний. 46 47 48

Для оценки достоверности показаний Жоссо существенное значение имеет то обстоятельство, что он явно пытался скрыть, что уже в течение некоторого времени до описываемых событий являлся полицейским осведомителем. Лишь на прямой вопрос следователя, давшего Жоссо выговориться до конца, он неохотно признал, что с самого начала работы в “Аксьон франсэз” был связан с Сюрте женераль, куда передал пять или шесть докладов, написанных, впрочем, под диктовку Плато. Поэтому совершенно неубедителен рассказанный им эпизод с вербовкой — между прочим, важный для понимания того, как встретились и нашли общий язык два человека разного круга общения, Кайо и Жоссо. 49

Еще больше подрывает веру в его правдивость свидетельство секретаря редакции “Аксьон франсэз” Мариуса Плато, допрошенного капитаном Бушардоном 15 мая 1918 г. Плато утверждал, что Жоссо, вопреки его собственным заявлениям, никогда не был ни секретарем Леона Доде, ни вообще сотрудником “Аксьон франсэз”, куда был принят на работу в качестве шофера. Но к своим прямым обязанностям он так и не смог приступить, поскольку приобрести автомашину администрации газеты оказалось не под силу. Для руководителей “Аксьон франсэз” не было секретом то, что Жоссо по меньшей мере с января 1917 г. поддерживал связи с Сюрте женераль. Но делал он это в качестве двойного агента. “В течение некоторого времени, — указывал Плато, — он нам передавал дубликаты всех рапортов, которые готовил для комиссара Франса. Я сохранил оригиналы, написанные его рукой”. По словам Плато, учитывая отношения Жоссо с Сюрте женераль, именно ему и было поручено закупить некоторое количество оружия для “Аксьон франсэз”. 50 51

Кем же на самом деле был этот Жоссо — мелким лгунишкой, скупаемым непомерным честолюбием, или профессиональным провокатором — “слугой двух господ”? Вероятно и тем, и другим, и... третьим. Судя по документам полиции, по крайней мере со времени скандала с обыском в “Аксьон франсэз” Жоссо пользовался в глазах стражей порядка устойчивой репутацией “платного агента Кайо”. Согласно справке префектуры поли-

ции, датированной 4 февраля 1918 г., «он, вероятно, познакомился с бывшим председателем совета министров еще до обыска в “Аксьон франсэз”. Хвастаясь, что держит в руках все нити роялистского заговора, он сравнительно легко сумел втереться к нему в доверие».

52 В этой части данные префектуры полиции не расходятся ни с показаниями Плато, ни с заявлениями самого Жоссо. Первый предоставил следствию в мае 1918 г. ворох документов, подтверждающих тесные отношения между Кайо и Жоссо начиная с их совместной акции против “Аксьон франсэз”. Второй, как бы гордясь собой, сам подробно рассказал о том, что, тщетно прождав в Марселе инструкций, он дней через десять вернулся в Париж, где был снова принят Кайо, который обратился к нему с такими словами: “У Вас много знакомых в Латинском квартале? ...Наступают тяжелые времена (намек на грозившее Кайо судебное преследование. — *А.Р.*). Вероятно, придется выйти на улицы. Я нуждаюсь в людях, готовых меня защищать. Не хотели бы Вы создать группу республиканской защиты? На это я Вам предоставляю средства”. Еще дней через пять Кайо попросил Жоссо выступить в его поддержку на собрании молодых социалистов и синдикалистов. Не без тщеславия Жоссо сообщил следователям, что на деньги Кайо он напечатал и распространил листовку “К молодежи, студентам, рабочим, служащим”, за что подвергся задержанию полицией, а также организовал 22 декабря 1917 г., когда палата депутатов решала вопрос о лишении Кайо парламентского иммунитета, демонстрацию на бульварах под лозунгами “Да здравствует Кайо! Клемансо — диктатор!”

53

54 Жоссо как бы давал понять, что только арест Кайо 14 января 1918 г. прервал их набравшее темп сотрудничество.

Но в чем сходятся показания всех лиц, допрошенных в мае 1918 г. по делу о заговоре роялистов, так это в том, что именно Жоссо сыграл в нем первостепенную роль. Как можно догадаться, это был человек не самых выдающихся нравственных достоинств и умственных способностей, слишком молодой (22 года), чтобы успеть набраться жизненного опыта, без образования и с явным физическим недостатком (по близорукости он был освобожден в 1916 г. от военной службы — и это в то время, когда всех молодых мужчин под метелку забирали на фронт). Судя по тому, с каким увлечением он выдавал следствию мнимые или действительные тайны Кайо, элементарные чувства человеческой привязанности, морального долга или чести были Жоссо абсолютно чужды. Но вот парадокс: он каким-то образом сумел — случайно, по глупости или безрассудству — затянуть в тугой узел интересы влиятельных лиц и общественных сил в один из критических моментов истории Франции. Развязать этот узел никто не смог или уже не успел. Осталось его только разрубить.

Обыски в помещениях, принадлежавших “Аксьон франсэз” и ее руководителям Моррасу, Доде, Максиму Реаль дель Сарту

и др., дали двусмысленные результаты. При желании их можно было трактовать и как успех, и как неудачу полиции. Все вещественные доказательства, собранные во время обысков, можно было подразделить на три большие группы. К первой относился план монархической реставрации, датированный 1913 г. Он содержал сведения о настроениях населения, о лицах, которые безусловно поддержали бы выступление роялистов или которых следовало “нейтрализовать”, об условных сигналах и паролях, о средствах транспорта, местах сбора боевых сил, руководителях и т. д. Например, в разделе о городе Бурже говорилось: «Население спокойное, индифферентное. Но следует опасаться гражданского персонала военных учреждений. Среди них много крикунов. Следует посадить за решетку 7 зачинщиков: 2 анархистов и 5 социалистов. Духовенство не шелохнется, поскольку монсеньер Дюбуа (незадолго до того назначенный архиепископом Парижским. — *А.Р.*) весьма предан святейшему престолу и благосклонен к “Аксьон франсэз”. Мэрия не представляет опасности, но нельзя доверять мэру — прогрессисту Полю Гомманзу, который может выкинуть что-либо, способное помешать перевороту и защитить республику, следовательно, за решетку и его. Туда же отправить гг. Дюма и Може, социалистов. Префектура недавно перешла в руки еврея Бризака, ярого противника монархии: за решетку и его. Армия, на мой взгляд, будет колебаться. Многие офицеры читают “Аксьон франсэз”... Но следует опасаться офицера управления Дюпюи и офицера запаса Ламодьера, оба они — влиятельные франкмасоны: за решетку».

Ко второй группе вещественных доказательств принадлежало захваченное оружие. В помещении “Аксьон франсэз” были обнаружены свинцовые заготовки для кастетов, 10 револьверов и 200 патронов; дома у Максима Реаль дель Сарта — 1 браунинг, 2 коробки патронов, 150 новеньких кастетов; у Эмманюэля Бюффе — 1 браунинг и 20 свинцовых дубинок. Кроме того, был найден список, позволяющий установить, кто и когда из членов “Аксьон франсэз” получил оружие. Всего, таким образом, было роздано 30 револьверов, 19 браунингов, 100 свинцовых дубинок и неустановленное число кастетов. Наконец, третья группа вещественных доказательств включала подготовленные в самое последнее время документы о политических взглядах офицеров некоторых частей. Например, по 7-му кирасирскому полку сообщались следующие сведения: “Полковник дю П.: религиозен, военный до мозга костей... 1-й эскадрон: офицеры ни рыба ни мясо, которым на все наплевать; унтер-офицеры: в целом хорошие и симпатичны; 2-й эскадрон: капитан Л., бонапартист. Лейтенант де М., в душе роялист. Другие лейтенанты: аморфны” и т. д.

Призванные к ответу, руководители “Аксьон франсэз” держались самоуверенно. План монархической реставрации? “Да мы и не собирались скрывать, — отвечал Леон Доде, — что еще до объявления войны открыто вынашивали планы ниспровержения

республики”. Следовательно, если в мирное время это не считалось достаточным основанием для судебного преследования, то тем более не может служить таковым в военное время, когда “Аксьон франсэз” решительно поддержала политику национальной обороны, проводимую республиканским правительством. Оружие? Но, друзья, это всего лишь музейная коллекция (une simple raportie), состоящая из “испорченных пистолетов, 56 старой зазубренной сабли и карабина, представляющего историческую ценность”. Но поскольку такое объяснение показалось уж слишком неубедительным, Моррас добавил, что это оружие “было закуплено в целях самообороны”. Политический шпионаж? Ребяческие шалости, не заслуживающие внимания.

Полиция сделала, что могла, — выследила, схватила с поличным и доставила в судебные органы предполагаемых заговорщиков. Теперь все зависело от позиции прокуратуры: признает ли она достаточно вескими представленные доказательства заговорщической деятельности или нет. История последних десятилетий не раз показывала, насколько гибкой — если не сказать бесхребетной — оказывалась французская юстиция, когда то или иное юридическое дело приобретало политический характер. Дело о заговоре роялистов с самого начала воспринималось миллионами французов как чисто политическое. Вспомним, как простой чиновник Франс признался на допросе, что он немало не удивился, когда случайно узнал, что в подготовке полицейского рейда на штаб-квартиру “Аксьон франсэз” деятельное участие принимает формально постороннее, но политически в нем глубоко заинтересованное лицо.

Из доступных и рассмотренных нами здесь материалов видно, с какой охотой и готовностью ухватились официальные лица республики — и министр внутренних дел радикал-социалист Стег, и глава правительства республиканский социалист Пенлеве — за внезапно предоставившуюся возможность расплатиться с монархистами из “Аксьон франсэз” за накопившиеся обиды. Словно в каком-то помрачении рассудка, они предприняли крупномасштабную операцию, в достаточной мере ее не подготовив. По сути эти серьезные и ответственные лица доверились случайному человеку, проходимцу. Именно от него они получили информацию о закупках оружия, ему же они накануне операции поручили проверить наличие этого оружия, он же начертил им план помещений “Аксьон франсэз”, указав места хранения этого оружия и документов. В значительной мере везением 57 можно объяснить то, что столь небрежно подготовленная операция принесла хоть какие-то позитивные результаты.

Но, как уже нам известно, прокурор республики по столичному департаменту Сена Лекуве вынес постановление о закрытии дела “Аксьон франсэз”. Он не нашел состава преступления в том, что в 1913 г. “Аксьон франсэз” планировала государственный переворот. Ибо, аргументировал он, отсутствуют дока-

зательства того, что роялисты предпринимали практические попытки осуществить этот план во время войны. Что касается захваченного оружия, то его количество слишком незначительно, чтобы подозревать “Аксьон франсэз” в развязывании гражданской войны. И сбор сведений о политических воззрениях офицеров сам по себе не является преступлением или правонарушением. Свое решение прокурор мотивировал тем, что по закону преступлением против безопасности государства считаются единственно покушение и заговор, независимо от того, приступили заговорщики к осуществлению своих планов или нет. Действия же с “Аксьон франсэз” прокурор определил всего лишь как “подготовительные меры”, не подлежащие наказанию.

Прокурору Лекуве, между прочим, мы обязаны тем, что в настоящее время располагаем ценными источниками по истории дела о роялистском заговоре. Весной 1918 г., когда шел активный сбор компрометирующих Кайо материалов, именно Лекуве напомнил об этом слегка уже подзабытом деле. 8 мая он дал указание следователю прокуратуры Нуазану допросить Жоссо «на предмет той роли, которую он сыграл в так называемом деле “Аксьон франсэз”». Спустя три дня, 11 мая, Лекуве сообщил в органы военной юстиции, что направляет в их распоряжение показания Жоссо, в которых “приводятся данные о роли Жозефа Кайо” в этом деле, равно как и о “попытках последнего организовать уличные демонстрации в свою пользу”. На наш взгляд, эти инициативы не только свидетельствуют о служебном рвении доблестного прокурора, но и приоткрывают завесу над механизмом “раскручивания” скандала, связанного с делом о роялистском заговоре. В частности, они в какой-то мере объясняют причины словоохотливости Жоссо во время его бесед с капитаном Бушардоном 14–16 мая и характеризуют этого человека как весьма послушное орудие в руках юстиции. Так что невольно закрадывается подозрение: а не стал ли сам Кайо невольной жертвой ловушки, подставленной ему весьма компетентными в этом ремесле лицами?

Итак, вопрос о том, где пролегает грань, отделяющая “подготовительные меры” от собственно “заговора”, был решен волевым путем. Но, видимо, не случайно прокурор республики вынес свое решение о закрытии дела “Аксьон франсэз” (5 ноября) не ранее, чем Пенлеве уехал в Италию (4 ноября), чтобы на месте определить, в какой помощи нуждается попавший в беду союзник. Франция и Великобритания действительно успели принять эффективные меры и спасли Италию от разгрома. Но французское правительство, на какое-то время оставшееся без “хозяина”, не смогло справиться с волной критики, обрушившейся на него в связи с ролью его первых лиц в деле о заговоре роялистов (уже так называемом!), которое, по мнению значительной части правой и националистической прессы, было без зазрения совести состряпано Кайо. Важным признаком начала политических перемен в стране, который уже никого во Франции не мог обмануть,

явился вызов Кайо 6 ноября 1917 г. (на следующий день после закрытия дела “Аксьон франсэз”) к капитану Бушардону, который задал ему много неудобных вопросов о его связях с журналистами и издателями Альмерейдой, Марионом, Ландо, Дювалем, международным авантюристом-предпринимателем Боло и другими, ранее арестованными по подозрению в шпионаже в пользу Германии.

О падении авторитета правительства свидетельствуют письма простых граждан, в том числе и анонимные, которые сохранились в фонде Пенлеве в Национальном архиве Франции. Мы приведем здесь некоторые примеры, которые, на наш взгляд, ярко характеризуют морально-психологический климат в стране накануне прихода к власти правительства Клемансо.

«Господин Пенлеве! — пишет парижанин Г. Нодье. — Я, как искренний республиканец, сын каменщика, француз, потерявший здоровье в окопах войны, хочу от имени многих моих друзей заявить протест против преследований, которым Вы подвергли роялистов из “Аксьон франсэз”. Все это смешно. Если Вы отождествляете Виго—Мальви и Боло—Кайо с республикой, то все честные люди станут антиреспубликанцами, все патриоты, все французы Вас отвергнут». Другой корреспондент, некий аноним, укрывшийся за неразборчивой подписью, резко отчитывает Пенлеве: “Позвольте Вам заметить, что Вы напрасно прислушиваетесь к пагубным советам бандита Кайо. Вы совершаете еще одну ужасную ошибку! Республике никто не угрожает, но чтобы спасти бессовестного предателя Мальви, который заслуживает 12 пуль в грудь, Вы замышляете заговор против Доде—Морраса”. Наконец, письмо от имени “группы матерей, требующих, чтобы благородная кровь их сыновей была отмщена”, выражает надежду на то, что скоро “банда Мальви, Кайо и Бриана предстанет перед правосудием”.

В условиях резкого всплеска националистических настроений, который был во многом спровоцирован грубо сработанным делом о заговоре роялистов и слабое представление о котором дают вышеприведенные цитаты из писем, чаша весов политических симпатий в стране и в парламенте окончательно качнулась в пользу Клемансо. Весьма симптоматичный комментарий опубликовала газета “Фигаро” 2 ноября 1917 г.: “Клемансо четко намечил одну из линий нынешней политической жизни, и общественное мнение в целом его безоговорочно поддержало... Другая политическая линия... ведет к Кайо... Либо линия Клемансо, либо линия Кайо — в нынешней обстановке третьей линии не видно. Необходимо быстро и смело выбрать между обеими линиями”.

В этих условиях Пенлеве не смог удержаться у власти. Его финал как бы оттенил ту роль, которую сыграли в развязке политического кризиса судебные скандалы. Он объявил об отставке своего кабинета после того, как потерпел поражение при голосовании в палате депутатов 3 ноября 1917 г. своего предложения об отсрочке обсуждения запроса парламентариев о текущих

судебных делах. В правой печати эта отставка была воспринята именно как “конец кризиса”.

В условиях, когда Кайо был скомпрометирован делом о роялистском заговоре и сам стал объектом пристального интереса со стороны правосудия, он потерял всякие шансы на избрание в правительство. От него, как от зачумленного, шарахались даже члены его собственной партии, окончательно убедившиеся, на чьей стороне сила и куда дует ветер. Единственным реальным кандидатом на пост председателя совета министров остался Клемансо.

Правда, Кайо предпринял последнюю отчаянную попытку договориться с социалистами о создании правительственной коалиции. При его деятельном участии 14 и 15 ноября были проведены совещания представителей обеих партий. Но дальше констатации “единства взглядов” они продвинуться не смогли или, во всяком случае, не успели. Во второй половине дня 14 ноября президент республики официально предложил Клемансо мандат на формирование нового кабинета.

Как можно было предвидеть, правая националистическая пресса одобрила решение президента. “Тан” писала: “Общественное мнение призвало Клемансо к власти. Оно ждало его министерства”. Почти в столь же лестных выражениях откомментировали это событие и другие газеты: “Никто никогда еще не приходил к власти в атмосфере более единодушной поддержки со стороны общественного мнения” (“Эвр”); “президент республики подчинился давлению общественного мнения” (“Эн-формасьон”) и т. д. Но особенно примечательно другое: 20 ноября резолюция доверия кабинету Клемансо в палате депутатов была принята подавляющим большинством голосов — 418 против 65 (социалисты) и при 15 воздержавшихся (несколько радикалов, включая Кайо и Мальви). Иначе говоря, он был приведен к власти при активной поддержке радикалов. Это был бесспорно крупный политический успех Клемансо: благодаря воле доверия палаты он предстал перед страной в образе общенационального, надпартийного лидера. Этот образ ему удалось сохранять вплоть до конца войны, принесшего ему лестное прозвище “Отец победы”.

Так сцепление, на первый взгляд, случайных, а на самом деле глубоко мотивированных поступков людей окончательно перечеркнуло планы Кайо. Мог бы он при других обстоятельствах прийти к власти? Ответа на этот вопрос нет, потому что история не знает сослагательного наклонения, и рассуждения о том, “что было бы, если...” всегда выглядят наивными и малоубедительными. Но трудно избавиться от ощущения, что скандал, вспыхнувший в связи с делом о заговоре роялистов, резко драматизировал положение во Франции и ускорил развязку политического кризиса. Кто знает, как долго мог еще продолжаться период “междоусобия”, устраивавший многих людей, которые не без оснований опасались резкого крена политики правительства как вправо, так

66

67

68

69

70

и влево. И какие другие, может быть даже еще более экстравагантные, формы приняла бы эта развязка, случись она позже. Известно, что первая мировая война оказалась в истории Европы мощным генератором всевозможных новаций.

Именно благодаря своему неудачному выступлению в деле о заговоре роялистов Кайо стал удобной мишенью для нападок националистов. Они и не замедлили воспользоваться благоприятной возможностью свести с ним счеты. Едва ли будет чрезмерным преувеличением сказать, что один опрометчивый шаг чуть не перечеркнул всю его карьеру.

И в самом деле политическое будущее Кайо оказалось весьма незавидным. Надолго затянувшееся следствие завершилось наконец в сентябре 1919 г. процессом в верховном суде, в свою очередь длившемся необыкновенно долго, до апреля 1920 г. Между прочим, обвинение на этом процессе поддерживал уже известный нам Лекуве, сделавший блестящую карьеру с приходом к власти кабинета Клемансо: 12 декабря 1917 г. он (не за свою ли твердую позицию в деле о заговоре роялистов?) был повышен в должности и назначен генеральным прокурором.

Верховный суд признал Кайо виновным в противозаконных связях с противником во время войны и приговорил к поражению в правах и внутренней ссылке (ему было запрещено посещать ряд крупных городов Франции, включая столицу) сроком на пять лет. Еще более печальна была участь Мальви, которого верховный суд признал в августе 1918 г. виновным в преступной халатности при исполнении служебных обязанностей и приговорил к пяти годам высылки из Франции. После того как в декабре 1924 г. по инициативе правительства Э. Эррио был принят закон об амнистии, оба изгнанника снова включились в политическую жизнь, но уже не смогли в ней достичь высот, покоренных в прошлом. Их политическая карьера была бесповоротно сломана судебной расправой, которую учинили над ними на исходе первой мировой войны их политические враги.

Примечания

¹ Service Historique de l'Armée de Terre. (Далее: SHAT) 6 N 53.

² Le Temps. 1917. 29 oct.

³ Позволим себе обратить внимание читателей на нашу старую, но, надемся, не очень устаревшую статью, посвященную этой теме: *Ревякин А.В.* Кризис "священного единения" во Франции в 1917 г. // Вестн. Моск. ун-та. Серия: История. 1976. N 2.

⁴ 1914. Les psychoses de guerre? Actes d'un colloque tenu à Rouen, 26–29 septembre 1979. Rouen, 1985.

⁵ *Ory P., Sirinelli J.-F.* Les intellectuels en France de l'Affaire Dreyfus à nos jours. P., 1986; *Becker J.-J., Bernstein S.* Victoire et frustrations. 1914–1929. P., 1990.

⁶ См. самую полную по настоящее время, практически исчерпывающую двухтомную биографию Кайо *Allain J.-C.* Le défi victorieux. 1863–1914. P., 1978; *Idem.* Joseph Caillaux. L'oracle, 1914–1944 P., 1981. По нашему убеждению с появлением этих книг к портрету

Кайо можно добавить разве что отдельные штрихи, что мы и пытаемся сделать в настоящей статье.

⁷ Подробнее об этом см.: *Наринский М.М.* Драма Кайо // Новая и новейшая история. 1973. № 1. С. 146–153.

⁸ В архиве Префектуры полиции Парижа мы ознакомились с несколькими картами документов, содержащими весьма подробную хронику парламентской жизни Франции в первые годы мировой войны, которую вел для полиции человек, по всей видимости хорошо ее знавший, возможно, журналист. 16 ноября 1914 г. этот анонимный источник сообщил: «При каких обстоятельствах Кайо был отправлен с миссией? Предложение об этом внес в правительство Мальви. Из дискуссии, которая состоялась по этому вопросу на заседании совета министров, явствует, что друзья и враги бывшего председателя совета пришли к согласию, что его следует удалить с политической сцены. Радикалов, позицию которых выразил Мальви, беспокоит падение популярности человека, которого они избрали главой своей партии незадолго до дела «Фигаро»; они не горят желанием разделить его несчастье и думают лишь о том, как от него избавиться. Враги Кайо тоже хотели бы помочь ему «бежать в Америку» и «покинуть поле боя». Они рассчитывают, что это «стратегическое отступление» окончательно подорвет политический кредит Кайо». См.: Archives de la Préfecture de la Police (Далее: РР ВА 1535).

⁹ В Центре хранения историко-документальных коллекций в Москве до последнего времени, пока не были возвращены во Францию, хранились два объемистых досье, заведенных в 1917–1918 гг. на Ж. Кайо 2-м Бюро Генерального штаба армии Франции (военная разведка и контрразведка). См.: ЦХИДК. Ф. 7. Оп. 4. Д. 95 и 96.

¹⁰ РР ВА 1535. Документ от 19 марта 1915 г.

¹¹ Там же. Документ от 20 марта 1915 г.

¹² См., в частности, нашу недавнюю статью: *Ревякин А.В.* Франция и «Стокгольмская альтернатива»:

Внутриполитические факторы дипломатии в 1917 г. // Первая мировая война: дискуссионные проблемы истории. М., 1994. С. 202–215.

¹³ См. подробный анализ: *Allain J.-C.* Joseph Caillaux. P. 94–100.

¹⁴ Его текст мы обнаружили среди бумаг Сюрте генераль (см.: ЦХИДК. Ф. 1. Оп. 27. Д. 6362. Л. 26–27).

¹⁵ Мы не утверждаем, что авторство этого документа принадлежит исключительно Кайо. Однако то, что его взгляды нашли в нем отражение, нам представляется бесспорным. Как явствует из нашего источника, в совещаниях организаторов лиги участвовал личный секретарь Кайо — Феликс Понтана (см.: Там же. Л. 32).

¹⁶ Там же. Л. 24–25.

¹⁷ *Devos J.-C., Nicot J.* La censure de la presse pendant la guerre de 1914–1918 // La diffusion du savoir de 1610 à nos jours: Questions divers. P., 1983. P. 343–364.

¹⁸ *Le Figaro.* 1917. 28 juin.

¹⁹ ЦХИДК. Ф. 1. Оп. 27. Д. 6362. Л. 1.

²⁰ *Poincaré R.* Au service de la France. P., 1932. Т. IX. P. 178.

²¹ Лишь год спустя, в 1918 г., эта идея была воплощена в облике Республиканской коалиции.

²² Речь 22 июля 1917 г. подробно анализирует биограф Кайо Ж.К. Аллен, отмечая ее «этапное» значение как «долгосрочной программы политического действия» (см.: *Allain J.-C.* Joseph Caillaux. P. 88–91). Нам же бросилось в глаза поразительное совпадение основных идей этой речи с «Обращением к гражданам» Республиканской лиги, о которой мы писали выше, что говорит о преемственности обоих документов.

²³ *L'Humanité.* 1917. 10 sept.

²⁴ *L'Information.* 1917. 13 sept.

²⁵ *Le Temps.* 1917. 11 sept.

²⁶ *Maurras Ch.* Les chefs socialistes pendant la guerre, P., 1918. P. 308.

²⁷ См. лучшую на сегодняшний день биографию Клемансо: *Duroselle J.-B.* Clemenceau. P., 1988. Наиболее полная биография на русском языке: *Прицкер Д.П.* Жорж Клемансо. М., 1983.

²⁸ *Becker J.-J.* Le carnet B. P., 1973.

²⁹ *Pedroncini G.* Les mutineries de 1917. P., 1967.

- 30 *Pedroncini G. Pétain. P.*, 1989.
- 31 *Le Journal du peuple*. 1917. 29 juil.
- 32 *Le Figaro*. 1917. 10 oct.
- 33 SHAT 6 N 53.
- 34 Имеется в виду наступление французской армии на Западном фронте 16 апреля 1917 г., закончившееся, несмотря на тяжелые потери, неудачей.
- 35 *Annales de la Chambre des Députés. Débats parlementaires. Session ordinaire de 1917. Partie III. P.*, 1919. P. 2681.
- 36 *L'Humanité*. 1917. 5 oct.
- 37 ЦХИДК. Ф. 9. Оп. 2. Д. 846. Л. 1–7. Излагая ход следствия, мы сознательно нарушаем хронологическую последовательность отдельных его эпизодов, в чем нетрудно убедиться, сопоставив даты. Делаем мы это с единственной целью – навести чуть больше порядка и ясности в фактических обстоятельствах дела, которые следствие интерпретировало, на наш взгляд, весьма тенденциозно.
- 38 Национальный съезд партии радикалов состоялся в Париже 25–27 октября 1917 г. В своей речи на съезде Кайо, между прочим, подчеркнул “необходимость защищать республику и республиканцев от диктатуры клеветы”. См.: *Le Temps; L'Humanité*. 1917. 27 et 28 oct.
- 39 Капитан Бушардон, ведший наиболее громкие дела той эпохи, взял показания у Жюля Стега 29 мая 1918 г. См.: ЦХИДК. Ф. 9. Оп. 2. Д. 847. Л. 407–410.
- 40 Бужо давал показания следователю Бушардону 21 мая 1918 г. См.: ЦХИДК. Ф. 9. Оп. 2. Д. 847. Л. 395–401.
- 41 С Франсом капитан Бушардон беседовал 24 мая 1918 г. См.: Там же. Л. 403–406.
- 42 ЦХИДК. Ф. 9. Оп. 2. Д. 847. Л. 349–361.
- 43 Там же. Л. 362–369, 370–374 и 378–382 соответственно.
- 44 Там же. Л. 365–366.
- 45 Там же. Л. 351, 365–366.
- 46 Там же. Л. 351–352.
- 47 Там же. Л. 366, 370.
- 48 Там же. Л. 353, 371.
- 49 Там же. Л. 382.
- 50 Там же. Л. 375–377. См. так справку о деятельности Жосо подписанную Мариусом Пля 13 мая 1918 г. (там же. Л. 335–338).
- 51 Там же. Л. 335, 375–376.
- 52 PP VA 1618. Dossier Caillaux.
- 53 В просмотренном нами деле имеется описание этих документов. С ЦХИДК. Ф. 9. Оп. 2. Д. 847. Л. 338–339.
- 54 Там же. Л. 379–380.
- 55 Мы пользуемся данными одного французских правозащитника опубликованными в бюллетене Лиги защиты прав человека и гражданина. См.: *Kahn E. Complot conspiration? L'affaire de l'Act Française // Les Cahiers de la Ligue des Droits de l'Homme et du Citoyen*. См.: ЦХИДК. Ф. 9. Оп. 2. Д. 847. Л. 271–273.
- 56 Отсюда происходит другое название дела о заговоре роялиста принятое во французской литературе – *le complot des rapopies*.
- 57 См. показания Жоссо: ЦХИДК. Ф. 9. Оп. 2. Д. 847. Л. 366.
- 58 Там же. Л. 347–348.
- 59 Там же. Л. 340.
- 60 Протокол допроса Кайо 6 ноября 1917 г. см.: SHAT 6 N 53.
- 61 *Les Archives Nationales* 313 AP/1
- 62 Письмо датировано 29 октября 1917 г.
- 63 Письмо датировано 30 октября 1917 г.
- 64 Письмо датировано 31 октября 1917 г.
- 65 *Le Figaro*. 1917. 2 nov.
- 66 *L'Œuvre*. 1917. 14 nov.
- 67 *L'Humanité*. 1917. 16 nov.
- 68 *Le Temps*. 1917. 18 nov.
- 69 *L'Œuvre*. 1917. 16 nov.
- 70 *L'Information*. 1917. 18 nov.
- 71 *Allain J.-C. Joseph Caillaux. P.* 53

А. В. Ревякин



казус

Несостоявшийся поединок: Уильям Фелтон против Бертрана Дюгеклена

В “последний день февраля” 1363 г. (1364 г. по совр. стилю) в Парижском парламенте в присутствии дофина Карла и “многочисленных прелатов, герцогов, баронов, шевалье” был рассмотрен иск английского капитана Уильяма Фелтона к бретонскому рыцарю, вассалу Шарля де Блуа и дофина Карла, Бертрану Дюгеклену. Фелтон обвинял Дюгеклена в нарушении условий перемирия, которое было заключено между графом де Блуа и графом де Монфором на время переговоров о разделе Бретани и чьим гарантом со стороны Шарля де Блуа выступал, в частности, Дюгеклен. В качестве компенсации Фелтон требовал от суда разрешения вызвать Дюгеклена на поединок, если тот добровольно не признает свою вину.

Обстоятельства этого судебного заседания дошли до нас благодаря самым разнообразным источникам: хроникам того времени, стихотворным и прозаическим жизнеописаниям самого Бертрана Дюгеклена. Однако приговор парламентской курии существенно дополняет и конкретизирует картину прошлого.

* * *

1363—1364 гг. явились переломным моментом в борьбе двух семейных кланов — де Блуа и де Монфоров — за наследование Бретани и титула герцога Бретонского. К этому времени конфликт имел уже двадцатилетнюю историю, начало которой положила смерть последнего герцога, Жана III, в 1341 г. Не имея собственных детей, герцог выдал свою племянницу Жанну за графа Шарля де Блуа, племянника короля Филиппа VI, рассчитывая таким образом оставить Шарлю наследство. Однако у Жана III имелся сводный брат, граф де Монфор, который сразу же предъявил претензии на герцогский титул на том основании, что Шарль де Блуа не является прямым наследником.

После смерти графа де Монфора в 1345 г. дело продолжил его сын Жан, выросший в Англии и женившийся там на дочери короля Эдуарда III. Таким образом, со второй половины XIV в.

- 3 споры вокруг Бретани вышли далеко за пределы вопроса о наследии. Теперь здесь столкнулись интересы королевских домов Валуа и Плантагенетов. Владение Бретанью открыло бы Эдуарду III путь во Францию, и вассальная клятва, которую ему принес Жан де Монфор, решала эту проблему.



Посвящение Б. Дюгеклена в коннетабли Франции

- 4 Судя по протоколу заседания Парижского парламента, к 1363 г. противостояние де Блуа и де Монфора достигло своего апогея. Каждый из претендентов величал себя герцогом Бретонским, и страна оказалась фактически разделенной на две части. Летом 1363 г. Жан де Монфор предложил Шарлю де Блуа сразиться на поединке, чтобы окончательно выяснить, кому достанется Бретань, не проливая при этом крови своих подчиненных. Но де Блуа отказался, считая себя в более выгодном военном положении, и предложил взамен очередное сражение — в месте, удобном для де

Монфора. Битва была назначена на 8 июля 1363 г. в местечке Эвран. Как свидетельствуют далее хронисты, буквально перед началом сражения претендентам все же удалось прийти к соглашению о разделе Бретани на две части с тем, чтобы и Жан де Монфор, и Шарль де Блуа могли носить титул герцога Бретонского. Это соглашение получило название “Мирный договор в Эвране”.

Однако требовалось, чтобы его условия были подтверждены Жанной, женой Шарля де Блуа, урожденной герцогиней Бретонской. А потому для соблюдения временного перемирия стороны обязались обменяться заложниками. Этот обычай был весьма распространен во время Столетней войны и использовался в самых разнообразных ситуациях. Именно так Бертран Дюгеклен стал одним из заложников, предоставленных Шарлем де Блуа своему сопернику. Причем на персоне Дюгеклена, если верить Кювелье (автору жизнеописания Дюгеклена), настаивал сам Жан де Монфор.

Дюгеклен оказался в достаточно сложной ситуации. С одной стороны, он не мог отказать Шарлю де Блуа, своему сеньору, с которым его связывала не только вассальная клятва, но и длительная совместная борьба за Бретань. С другой стороны, с 1357 г. Дюгеклен находился на службе у дофина Карла, которому также принес вассальную клятву и который рассчитывал на него в собственных сражениях с англичанами. Как же поступает Дюгеклен? В присутствии двухсот свидетелей “знатного происхождения”, о чем он вспоминает позднее во время судебного разбирательства в Парижском парламенте, он клянется остаться заложником у графа де Монфора, но только на один месяц, а по истечении этого срока вернуться в распоряжение дофина Карла.

Именно это условие, поставленное Дюгекленом и, если довериться его словам, с честью им выполненное, породило события, отраженные в упомянутом выше судебном казусе. В качестве заложника Дюгеклен был передан Роберту Ноулзу (Knolles), английскому рыцарю на службе де Монфора, который был обязан следить за Дюгекленом и помешать ему нарушить условия перемирия. Дальнейшие события, однако, представляются весьма запутанными, поскольку их интерпретации в хрониках и в протоколе Парижского парламента несколько расходятся.

По версии Кювелье, переговоры с Жанной, герцогиней Бретонской, кончились ничем еще до истечения срока, назначенного самому себе Дюгекленом. Соперничающие стороны возвратили заложников, однако это не коснулось Дюгеклена, который продолжал оставаться в руках графа де Монфора и удерживался силой уже в качестве военнопленного. А потому, считает Кювелье, Дюгеклен был вынужден бежать в компании своего оруженосца.

По мнению самого Дюгеклена, дошедшему до нас благодаря протоколу судебного заседания, он достойно, как подобает настоящему шевалье (“comme chevaliers doit faire”), провел месяц в обществе Роберта Ноулза, а затем с ведома своего хозяина и совершенно открыто (“palam et publice”) отправился в г. Витре вместе с

несколькими другими шевалье. Таким образом, все условия были соблюдены, и слово свое, данное де Монфору, Дюгеклен сдержал. (Об этом косвенно свидетельствует и тот факт, что Роберт Ноулз и не думал сам вызывать Дюгеклена в суд, тем более на поединок.)

Тем не менее спустя совсем немного времени, 23 ноября 1363 г. Бертран Дюгеклен получает официальный вызов в суд от Уильяма Фелтона. Первое, что вызывает интерес в этом деле, – личность истца. Уильям Фелтон появляется в нашей истории внезапно, поскольку ничто не указывает на его непосредственное участие ни в обмене заложниками, ни в процедуре их возврата. Правда, Кювелье уверяет, что именно Фелтон сторожил Дюгеклена в течение месяца и после сам отпустил его, несмотря на указания графа де Монфора.

Обвиненный затем в попустительстве и получении крупной суммы денег от Дюгеклена, Фелтон решает оправдаться, вызвав последнего на поединок. Эта гипотеза, однако, не выдерживает никакой критики, поскольку в протоколе парламентской курии Дюгеклен в качестве своего “стража” указывает иное лицо – “comes Roberto Canolle” (т. е. того самого Роберта Ноулза).

В литературе высказываются и другие предположения о причинах, побудивших Фелтона обратиться в Парижский парламент. По одной версии, он питал личную ненависть к Роберту Ноулзу и пытался таким образом свести с ним счеты. По другой версии, ту же ненависть он испытывал к Бертрану Дюгеклену, поскольку ранее два раза оказывался у него в плену. Но личные чувства Фелтона не интересовали парижских судей (вот почему мы можем лишь догадываться о них). Гораздо больше их занимали политические мотивы данного казуса – и это становится ясно из обвинения, выдвинутого против Дюгеклена.

В своем письме Фелтон напоминает Дюгеклену, что тот обещал оставаться заложником у графа де Монфора и защитить свою честь на поединке (“vous voudriez desfendre... par la foy de vostre corps”), если кто-то упрекнет его в нарушении данного слова. Таким образом, заявляет Фелтон, для него является делом чести вызвать Дюгеклена на поединок и доказать (“par mon corps de prouver contre vous”), что тот совершил преступление, самовольно покинув графа де Монфора до того, как город Нант был передан последнему по условиям переговоров. Такое грубое нарушение перемирия, по мнению адвоката Фелтона, породило и прочие многочисленные преступления: “убийства, поджоги, изнасилования, нападения на святые и прочие места, их разрушение и опустошение, а также многие иные неисправимые злодеяния”, за что Дюгеклен как рыцарь должен быть приговорен к смертной казни (“miles turbator pacis capite punitur”).

Реакция Дюгеклена не заставила себя ждать. Уже 9 декабря 1363 г. он пишет Фелтону ответ, в котором категорически отрицает предъявленное ему обвинение как лживое и выражает го-

товность постоять за себя (“serai tout prest pour garder et deffendre mon honneur et estat encontre vous”) в суде, перед французским королем или перед регентом. Он направляет в Парижский парламент иск, обвиняя Фелтона во лжи.

Итак, в феврале собирается суд под председательством дофина Карла, поскольку король по-прежнему находится в Англии, а не, по выражению Дюгеклена, “у власти” (“à son pouvoïr”). Важно отметить то обстоятельство, что иск рассматривался французской стороной, хотя истец — англичанин. Судя по другим примерам, судебные разбирательства между англичанами и французами происходили довольно часто, причем иск рассматривал суд той из противоборствующих сторон, к которой принадлежал ответчик. Возможно, подобная практика была связана с соблюдением рыцарского кодекса чести, о чем уже говорилось выше. Известно, например, что сам Бертран Дюгеклен обращался к герцогу Ланкастерскому с просьбой разрешить ему поединок с Томасом Кантербери. Он обвинял своего противника в том, что тот хитростью захватил в плен брата Дюгеклена, Оливье. Кантербери отрицал свою вину. Победа в поединке осталась за Дюгекленом, что позволило ему доказать, что Томас солгал, и освободить брата. 17

Насколько можно судить по делам, разбираемым в Парижском парламенте, обвинение одним шевалье другого во лжи и нарушении клятвы практически всегда предполагало единственный способ разрешения конфликта — судебный поединок. Приведем только один пример. Всего два года спустя после описываемых событий, 6 декабря 1365 г. состоялось заседание парламента по делу Энгерана Д’Одэна, капитана Лоша, обвиненного в преступлении *lèse-majesté* (оскорбление величества), которое состояло в плохом исполнении служебных обязанностей, разорении округа, в союзе с англичанами и отсутствии лояльности по отношению к французскому королю (капитан заявлял во всеуслышание, что не видит ни малейшей разницы между английским и французским монархами). В ответ на обвинение Д’Одэн немедленно вызвал своего обидчика Пьера де Палуо, сеньора де Монтрезора, на поединок как предателя и лжеца. 18

Такова была правовая традиция, и, тем не менее, Дюгеклен в последний момент отказался от своего намерения сразиться на поединке с любым, кто в судебном порядке обвинит его в нарушении клятвы. Чем было вызвано такое решение? И почему вообще возник вопрос о поединке, если в самом обвинении уже была заложена возможность рассмотрения дела на инквизиционном процессе? Решение этой проблемы следует, по всей видимости, искать в представлениях действующих лиц о таком правовом институте, как судебный поединок. 19

Положение поединка и его весомость среди прочих судебных доказательств, а следовательно, и отношение к нему в обществе XIV в. невозможно представить без предварительного экскурса

20 в историю судебной процедуры. Современная историография истории права делит все судебные доказательства условно на две группы. К первой, свойственной обвинительной процедуре, относился так называемый Божий суд во всех его проявлениях: очистительной клятве, ордалии и судебном поединке. Обращение к божественным силам, к свидетельству самого Бога основывалось на представлении о невозможности для человеческого разума узнать истинную правду о преступлении и, соответственно, вынести справедливый приговор. Такое понимание суда как нельзя лучше соответствовало устному формальному характеру обвинительной процедуры, где действие разворачивалось между истцом и ответчиком: знамение свыше указывало на правдивость одного из них, а судья выступал в качестве свидетеля такого решения.

21 В принципе, все доказательства “Божьего суда” можно назвать ордалиями, которые различались лишь по числу участников (испытуемых) и по правилам проведения. Все ордалии, в большей или меньшей степени, применялись в светском уголовном суде, но в отличие от прочих “божественных” испытаний лишь для судебного поединка правила и регламент устанавливались светскими чиновниками. Конечно, в проведении поединка присутствовал и определенный религиозный ритуал, однако этот вид доказательства не являлся нормой канонического права. Из церковных судов его использовали только те, которые обладали правом светской юрисдикции.

22 Но, несмотря на постоянное присутствие судебного поединка в практике Парижского парламента в XIV в., французская королевская власть с конца XIII в. вела длительную борьбу за искоренение данного вида судебного доказательства. Самые важные преобразования в этой области традиционно связывают с именами королей Людовика IX Святого и Филиппа IV Красивого. Первый в 1258 г. запретил поединок в уголовных процессах. Вызвано это было влиянием французских легистов, которые рассматривали поединок как варварское доказательство, неизвестное римскому праву, на которое они к тому времени уже опирались в своих трудах. Однако на практике, как свидетельствуют большинство авторов кутюрье, данный запрет, по-видимому, не действовал. Так, например, Филипп де Бомануар рассматривал поединок как насущную необходимость в крупных уголовных процессах между шевалье. Вероятно, запрет на проведение поединков столкнулся со столь сильным нежеланием юристов-практиков отказаться от привычной старой процедуры, что в 1306 г. Филипп IV Красивый восстановил официально ее действие в делах по особо тяжким уголовным делам при условии отсутствия свидетелей преступления.

24 Тем не менее король постоянно ограничивал возможности проведения поединков, которые по сути своей изначально были противопоставлены самой идее королевского суда. Во-первых, по своему божественному характеру поединок отрицал способность людей, в том числе и королевских судей, верно судить

и выносить справедливые решения. Во-вторых, что для нас гораздо важнее, поединок выбивался из ряда принятых королевским судом доказательств. Светский суд на протяжении XIV в. постепенно отказывался от системы ордалий, делая ставку на признание подозреваемого, полученное под пыткой. Строгие правила этой последней уравнивали перед лицом королевской судебной власти представителей любых социальных групп — за одним исключением. Пытка не могла быть применена к человеку знатного происхождения, и именно в силу его положения в обществе. В такой ситуации только поединок мог разрешить судебный конфликт шевалье, и это обстоятельство лишний раз подтверждало их привилегированное положение.

25

Прекрасной иллюстрацией такого взгляда на вещи является речь Жувенеля дез Урсена, произнесенная в Парижском парламенте в декабре 1404 г. по делу о судебном поединке между Жаном Коробером и Пьером де Кизелем. Заявив прежде всего, что “наш закон не будет совершенен (*ne seroit pas parfaite*), если двое сильных и могучих (*deux fors et puissans*) не смогут решить спор таким образом”, Жувенель переходит непосредственно к теоретическому сравнению пытки и поединка. Он считает, что если уж можно посылать человека на пытку, то тогда можно применить и поединок (“*aussi bien peut on y promettre le gage de bataille*”), поскольку “менее опасно сражаться двум равным, чем сражаться на пытке, где тело безоружно” (“*le corps est sanz armes*”). Итак, по мнению Жувенеля, в отношении знати именно поединок должен был заменить пытку.

26

Нужно учитывать и то обстоятельство, что судьям приходилось считаться с представлением о том, что шевалье, вызванный в суд, не может солгать, иначе он нарушит рыцарский кодекс чести. Следовательно, отпадала необходимость посылать представителей знати на пытку, чтобы добиться от них признаний.

Исходя из такого противопоставления пытки и судебного поединка, вполне можно понять причины, подвигшие Уильяма Фелтона бросить вызов Бертрану Дюгеклену. Мотивом его поведения явились чисто рыцарские представления о чести, защитить которую он должен “с помощью Бога, моим телом (*par mon corps*)... как и следует шевалье (*comme chevaliers doit faire*)”. Именно знатность его самого и Дюгеклена становится для Фелтона главным условием, при котором возможен судебный поединок, об остальных он упоминает лишь мельком, в виде формулы, необходимой для протокола (“*omnes condiciones ad gadium duelli juxta ordinationes regias super hoc editas*”).

Интересно, что Дюгеклен сначала также прибегает к указанию на знатное происхождение (“*mon honneur et estat*”), считая поединок подходящим способом решения спора. Но затем, уже в ходе заседания, он использует то же условие, чтобы отказать Фелтону. Он заявляет, что действительно знатность необходима для того, чтобы

суд разрешил поединок, однако Фелтон недостаточно знатен, чтобы вызвать его, Бертрана Дюгеклена. Таким образом, бретонский шевалье не просто ссылается на старые нормы права, но и существенно их корректирует, поскольку ни одно кутюрье или иной правовой источник никогда не оговаривали степени знатности потенциальных противников. Судя по другим делам Парижского парламента, связанным с разрешением поединка в случае уголовного преступления, подобная оговорка начинает использоваться в судебной практике именно в 60-е годы XIV г., и, таким образом, мы имеем дело с появлением нового юридического прецедента.

Тем не менее на этом мотивировка Дюгекленом своего поведения не заканчивается: он вообще ставит под сомнение поединок как достойное внимания судебное доказательство. Для человека, следующего принципам рыцарской этики, подобная мысль должна была казаться недопустимой. Однако Дюгеклен, как он говорит, “по совету более мудрых людей” и “сдержав свои первые эмоции”, не желает более сражаться с Фелтоном и предпочитает в таком важном деле “довериться Богу” и затем “верно служить своим друзьям (*servir de regle à ses amis*)”. Подобное поведение Дюгеклена не соотносится ни с его письменными заявлениями, ни даже с первой причиной отказа — недостатком родовитости у Фелтона. Но оно вполне объяснимо.

Как прекрасно показал Й. Хёйзинга, в отношении эпохи позднего средневековья можно изучать не реальное существование рыцарского идеала жизни, но только воздействие этого идеала на действительность, в частности на политику и военное искусство. Именно в этой сфере устаревающие рыцарские представления вступают в открытое противоречие с реальностью, с подлинными ценностями, среди которых, как замечает автор “Жувеняля”, биографического романа конца XV в., — служба королю и общественное благо. В сравнении с войной — большой и реальной опасностью — поединок, эта “особая форма рыцарской фикции”, является вещью непозволительной и приносящей пустую славу. Настоящий воин не должен размениваться по пустякам, если ему предстоит действительно важные сражения.

Безусловно, Дюгеклен не только считал себя воином — он был им. Его присутствие было необходимо дофину, и не в качестве обвиняемого в зале суда, а в качестве доверенного лица, военачальника, на чью преданность и храбрость Карл уже привык рассчитывать. Вполне возможно, что и сам Дюгеклен понимал что умнее было бы отказать от поединка. Так или иначе, но ссылка на совет “мудрых людей” и желание “служить друзьям” стоит, по-видимому, расценивать как рациональное решение возобладавшее над прежним рыцарским идеалом чести.

Однако прямой отказ от поединка мог сказаться на репутации Дюгеклена: его могли посчитать нарушившим собственную клятву и побоявшимся ответственности. Также вполне допустимо предположение о том, что нежелание принять вызов могло

оживить старые представления о “Божьем суде”, когда отказ обвиняемого от ордалии автоматически означал его виновность (а мы можем с уверенностью сказать, что вера в чудо, которое укажет на виновность или невиновность человека, жила, судя по материалам Парижского парламента, в представлениях людей средневековья еще в первой половине XV в.).

Видимо, этим объясняется “двойная” мотивировка поведения Дюеклена в суде. Реальные причины отказа были завуалированы указанием на недостаточную знатность противника и подкреплены (самым рациональным способом) ссылками на юридические тонкости проведения судебного поединка. На словах “доверившись Богу”, Дюеклен на деле представил обвинение как не заслуживающее такого доказательства, с точки зрения современной ему системы уголовного права. Условия, необходимые для проведения поединка, в XIV в. включали в себя следующее: 1) преступление признавалось уголовным и заслуживающим смертной казни; 2) необходимо было собрать предварительную информацию, подтверждавшую состав преступления; 3) нужны были свидетели обвинения; 4) суд должен был объявить обвиняемого единственным подозреваемым. Перечислив все по пунктам, Дюеклен заявил, что все эти условия отсутствуют, а потому и поединка быть не может.

Таким образом, отказ Бертрана Дюеклена был обоснован им (вернее его адвокатом) не только причинами личного характера, но и ссылкой на чисто юридические нормы, соответствующие при этом не обвинительной, а инквизиционной процедуре, что полностью освобождало его от персональной ответственности за исход дела и оставляло последнее на усмотрение суда во главе с дофином. Расчет был предельно точен. Они могли надеяться на то, что Карл заступится за своего вассала и решит дело, исходя из личных соображений. Судя по окончательному приговору парламента, так и произошло. Дофин вынес решение о недопустимости в данном случае судебного поединка (“*in et super predictis gagium duelli non cadebat neque cadit*”), строго ссылаясь при этом на отсутствие подходящего юридического обоснования в иске Фелтона. Данный приговор интересен с нескольких точек зрения.

31

Свой отказ дофин мотивировал коллегиальностью решения: он, по его словам, посоветовался с многочисленными “герцогами, баронами, шевалье, etc.” и даже с королем Кипра Петром I Лузиньяном, путешествовавшим в то время по Европе и присутствовавшим на заседании парламента. Таким образом, отказ никак не мог быть истолкован, по крайней мере чисто внешне, ни в политическом смысле — как нежелание учитывать интересы англичан, ни как покровительство сеньором своего вассала. Напротив, решение о запрете поединка выносилось с полного согласия других представителей знати, для которых этот вопрос имел немалый практический смысл. Согласие это также снима-

ло с Дюгеклена возможное в дальнейшем обвинение в нарушении рыцарской этики — ведь равные ему по положению люди высказались за невозможность проведения поединка.

Вторым интересным, хотя и не столь явным, моментом в приговоре является отражение в нем определенной тенденции в социальной политике французской короны по отношению к знати. Как уже говорилось, такое судебное доказательство, как поединок, постоянно подчеркивало исключительность положения этой группы населения (в данном случае в суде) по отношению к прочим. На тот момент — конец XIV в. — король еще не мог полностью изменить эту ситуацию, однако, видимо, он пытался как-то повлиять на нее — настолько, насколько позволяли обстоятельства, ибо поддержка знати была ему в условиях войны крайне необходима.



Надгробие Дюгеклена в Сен-Дени

32 Одной из таких попыток явился запрет на судебные поединки, частные вооруженные конфликты (*guetges privées*) и ношение оружия во время королевских войн и перемирий. Это решение носило законодательный характер. Признавая невозможность полностью запретить проведение поединков, король стремился каким-то образом подчинить их своему контролю. Таким образом, в XIV в. постепенно оформляется исключительное право короля на разрешение судебных поединков и на их проведение в его присутствии. И хотя, по-видимому, право быть арбитром частных интересов сеньоров король получает не законодательным

образом, а лишь на основании многочисленных судебных прецедентов, к концу XIV в. оно становится уже нормой процессуального права. Непосредственно из нее вытекает возможность для королевского суда отказать в поединке: по регистрам Парижского парламента мы наблюдаем постепенное увеличение числа подобных отказов на фоне снижения общего количества дел, в которых адвокаты требуют проведения поединка.

33

Возможно, отказываясь от поединка, Дюгеклен рассчитывал на то, что Карл будет исходить в своем решении именно из этой, пусть еще слабо выраженной, тенденции. Если так, то действительная виновность Дюгеклена должна была достаточно мало интересовать дофина, когда он отказывал Фелтону в его иске (об этом, собственно, ничего и не сказано в окончательном приговоре). Думается, что в любом случае Карл предпочел бы отказать в поединке, исходя из более высоких, нежели личная привязанность, интересов. С политической точки зрения, Дюгеклен был ему нужен в качестве военачальника. Кроме того, знатность бретонского рыцаря и известность, которую получило уголовное дело, возбужденное против него, создали из этого судебного казуса юридический прецедент, на который в дальнейшем можно было бы сослаться при разборе подобных дел.

34

Итак, суд кончился ничем, однако политические последствия этого события, по-видимому, мало зависели от его исхода. Скорее всего, оно было использовано как предлог для возобновления военных действий между графами де Монфором и де Блуа, приведших к гибели Шарля де Блуа в битве при Оре 29 сентября 1364 г. Титул герцога автоматически отошел де Монфору, и Бретань оказалась вплоть до конца XV в. потерянной для французских королей.

Судебный казус Бертрана Дюгеклена не только раскрывает эпизод из жизни этого выдающегося французского полководца. Он дает возможность проникнуть в психологию сразу нескольких представителей знати конца XIV в., понять, какими мотивами они руководствовались в той или иной ситуации. Принадлежа к верхушке средневекового общества, герои нашей истории повели себя по-разному, давая нам возможность увидеть их индивидуальные черты на фоне типичных рыцарских стереотипов. Вот перед нами промелькнул Уильям Фелтон, явив образ рыцаря, жившего старыми идеалами чести и достоинства, защитить которые возможно лишь ценой собственной крови. Его тут же сменил Бертран Дюгеклен — человек, хотя и отдававший должное традиции, но представлявший, как кажется, новый тип рыцаря, способного иногда задуматься над тем, что есть пустая слава и что действительно великие дела. За ними на сцене появился и дофин, будущий король Карл V Мудрый, тонко проведший свою игру, стремившийся извлечь государственные выгоды из судебного прецедента и, одновременно, покрывавший своего вассала.

Однако история, представленная в данном казусе, выходит за пределы зала Парижского парламента, где вели спор основные действующие лица. Она освещает и политические споры вокруг Бретани, а следовательно, в какой-то степени и противостояние Франции и Англии в Столетней войне. Конечно, трудно поверить, что только судебный конфликт Фелтона и Дюгеклена помешал мирным переговорам де Блуа и де Монфора. Тем не менее несостоявшийся поединок подтолкнул противников к новым сражениям. Дело Фелтона — Дюгеклена отражает не только политические события конца XIV в. Оно свидетельствует о наличии разных тенденций в отношениях короля со знатью: история судебного поединка как правового института освещает первые слабые попытки королевской власти ограничить полную независимость сеньоров — в данном случае в сфере суда.

Таким образом, несостоявшийся поединок Бертраана Дюгеклена и Уильяма Фелтона представляется нам одновременно и политическим казусом, и судебным прецедентом, и историей одного индивидуального решения — тем он и интересен.

Примечания

¹ Парижский национальный архив. Серия X (Парижский парламент). X 2a (Уголовные регистры). Протокол заседания содержится в регистре X 2a 7, f. 145B—150. Далее все цитаты, кроме специально оговоренных, даются по этому источнику.

² Наиболее полно, хотя и не всегда объективно, данный эпизод освещен в стихотворной хронике: *Cuvelier. La vie de Bertrand du Guesclin*, publiée par Charrière E. P., 1839. Т. 1—2, а также в анонимной “Histoire de messire Bertrand du Guesclin” (éd. Menard Cl. P., 1618), которая является прозаическим переложением хроники Кювелье.

³ Речь идет об англо-французской войне, названной из-за своей продолжительности Столетней. В основе конфликта лежали вполне реальные права Эдуарда III на французскую корону и давние территориальные споры (часть французских земель — Нормандия, Мен, Турень, Анжу, Аквитания — принадлежала английскому королевскому дому на правах вассалитета). Династические притязания Эдуарда III были в 1328 г. отвергнуты, и на французский престол взошел

представитель боковой ветви дома Капетингов Филипп VI Валуа. Эдуард III не принес ему вассальную клятву и не признал его королем Франции.

В 1338 г. начались военные действия. Описываемые нами события относятся к первому этапу войны, когда успех был на стороне англичан. Их победа при Креси (1346 г.), взятие Кале (1347 г.), активная поддержка Жана де Монфора в его споре с Шарлем де Блуа и, наконец, победа при Пуатье (1356 г.), где французский король Иоанн II Добрый был взят в плен, поставили Францию в крайне трудное положение. По условиям мирного договора в Бретиньи (1360 г.), ознаменовавшего собой конец первого этапа войны, король оставался в плену, в Англии, и за него был назначен выкуп. На время его отсутствия (до 1364 г.) регентом стал дофин Карл, с правлением которого неразрывно связана вся деятельность Бертраана Дюгеклена.

⁴ Это противостояние нашло отклик и в разбираемом нами казусе. Каждый из противников приписывает титул герцога Бретонского своему госпо-

- дину: Фелтон — графу де Монфору, Дюгеклен — графу де Блуа.
- 5 Правила ведения военных действий в конце XIV в. могут показаться современным читателю несколько странными, однако для той эпохи подобная ситуация являлась совершенно типичной. Война в поздние средневековые все еще воспринималась как личная тяжба сеньоров и соответственно велась по правилам рыцарского кодекса чести. А потому вполне естественным выглядит поведение как де Монфора, так и де Блуа. Как отмечает И. Хэйзинга, вызов на поединок, по представлениям средневековых рыцарей, был оптимальным средством решения военного конфликта, хотя в конце XIV — XV в. и приобрел характер фикции, поскольку в действительности подобные поединки обычно не происходили. Тем не менее для окружающих они служили напоминанием о знатности противников, и относились к ним в те времена весьма серьезно. То же самое можно сказать и о предложении де Блуа назначить заранее место и время битвы: именно так следовало поступить настоящим рыцарям, чтобы правила ведения войны были соблюдены. Подробнее см.: *Хэйзинга И.* Осень средневековья. М., 1988. С. 101—116.
 - 6 Эвран (Evran) — небольшой городок, недалеко от г. Динана (Бретань). Подробнее о битве при Эвроне см.: *Jamison P.F.* Bertrand du Guesclin et son époque. P., 1866. P. 150 etc.
 - 7 В письме, адресованном Дюгеклену, Фелтон именуется этот договор “la traicté de la paix de Bretagne”.
 - 8 *Timbal P.C.* La guerre de Cent ans vue à travers les registres du Parlement, 1337—1369. P., 1961. P. 398—433.
 - 9 *Cuvelier.* Op. cit. T. I. V. 2813—2822.
 - 10 *Ibid.* V. 2865—2876: “Et li dist que Bertran jamais n’en partira /Ainçois en Engleterre il l’en envoiera”.
 - 11 *Ibid.* V. 3394—3400.
 - 12 Такая гипотеза высказывается в историческом романе, посвященном личности Бертрана Дюгеклена: *Coryn M.* Black Mastiff. L., 1933. P. 147—149.
 - 13 Версия, наиболее распространенная среди исследователей жизни Дюгеклена. См., например: *Jamison P.F.* Op. cit. P. 152; *Dedidour A.* Histoire de Bertrand du Guesclin. P., 1891. P. 60 etc.
 - 14 Передача Нанта графу де Монфору являлась выдумкой Фелтона или тех лиц, которые стояли за ним и собирались использовать этот предлог для возобновления военных действий (*Dedidour A.* Op. cit. P. 66).
 - 15 X 2a 7, f. 146v: “...et consequenter murta, homicidia, incendia, violatores, depredatores religionum ac aliorum locorum destructiones et demoliciones et alia quam plura et infinita mala irreparabilia”.
 - 16 Последняя фраза является цитатой из “Кодекса Юстиниана” (*Dig.* 49.16. De re militari. XVI), на что есть указание и в тексте протокола.
 - 17 *Jamison P.F.* Op. cit. P. 142.
 - 18 “Prefatus Petrus ut falsus et pravus proditor mentitus fuerat et mentiebatur et, de ac super hoc, dictus Ingerrannus per viam gagii duelli se defendere offerebat” (X 2a 7, f. 284v—289).
 - 19 Уголовное преступление, наказуемое смертной казнью, автоматически переводило дело в разряд тяжких, что и влекло за собой применение инквизиционной процедуры с экстраординарным допросом и пытками. Ссылаясь на римское право, адвокат Фелтона лишней раз подчеркивает важность казуса.
 - 20 Наиболее полную информацию по системе доказательств в средневековом светском суде можно получить в работах: *L’Aveu.* Antiquité et Moyen Age, Actes de la table-ronde de l’Ecole française de Rome. Rome, 1986; *La Preuve.* Recueils de la Société Jean Bodin. Bruxelles, 1963—1965. T. 16—19.
 - 21 До начала XIV в. французский светский суд знал лишь обвинительную процедуру, которая предусматривала равные условия на процессе для истца и ответчика и запрещала судье активно вмешиваться в ход расследования, т. е. собирать дополнительную информацию, опрашивать свидетелей и очевидцев, тем более, возбуждать дело самостоятельно. Полное невмешательство судьи обуславливалось именно системой судебных доказа-

- тельство: правом вынесения окончательного решения в обвинительной процедуре обладал только Бог, который через ордалии демонстрировал людям свою волю.
- 22 *Ordonnances des roys de la troisième race*: 22 Vol. P., 1723–1849. Т. 1. P. 86–93.
- 23 *Beaumanoir Ph. de. Coutumes de Beauvaisis* / Ed. A. Salmon. P., 1899–1900. Т. 1–2. N 1209: “...es vilains cas de crime et es autres cas meisme...”
- 24 *Ordonnances...* Т. 1. P. 435.
- 25 Это правило, однако, выполнялось не всегда. Например, в 1385 г. Оливье де Клиссон попытался вызвать на дуэль сеньора Ги Д’Аржантона, обвинив его в вооруженном нападении на своих подданных. Королевский прокурор, тем не менее, приказал перевести Д’Аржантона в Шатле и “отправить на экстраординарный процесс”. Обвиненный в нарушении королевского ордонанса о ношении оружия во время королевских войн, последний утверждал свою невиновность с помощью свидетелей и указания на то, что является “grant seigneur”, что в результате привело к его освобождению (X 2a 10, f. 215).
- 26 X 2a 14, f. 217v–218.
- 27 См., например, X 2a 7, f. 63v (19.03.1372), f. 282 (3.12.1365).
- 28 *Хейзинга Й.* Указ. соч. С. 102.
- 29 *Bueil J. de. Le Jouvenel* / Ed. C. Favre, L. Lecestre. P., 1887. Т. 1. P. 209; P., 1889. Т. 2. P. 99, 103.
- 30 *Хейзинга Й.* Указ. соч. С. 105.
- 31 Официально инквизиционная процедура пришла на смену обвинительной в конце XIII в., когда светский уголовный суд стал применять пытки для получения признания у подозреваемых. Однако для ее полного утверждения во Франции потребовался весь XIV век. Инквизиционный процесс был призван расследовать преступление, собрать о нем максимум информации и найти настоящего преступника, а не получать указания о виновности или невиновности подозреваемого от Бога. Следствие было главной отличительной чертой новой процедуры. Оно перестало быть частным делом истиа и ответчика и находилось теперь в руках разветвленного судебного аппарата. Сутью и целью инквизиционной процедуры становилось получение признания обвиняемого — главного доказательства его вины, без которого ни один суд не имел права вынести окончательный приговор.
- 32 *Cazelles R. La réglementation royale de la guerre privée de Saint Louis à Charles V et la precarité des ordonnances* // *Revue d'histoire du droit français et étranger*. 1960. N 38. P. 530 etc.
- 33 Так, по нашим подсчетам, из 12 дел о поединке, разобранных в парламенте в первой половине XIV в., только два были решены положительно (поединок состоялся), пять раз поединок был запрещен и еще пять — решение отложено. Что касается второй половины века (50–80-е годы), то из 18 требований решить дело через поединок парламент удовлетворил только два. В 11 случаях последовал отказ, а еще пять дел было отложено.
- 34 Практически сразу после завершения судебного разбирательства, в апреле 1364 г. Дюгеклен был отправлен во главе французских войск против армии короля Наварры. Весть о его победе при Кошереле достигла дофина в день его коронации в Реймсе, 19 мая 1364 г.

О.И. Тогоева

Два брата-адвоката

Жаль, что наше издание называется “Казус”. Иначе я бы обязательно назвал статью “Казус Дюмулена”. Трудно как-то по-другому назвать то, что приключилось с одним из лучших юристов XVI в. Произошел с ним случай, и не простой, но замечательный, необычный судебный случай, который дал возможность испытать юридические нормы на эластичность, судебную систему — на прочность, а нас — на способность не пропустить редкую возможность. Ведь не так часто бывает, когда термин “казус” в равной степени может использоваться и в историко-культурном, моральном или другом переносном смысле и одновременно — в самом буквальном значении.

Адвокат Парижского парламента Шарль Дюмулен оказался вовлечен в тяжбу со своим младшим братом Ферри, также адвокатом. Семейные конфликты были часты в судейской среде, однако дело получило особый резонанс. Но сначала следует рассказать о том, как я столкнулся с материалами этого процесса.

В 1539 г. правительство Франциска I опубликовало про- странный закон (ордонанс Виллер-Коттре), упорядочивший судопроизводство. Один из пунктов ордонанса касался нотариальных актов, связанных с дарениями недвижимости. Во избежание конфликтов и подлогов такие документы предписывалось регистрировать в четырехмесячный срок в судах первой инстанции. Для Парижа и превоства Иль-де Франс таким судом был Шатле, возглавляемый парижским прево и его гражданским лейтенантом. Начиная с 1 сентября 1539 г. и до самой Революции в Парижском Шатле велись специальные книги (они назывались “регистры инсинуаций”). Сплошное чтение таких регистров — занятие монотонное, однако особое место занимают так называемые конфликтные акты — дарения в ущерб наследникам, пересмотры завещаний, отмены дарений. Их мало — на три тысячи просмотренных документов приходится всего два десятка таких актов, и они сразу бросаются в глаза, выделяясь прежде всего жанром изложения — дескриптивный план, типичный для любого акта, уживается в них с планом нарратив-

ным. Драматический рассказ, призванный объяснить и оправдать решение автора акта, перемежается морализующими сентенциями и явными апелляциями к публике. Вполне возможно, что подобные акты либо сочинялись в целях последующего использования на суде, либо составлялись на основе уже существующего комплекса судебных бумаг. Но и среди этих ярких документов акты Дюмулена выделяются настолько, что мы не могли бы не обратиться на них самого пристального внимания, даже если не знали бы, что имеем дело с неординарной личностью.

- 7 января 1550 г. в книге Шатле были зарегистрированы сразу два его акта. В первом, датированном 29 июня 1547 г., Шарль Дюмулен рассказывает о том, как еще в 1533 г. он уступил своему брату Ферри Дюмулену сеньорию Миньо, в свое время подаренную ему их отцом, а также все документы на владение родительским имуществом, доставшимся ему по наследству, ничего не оставив себе. Но между ними было договорено, что два других фьефа будут резервированы для того, чтобы выдать за муж их сестру. Шарль поясняет, что “в то время он не имел ни малейшего намерения жениться и заводить детей, но исключительно — продолжать свои занятия, чтобы перетолковать и прокомментировать заново как кутюмы, так и гражданское право... Но позже случилось так, что у указанного заявителя появились многочисленные родные и законные дети (*plusieurs enfants naturels et legitimes*). И если бы он мог это предвидеть, он никогда бы не стал действовать в ущерб своему потомству». К тому же после смерти отца он содержал брата в школах, сделал его лицензиатом права и на свои деньги ввел его в адвокатское звание. Более того, одну из своих сестер он поместил в монастырь, теперь же он собирается выдать замуж другую. Посему дарение, сделанное ранее брату Ферри, отменялось “по праву решения” (*“en droit jugement”*) и переадресовалось в пользу детей Шарля Дюмулена. От их лица акт подписала их мать, Луиза де Бельдон. Дети, однако, не должны требовать от Ферри Дюмулена чего-либо сверх сеньории Миньо.

- Следующий акт, от 7 августа 1548 г., повторял основные положения предыдущего и дополнял их. Уточнялось, в частности, что сеньория была передана в виде “простого дарения” (*“ruelement et simplement”*), что Шарль по смерти отца, оставшись старшим в семье, выкупил все ренты и выплатил долги, содержал своего брата в Орлеанских школах в течение трех лет, а затем содержал, кормил и одевал у себя дома. Но Ферри оказался “вопиюще неблагодарен, распускал порочащие ложные слухи о своем брате, возводил на него многие жестокие неправды, повергая его в отчаяние и меланхолию, стремился отвратить от него друзей и под ложным предлогом изъять у него документы на владение (*lettres et tiltres*) и продал имущество, резервированное для приданого сестре, отрицая все имевшиеся ранее договоренности”. Более того, он сам возбудил против Шарля встречный

иск во время судебных заседаний 2 мая и 3 августа 1548 г. Поэтому Шарль составил новый акт, настаивая на отмене дарения “по причине неблагодарности”, и потребовал вернуть уже не только земли, но также и средства, израсходованные на обучение неблагодарного брата и введение его в должность.

5

Шарль Дюмулен обладал весьма ценным для нас и не таким уж редким для гуманиста свойством. Всем событиям своей, как сказали бы мы, частной жизни он придавал характер общественно важных публичных актов. Или же, наоборот, будучи человеком непрактичным (или желая казаться таковым), сталкиваясь с очередной жизненной проблемой, он погружался в раздумья, увенчивающиеся неизменным глубокомысленным ученым трактатом. Как бы то ни было, о его проблемах и намерениях и переживаниях обильно информируют посвящения и предуведомления его книг. Поэтому мы можем проверить факты его биографии, конструктивно изложенные в отменяющих дарения актах.

После смерти отца, сделавшей 30-летнего многообещающего юриста Шарля Дюмулена главой семьи, он вскоре принимает не вполне ординарное решение – освободиться от всяких семейных дел и посвятить себя исключительно ученым занятиям. Особого успеха в тяжбах он не снискал, да и дикция у него была неважной. Но когда Кристоф Де Ту, президент парламента, сделал ему замечание, депутация адвокатов потребовала от него извинений, ибо, оскорбляя самого ученого из адвокатов, Де Ту оскорбил всю коллегия. Передав все имущество брату, Дюмулен старался подражать жизни древних философов. Как только заканчивалось утреннее заседание суда, он спешил из Дворца Правосудия домой, чтобы работать в своем кабинете на общее благо. “Довольствуясь малым, он жил как школьник, лишая себя сладости публичных и частных бесед, дабы как можно больше трудиться в размышлениях одиночества”. Несколько раз он впоследствии отмечал, что отказывался от должности советника парламента и от предложений получать пенсион от какого-нибудь могущественного принца, опасаясь, что это отвлечет его от научных занятий и вынудит поступиться совестью, давать советы в плохих делах. Основным источником его существования были гонорары за консультации, с которыми к нему обращались парижские и особенно провинциальные юристы. Наконец, в 1538 г. многолетний труд над комментариями к парижской кутюме увенчался успехом и была выпущена первая их часть. В посвящении Франциску I Дюмулен сообщает, что взял за образец Боэция и посвятил всего себя систематическому перетолковыванию кутюмов с позиций римского права во имя Общего блага (*Res publica*). В других своих трудах он сообщал, что любое развлечение или беседа воспринимались им как пустая трата времени, наносящая ущерб общему благу. Он даже, несмотря на просьбы друзей, решил гладко брить лицо, чтобы не тратить попусту драгоценное время, расчесывая бороду по моде

6

7

того времени, введенной Франциском I (правда, на портрете 1561 г. Дюмулена украшает довольно эlegantная борода). Зато как он негодовал, когда на него пала разверстка 1538 г. — в связи с очередной угрозой Парижу со стороны императорских войск. Заставить платить того, кто расстался со своим добром. 8 дабы полностью посвятить себя общему благу! Он часто болел от напряженного труда. И друзья советовали ему жениться. В 9 комментариях к каноническому праву (на слово “*Uxor*”) он признается по поводу своих сомнений относительно женитьбы. В том же, 1538 г. он, вняв советам друзей, женился на Луизе де Бельдон, дочери королевского секретаря палаты прошений. В другом своем трактате он объясняет, что женился на ней “не из похоти и не из корысти, но для отдохновения и для сохранения 10 домашнего очага и для досуга во время занятий”.

Скромного приданого хватило, чтобы рассчитаться с долгами, сделанными за последние годы философско-отшельнической жизни. Мне даже удалось обнаружить несколько его актов о покупке (“конституировании”) рент. Возможно, что именно эти операции послужили толчком к написанию двух трактатов о природе ренты, работа над которыми началась в 1542 г. (“*Tractatus de usuris*” и “*Labyrinthe de eo quod interest*”) — в них ему удалось ответить на чрезвычайно важные вопросы современности. Некоторые историки полагают, что Дюмулен здесь первым подошел к 11 новой концепции коммерческого кредита. Когда Дюмулен повел борьбу за отмену дарения, сделанного им ранее в пользу брата, он также написал два трактата о дарениях, сделанных в виде брачного контракта и в виде завещания (“*De donationibus factis vel confirmatis in contractu matrimonii*” и “*De inofficiosis testamentis donationibus et dotibus*”). Они были опубликованы в 1550 г. Два других 12 труда родились в результате его затянувшейся тяжбы по этому поводу — “Комментарии к регистрам Канцелярии” и “Стиль Парижского парламента” (*Commentaire sur les registres de Chancellerie* и *Stylus Curiae Parlamenti*).

Вернемся теперь к конфликту с братом. К 1547 г. у Шарля родились уже трое детей, к тому же потребовались деньги для устройства будущего сестры Жанны-младшей. По словам Шарля Дюмулена, в том же году он сумел выделить ей в приданое 1400 ливров и обеспечить двум другим своим сестрам-монахиням по 25 ливров ежегодного пенсионна. Первый акт отмены дарения был составлен 29 июня 1547 г., но из него не ясно, утратили ли уже Шарль Дюмулен надежду получить от брата фьефы, которые должны отойти в приданое сестре. Составив акт, Дюмулен отправил его в королевскую Канцелярию и 7 декабря 1547 г. получил высочайшее соизволение отменить свое дарение. Однако письма, выданные в Канцелярии (будь то легитимизация детей, натурализация иностранцев, помилование или отмена сделанных прежде дарений), обретали законную силу лишь после того, как они регистрировались парламентом, про- 14

верявшим соответствие королевской милости духу и букве закона. Эта процедура во французском праве называлась *“entérinement”*. Вот на этом этапе Шарля ждал неприятный сюрприз. Ведь документов на владение искомым Миньо он предъявить не смог — хитроумный Ферри заранее отобрал их у него “под ложным предлогом”. Это было первое важное упущение. Кроме того, если мы сопоставим дату составления акта с датой его регистрации в Шатле (7 января 1550 г.), то обнаружим грубое нарушение предписаний ордонанса Виллер-Коттре, требовавшего произвести это в четырехмесячный срок. Следовательно, к моменту рассмотрения дела в парламенте отмена дарения формально оставалась незаконной. 15

Но ахиллесовой пятой акта Дюмулена оказалось другое обстоятельство. Составляя свой первый акт, он явно намеревался воспользоваться законом *“si unquam”*, восходящим к императору Константину. Согласно ему, дарения подлежали отмене в случае рождения родных и законных детей (поэтому Дюмулен подчеркивал именно это качество своих детей, чего обычно не делалось в прочих актах, зарегистрированных в Шатле). Но Дюмулен не упомянул, что в 1535 г. то же самое дарение сеньории Миньо было подтверждено им по случаю свадьбы его брата Ферри. А это уже в корне меняло дело. Имущество, переданное в связи с заключением брака, пользовалось особой защитой купюмого права, и кому как не Дюмулену — лучшему толкователю купюмов, было это знать. Пожалуй, оценка, данная Дюмулену Николя Луазелем в “Диалоге об адвокатах Парижского парламента”, была справедливой: “самый ученый из юрисконсультов был в то же время весьма слабым и неумелым адвокатом”. 16

Вот мнение младшего современника Дюмулена и признанного авторитета в вопросах судебной практики Жана Папона об этом деле. “Адвокат парламента, превосходящий всех своими знаниями, передал все свое имущество своему брату по брачному контракту... затем поменял мнение и раскаялся в совершенной дарственной. Он стал искать возможности отменить акт. Ему посоветовали жениться, что он и сделал, заведя детей. [Папон остался глух к автопоэтическим усилиям Дюмулена.] Его вышеназванный брат выдвинул в противовес весьма важные причины, указав, что вышеназванный Дюмулен объявил во всеуслышание о своем желании даровать все свое имущество брату, дабы достойно его женить... И что, веря этим словам, он нашел женщину, на которой и женился, и без данного обещания свадьба никогда бы не состоялась, и что исходя из этой щедрости он выделил солидный дуэр своей супруге. И что отмена дарения была бы обманом и непростительным мошенничеством, свершенным по отношению к браку, являющемуся делом чести, таинством и божественным установлением”. 17

Даже если не принимать во внимание, что в законе *“si unquam”* речь шла о вольноотпущенных, все равно его действие 18
19
20

в данном случае весьма спорно. В нем говорилось об отмене только “простых дарений” (“pures et simples” — вспомним уточнение Дюмулена во втором акте), а вовсе не тех, что были сделаны в вознаграждение за заслуги либо с целью отметить какое-либо событие. По всей видимости, сопротивление Ферри было хорошо продумано. Он возбудил встречный иск по поводу расстраты материнского наследства Шарлем Дюмуленом, потребовал отчета об опеке за период своего несовершеннолетия, отрицал наличие каких-либо устных договоренностей. Помимо самого мэтра Ферри, против признания отмены дарения выступил с иском и влиятельный советник парламента Николя Юро. После смерти Маргариты Майар, жены Ферри, он был назначен опекуном их несовершеннолетних детей и защищал в суде их интересы — поскольку сеньория Миньо как дуэр покойной матери принадлежала именно детям. После ряда судебных заседаний весны—лета 1548 г. Шарль решает изменить свою тактику. Не отказываясь от апелляции к закону “*si inquam*”, он обращается к более эффективному и более эффектному закону Юстиниана, согласно которому дарения могут отменяться в том случае, если одариваемый проявляет неблагодарность: угрожает жизни дарителя, порочит его честь или отказывается выполнить записанные или устные обязательства, взятые на себя при получении дара. Все признаки неблагодарности были подчеркнуты во втором акте Дюмулена (7 августа 1548 г.), даже угроза для жизни и здоровья — ведь происки неблагодарного Ферри вызвали у автора “отчаяние и меланхолию”.

Дело, однако, растянулось на годы. Встречные иски сторон следовали один за другим, специальные заседания рассматривали апелляции, все это стоило больших денег. Генеральный прокурор (31 декабря 1549 г.) попытался предложить “нулевой вариант”, т. е. решить существо дела без дознания по поводу дополнительных взаимных исков сторон. Но и после этого стороны не успокоились. Ферри делал теперь упор на каких-то тонкостях в процедуре оммажа, принесенного им за сеньорию Миньо, Шарль наконец сподобился зарегистрировать свои акты в Шатле — словом, разбирательство было далеко от завершения. В этом не было ничего удивительного — тяжбы в парламенте могли идти десятилетиями, и судебные издержки сплошь и рядом поглощали большую часть стоимости оспариваемого имущества.

И все же процесс этот был необычным. Шарль Дюмулен сумел придать ему максимально публичный характер, еще до вынесения приговора превратив свое дело в юридический казус. Помимо аргументов, основанных на Римском праве, подчеркивающих максимальную свободу субъекта, приоритет его волеизъявления или намерений, публике предлагалось оценить дело с позиций морали, учесть неблагодарность Ферри, оттененную высокими достоинствами и общественными заслугами Шарля. Именно тогда, на рубеже 40 и 50-х годов, выходят первые изда-

ния его трактатов о дарениях: комментарии к “Советам Александра” и иные труды, где он в предисловии или в основном тексте делал достоянием гласности свою семейную коллизию.

Все это не могло косвенно не воздействовать на парламент. Были у Дюмулена недруги и завистники, но мнение покровителей было сильнее. Его авторитет как правоведа был как никогда высок. И как никогда силен был королевский фавор. Обратим внимание на текст привилегии, выданной Дюмулену для издания его новых сочинений 1 февраля 1552 г. В середине века текст издательских привилегий еще не устоялся и форма их могла быть вполне произвольной. Но документ, выданный Дюмулену, выделяется даже на этом пестром фоне. Я почти уверен, что “заготовку” для этого текста писал сам адвокат, уж больно походит он на все сочинения и акты этого юриста, содержа пространное перечисление всех его заслуг. Но помимо его комментариев к некоторым провинциальным кутюмам, двух трактатов о дарениях и о 21
стиле парламента, там указаны его сочинения о правах французской короны и комментарий к “Эдикту о малых датах”.

Взявшись за работу над этими сюжетами, Дюмулен оказался втянут в большую политическую игру. Папа Юлий III проводил враждебную французам политику в Италии. Генрих II ужесточил свою позицию в отношении занятия вакантных церковных бенефиций и отправки аннатов в Рим. Дюмулен взялся защищать права французской короны от “узурпации” со стороны папы. Его опубликованные комментарии к королевскому указу и особенно текст посвящения королю, написанный в отличие от основного труда по-французски и предназначенный широкой публике, оказали огромное воздействие на общество. Автор вполне определенно призывал возродить старое, с каролингских времен идущее, верховенство короля в делах церковных и дать отпор притязаниям папства. Папе и его сторонникам было продемонстрировано, что в случае необходимости Генрих II может последовать английскому примеру и установить королевскую супрематию над церковью. Юлий III пошел на уступки. Вскоре коннетабль Монморанси даст высшую оценку деятельности Дюмулена: “Сир, Ваше Величество не смогло с тридцатью тысячами человек принудить папу Юлия III к миру: сей человек сделал это при помощи вот этой маленькой книжечки”. 22

Сыграло ли свою роль покровительство сильных мира сего или же дело само собой подошло к некоему логическому завершению, но заключительное постановление парламента (*arrest*) было вынесено 12 апреля 1552 г. Причем это было не простое постановление, но “*assidente purpurato Senatu pronunciato*” — “постановление, произнесенное в пурпурных мантиях”, что происходило, видимо, лишь в особо торжественных случаях. Сам Дюмулен и его биографы делают на этом особый упор. 23
12 апреля был последний день года (по старому стилю), дел накопилось очень много — выписки постановлений занимают

24 в Регистре парламента целых 18 пергаментных листов, исписанных убористым подчерком. В виде исключения к делам, рассмотренным в тот день, был приложен специальный указатель, в котором упоминалась тяжба братьев Дюмулен. Но тем не менее в самих регистрах это дело отсутствует. Возможно, постановления, “произнесенные в пурпурных мантиях”, фиксировались в каком-то отдельном регистре. Впрочем, текст этого постановления полностью вошел в сборник Барнабе Ле Веста. Оттуда мы и почерпнули сведения о ходе судебного разбирательства.

В соответствии с законом “*si unquam*” мэтр Ферри приговаривался оставить спорное имущество в пользовании истца и возместить те доходы, какие были извлечены с оспариваемых земель с момента составления акта об отмене дарения (т. е. с 1547 г.). Казалось, Дюмулен одержал блестящую победу. Но сам он оставался недоволен. Постановление парламента носило компромиссный характер, земли сеньории Миньо хоть и передавались Шарлю, но оставались “под дополнительной ипотекой в том случае, если имущество мэтра Ферри не будет сочтено достаточным для покрытия оговоренного ранее дуэра”. Помимо личных интересов, Дюмулена как поборника норм Римского права не могла устроить такая двойственность в определении характера собственности (он говорит об этом во втором издании своего трактата о дарениях). Кроме того, не удался план отмены дарения “по причине неблагодарности”. Его биограф рассказывает, что “он много жаловался по поводу неблагодарности и угроз со стороны своего брата и по поводу его уловок, коими он отнял у него три или четыре года времени, свершив нечто вроде кражи общественного достояния, ибо тем самым помешал ему работать над сочинением книг”. И хотя Луи Бродо не дает на сей раз точных ссылок, подобная ламентация вполне укладывается в стиль рассуждений Дюмулена о себе самом.

25 Весна 1552 г. была апогеем карьеры Шарля Дюмулена. Дальше на него обрушились несчастья. И дело было даже не в происках завистников, хотя их у него всегда хватало. Судьба Дюмулена может служить предметом рассуждений на неизбывную тему отношений интеллигента и власти. Его стремление идти во всех вопросах до конца, до поры столь благодатное для интеллектуального поиска, при соприкосновении с политикой обернулось драмой. После заключения мира с Юлием III обличительный пыл Дюмулена был уже неуместен. Он же продолжал развивать свои тезисы, увлекшись первыми успехами на новом для себя поприще. И здесь ему пришлось испытать на себе всю
26 мощь “консервативной партии” — теологов университета и их парламентских единомышленников, стойких борцов за сохранение католической веры. Особые нарекания вызвал текст французского посвящения к “Комментариям к эдикту о малых датах” (соперничать в ученой аргументации с Дюмуленом было трудно даже заправским канонистам). Добиться осуждения Дю-

мулена его противникам не удалось — дело было передано в Королевский совет, затем отложено до возвращения короля во Францию. Однако проповедники, по словам Дюмулена, возбудили против него чернь, вынудив его переехать к ландграфу Гессенскому. Дальнейшие скитания по Германии и Швейцарии были полны многообещающих надежд и горьких разочарований. В 1557 г. он добился восстановления в звании адвоката парламента, но с началом религиозных войн подвергся гонениям то со стороны католиков, то со стороны кальвинистов. До самой смерти Дюмулена в 1566 г. и те и другие весьма болезненно воспринимали его стремление указывать им на несообразности в их доктринах и в практике.

Что касается юридического казуса с отменой дарений, то он стал предметом изучения многих поколений юристов. Но мало кто знал, что история сеньории Миньо на этом не кончилась. Нотариальные минуты содержат еще несколько посвященных ей актов. Уже 24 июля 1552 г. жена Шарля Дюмулена заключила (от имени детей — новых владельцев сеньории) новый договор с фермером, подтвердив те же условия, что были в период хозяйничанья Ферри. 1 октября 1564 г. Шарль Дюмулен объявил в нотариальной конторе, что “начиная примерно с 1548 г. он обрел эти земли, но, опасаясь предпринимаемых против него интриг и покушений, а также чтобы избежать преследований, обрушившихся на него вскоре и принудивших его бежать в Германию, он подарил своим вышеназванным детям земли и сеньорию Миньо”. Но при этом он заявляет, что “если бы не означенные преследования и не стремление их избежать, он ни за что не хотел бы, чтобы это дарение имело место”. На этом основании предыдущий акт дарения сеньории Миньо детям отменялся. Изначальные намерения субъекта сделки Дюмулена как поборника Римского права остаются главным и самостоятельным аргументом. Дети его (в отличие от брата) в суд не подали, они все равно были наследниками. А после его смерти в живых осталась лишь его дочь Анна, вышедшая замуж за Симона Бобе, большого почитателя трудов Дюмулена, занявшегося подготовкой посмертного собрания сочинений своего тестя.

Но наследники Дюмулена, увы, недолго пользовались доходами с сеньории Миньо — весной 1572 г., пока Симон Бобе отсутствовал, неизвестные напали на дом Дюмуленов в Париже, убили прислугу и Анну Дюмулен с детьми, не пощадив и новорожденного младенца, похитили ценности и документы, в том числе бумаги на владение сеньорией Миньо. Дело получило широкий резонанс — даже Елизавета Тюдор запрашивала о нем французского посла в Лондоне. Дело безутешного Симона Бобе взялся вести модный адвокат Барнабе Бриссон. По его ходатайству были арестованы дети покойного мэтра Ферри Дюмулена. Они неоднократно говорили, что сеньория Миньо принадлежит им и что они рано или поздно вступят во владение своими неза-

27

28
29

конно отнятыми землями. Зачем злоумышленники похитили документы на владение? Уничтожение взрослых можно объяснить нежеланием оставлять свидетелей, но было ли убийство невинного младенца бессмысленной жестокостью или стремлением уничтожить всех возможных наследников? Парламент назначил большую сумму денег в награду за разоблачение убийц, тщательно допрашивали всех обитателей тюрем, но это не принесло результатов. Через год (уже после Варфоломеевской ночи) обвиняемые были выпущены на свободу. А сеньорию Миньо парламент конфисковал в возмещение судебных издержек.

Вернемся к определению казуса. Мы столкнулись с не вполне типичным, исключительным, крайним случаем. Он действительно проверяет существующую систему “на разрыв”. В какой мере принцип римского права о всевластии актуального домовладыки ложится на нормы кутюмов? До какой вообще степени возможна рецепция Римского права во французском обществе XVI в.? Но ведь и сам Дюмулен был своего рода ходячим казусом, с его стремлением все довести до логического конца – и практическое применение философской этической утопии, и интеллектуальные поиски, и служение королевской власти, трактуемой как общее благо. Было ли его поведение в некоторой степени девиантным? Во всяком случае, оно было хорошо обосновано рационально. Даже слишком хорошо. Но в данном случае раскрытие особенностей внутреннего мира Дюмулена не являлось нашей самоцелью.

Важнее было еще раз акцентировать важный тезис микроистории – именно исключительные случаи дают очень полную информацию о нормах, существующих в обществе (другое дело, что любой случай с легкостью мог трактоваться как исключение). Так, никто из авторов нотариальных актов не освещает полнее Дюмулена проблемы профессионального становления в судейской среде (содержание в университете, стажировка в парламенте), редко какой из примеров дает возможность соприкоснуться с деятельностью различных звеньев юридической системы на одном примере. Исключительный случай, казус – особое увеличительное стекло, оно выявляет черты, обычно скрытые, в частности единство стиля, демонстрируемое как в актах самого разного содержания и разной природы – от дарственной до привилегии на издание, так и в поступках или в сочинениях. Это единство можно, видимо, обнаружить во многих иных актах. Но казус Дюмулена демонстрирует его нагляднее всего именно в силу своей исключительности. Впрочем, оценить и расшифровать эту исключительность можно лишь в контексте прочих случаев.

Примечания

- ¹ Инвентарь первых 14 книг был опубликован в начале XX в. См.: *Campardon E., Tuetey A. Inventaire des registres des insinuations du Châtelet de Paris. Règnes de François Ier et de Henri II.* P., 1906. Благодаря поддержке Дома наук о человеке мне удалось поработать с оригиналами этих регистров, относящихся ко времени правления Генриха II (*Archives Nationales* — далее: AN, Y 92 — Y 100) и установить определенную типологию актов.
- ² AN, Y 95, f. 158—161, что соответствует № 3269—3270 Инвентаря регистров. В Центральном хранилище нотариальных актов (*Minutier central*) сохранилась минута (т. е. контрольный текст акта, оставшийся у нотариуса) только для первого документа: AN, MC, VIII—75.
- ³ Два фьефа, Левек и Гиенкур, покойный экойе Гильом Дюмулен предназначил для того, чтобы выдать замуж Жанну Дюмулен, самую старшую из его племянниц. Но та позже решила уйти в монастырь Мобюиссон, и тогда дядя передал эти фьефы Шарлю Дюмулену.
- ⁴ То есть в Орлеанском университете. В Париже в силу исторических причин не было факультета Римского права, поэтому подавляющее большинство будущих парижских чиновников и судейских доучивалось в Орлеане, получая там степени лиценциата или доктора Римского права. Этот титул в XVI столетии был уже абсолютно необходим для того, чтобы стать адвокатом. Затем в течение двух-трех лет новички оставались в парламенте на положении стажеров — не вели дел, но ежедневно по утрам присутствовали на процессах, а после обеда слушали наставления более опытных коллег.
- ⁵ Следует отметить, что в регистрах Шатле акты были записаны в обратной хронологической последовательности. Это породило заблуждения у многих, кто писал об этой истории. В частности — у такого знаменитого историка права, как Франсуа Оливье-Мартен: *Olivier-Martin F. Histoire de la coutume de la*
- Prevoité et vicomté de Paris.* P., 1966 (reprint). T. II. P. 490.
- ⁶ Он сам рассказывает об этом в своих предисловиях к комментариям к “Консультациям” Александра Тартаньи в изданиях 1550 и 1561 г.: *Annotationes super consultationes Alexandro [Tartagni] libri 7.*
- ⁷ *Consuetudines sive constitutiones almae Parisorum Urbis, atque ad eo totius Regni Franciae principales. Commentariis amplissimis...* per D. Carolum Molinaum iureconsultum. P., 1539. Цит. по изд.: *Francoforti, 1575.*
- ⁸ *Annotationes super consultatones Alexandro libri 7, cons. 214, § 2.*
- ⁹ Цит. по: *Brodeau L. La vie de m. Charles du Moulin.* P., 1654. P. 17.
- ¹⁰ *Non ad voluptatem et ad divitias sed ad restitutionem, et ad conservationem domus, et otii ad studia instauranda.* Цит. по изд.: *Du Moulin Ch. Tractatus duo analytici... Prior de donationibus, vel confirmatis in contractu matrimonii...* P., 1578. § 84. P. 36. Точно теми же словами он объяснял и свой второй брак в 1558 г. (см.: *Thireau J.-L. Charles du Moulin (1500—1556).* Genève, 1980. P. 46.
- ¹¹ AN, MC, VII-68, акты от 13.05. и 3.06. 1540 г.
- ¹² *Schnapper B. Les rentes au XVIe siècle: histoire d'un instrument de crédit.* P., 1957.
- ¹³ *Brodeau L. Op. cit.* P. 23
- ¹⁴ К сожалению, соответствующая серия регистров Канцелярии содержит немало лакун, и том, относящийся к 1547 г. (AN, JJ, 2577C), доходит лишь до ноября. Однако я почти уверен, что в основе текста письма, выданного Канцелярией, лежал акт отмены дарения от 19 июня 1547 г.
- ¹⁵ Как следует уже из второго акта, Ферри “изъял у него документы, дав ему понять, что всего лишь хочет представить их неким нотариусам [как доказательство того, что] он не является мошенником и что он их ему вернет незамедлительно. Однако он этого не сделал, но, напротив, стал отрицать, что их когда-либо видел, продал то, что бы-

- ло резервировано, чтобы выдать замуж их сестру, и долго вводил указанного заявителя в заблуждение...”
- 16 Следует отметить, что закон Константина говорил лишь о возможности отмены дарений, адресованных вольноотпущенникам. Именно в этом случае щедрость дарителя не должна была идти во вред его потомству. Однако в ходе рецепции Римского права эта оговорка игнорировалась большинством юристов XV–XVI вв.
- 17 *Loysel A. Le dialogue des avocats du Parlements de Paris // Divers traités des mémoires de m. A. Loysel. P., 1651. P. 82–83.*
- 18 Это была Маргарита Майяр, дочь лейтенанта Шатле по уголовным делам.
- 19 Напомню, что дуэр — “вдовья доля”, “*douaire prefix*” — это та часть семейного имущества, которую в случае смерти мужа получала его вдова. Дуэр мог определяться кутюмами или же оговариваться в брачном контракте. Как правило, он находился в определенном соотношении с приданым. Если жена умирала первой, то права на дуэр переходили ее детям, независимо от иных форм наследования. Даже если их отец женился вторично и у него родились новые дети, дуэр оставался неприкасаемой собственностью детей от первого брака.
- 20 *Papon J. Instrument de premier notaire. Lyon, 1575. P. 355–358.* Надо отметить, что труды Папона были весьма популярны у юристов “среднего звена”, у “практиков”. Однако французская “Всемирная биография”, изданная в середине XIX в., отрицала какую-либо значимость его трудов, тогда как статья о Дюмулене выдержана в том же издании в самых возвышенных тонах, в том числе и рассказ о его тяжбе с неблагодарным братом.
- 21 *Contenant que des et depuis 30 ans, qu’il a exercé l’estat d’avocat en ladite cour, il est applique à conférer la pratique avec la theorie et pour le bonne et affectionné desir qu’il a eu, et a au bien public, avancement et promotion des lettres et abbreviation de la science des droictz et pratique..* Текст привилегии воспроизводился Дюмуленом во многих изданиях. Я цитирую его по: *Traicté de l’origine, progres et excelence du Royaume des François... Lyon, 1561.*
- 22 *Cormier T. Rerum gestarum Henrici II regis Galliae libri quinque. P., 1667. P. 74.*
- 23 *Du Moulin Ch. Op. cit. § 85. P. 40.*
- 24 *Barnabe Le Vest. Arrests célèbres et mémorables du Parlement de Paris. P., 1612. XLIX. P. 234–238.* Позже это постановление упоминалось многими “арестографами” Старого Порядка.
- 25 *Brodeau L. Op. cit. P. 62.* Бродо работал над биографией Дюмулена в начале XVII в., приобретя его личные бумаги и книги с пометами у его зятя.
- 26 Термин Дж. Фэрджа: *Farge J.K. Le parti conservateur au XVIe siècle. Université et Parlement de Paris à l’époque de la Renaissance et de la Réforme. P., 1992.*
- 27 AN, MC, XVII-126.
- 28 Именно тогда она упомянула о своем дальнем родстве с Дюмуленами, надолго погрузив в тяжкие раздумья специалистов по генеалогии. Ее мать Анна Болейн происходила из рода, с XIV в. натурализовавшегося в Англии, возможно, что какое-то дальнее родство с бовезийской дворянской семьей Дюмуленов имело место. Во всяком случае, Анна Болейн, прибыв во Францию, прежде чем быть представленной ко двору, некоторое время жила в какой-то дворянской семье в Бовези. Возможно, это были Дюмулены.
- 29 Он прославился своим сводом законов Генриха III — не менее величественным памятником, чем свод кутюмов Дюмулена. Став президентом парламента, он останется в период Лиги в Париже и будет казнен за свои роялистские симпатии и недостаточное рвение в защите веры. См.: *Barnavi E. Descimon R. La Sainte Ligue, le jug et la potence. P., 1985.*

Пьянящее вино свободы

(Дело о несостоявшейся
государственной измене
сэра Джона Смита)

Ранним утром 12 июня 1596 г., собравшись в поле неподалеку от Колчестера (графство Эссекс), отряд местных ополченцев ожидал своего капитана сэра Томаса Льюкаса, чтобы до наступления полуденного зноя заняться под его командой строевыми учениями. Вскоре тот появился в сопровождении двух джентльменов, в компании которых провел предшествующий вечер. Одним из них был высокородный Томас Сеймур, другим — известный в Эссексе ветеран многих военных кампаний, слывший, однако, несколько чужаковатым, сэр Джон Смит. Не успели копейщики совершить несколько маневров, как последний внезапно разразился потоком едкой критики в адрес Т. Льюкаса и, не дав тому опомниться, обратился к ополченцам с патетической речью, предлагая им оставить своего командира и последовать за ним и его другом Томасом Сеймуром. Распалившись сверх всякой меры, он воскликнул: “Вот уже тридцать лет с простыми людьми здесь обращаются, как с подневольными (bondmen), но если вы пойдете за мной, то своими глазами увидите, как будут исправлены злоупотребления и к вам станут относиться как к свободным людям (freemen)”. К этому сэр Джон также присовокупил несколько неместных слов в адрес лорда-казначея королевства У. Берли, одного из наиболее влиятельных членов Тайного совета.

Последовавшее замешательство продлилось недолго: Томас Льюкас обвинил своего недавнего сотрапезника в попытке открытого мятежа против Ее Величества королевы Елизаветы I.

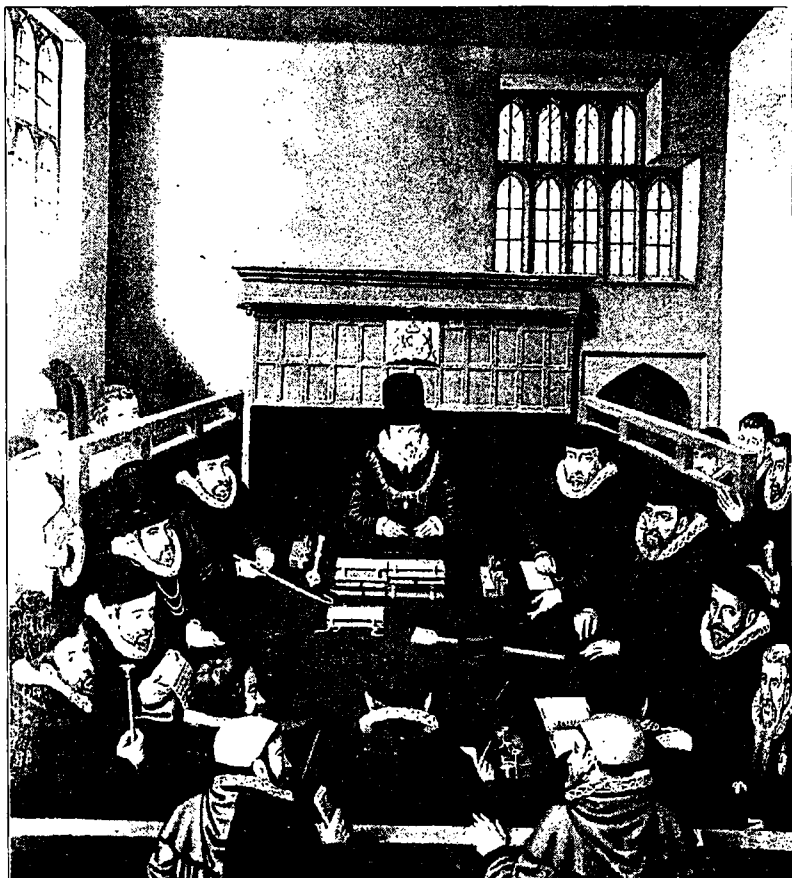
Уже на следующий день эссекский мировой судья Генри Грей препроводил его в Лондон, где не в меру пылкого ветерана водворили в Тауэр.

По установившейся в Англии традиции дело о государственной измене могло рассматриваться непосредственно на месте разъездными королевскими судьями на их четвертных сессиях или передавалось в один из центральных судов — в суд Королевской скамьи, а в тюдоровскую эпоху — преимущественно в Звездную палату. Обвиняемый также мог потребовать для себя

особого суда пэров под эгидой лорда-стюарда. Чаще всего в XVI в для расследования подобных дел создавались особые комиссии, включавшие ведущих юристов и судей обоих вышеперечисленных судов, а также лиц, специально назначенных короной, что позволяло наиболее эффективно отстаивать в ходе процесса ее интересы.

Широко распространенной практикой было и назначение комиссии в составе Тайного совета, многие члены которого по своему статусу заседали в Звездной палате, а также, будучи высшими должностными лицами королевства, олицетворяли собой то самое государство, против которого была направлена “измена” мятежного подданного.

3



Изображение заседания суда под председательством У. Берли

Обвиняемый, таким образом, лишался преимуществ, представляемых открытым судебным процессом в графстве, в частности, присутствия присяжных из местного джентри, большин-

ство которых составляли его соседи, знакомые и родственники. Однако его заведомо уязвимое положение перед лицом пристрастных судей не было совершенно безнадежным.

Абсолютный произвол суда, допускавший фальсификацию любых свидетельских показаний и составление от имени обвиняемого речей, которых он никогда не произносил, характерный для эпохи ранних Тюдоров, во второй половине века ушел в прошлое и уступил место большей законности. Обвиняемого должны были уличить не менее двух свидетелей, дававших показания под присягой. Как правило, судьи елизаветинской поры требовали, чтобы их было больше, чем двое. Расследование дел велось достаточно тщательно, и в тех случаях, когда речь не шла о заранее сфабрикованных процессах крупных политических фигур, оправдательные приговоры в делах о государственной измене были нередки.

13 июня 1596 г. Дж. Смит был подвергнут допросу членами Тайного совета, которым расторопный Льюкас предоставил собранные на месте показания шестнадцати свидетелей “измены”. В ответном письме в Колчестер лорд-казначей У. Берли информировал Льюкаса о ходе расследования: “Призванный отвечать, зачем он туда явился, что сделал и что сказал отряду копейщиков, чтобы убедить их следовать за собой, он отвечал весьма неохотно и неопределенно, за что, по нашему мнению, заслуживал скорее осуждения. Поэтому мы вменили ему в вину и то, каким образом он явился на поле, где стояли, выстроившись, копейщики, и его подстрекательные речи, побуждавшие их следовать за ним, и все остальное, о чем Вы нам сообщили, сопроводив это двумя копиями допросов — пятнадцати йоменов и джентльмена по имени Т. Кокрелл, чьи свидетельства совпадают, позволяя обвинить его в изменнических словах. Он же отвечал на это уклончиво, частично признал свои слова, но утверждал, что не имел в виду ничего, что могло бы быть обращено против Ее Величества, а в остальном юлил, утверждая, будто он забыл, что говорил. В частности, он не желал повторить свои слова обо мне, лорде-казначее, якобы по причине того, что с утра выпил слишком много белого вина вместе с красным испанским (sacke)”. 4

Оправдываясь, сэр Джон попытался породить у судей сомнения относительно своего главного обвинителя — Т. Льюкаса и заявил, что тот — его давний недоброжелатель. Суд пошел ему навстречу и продемонстрировал желание быть объективным: в дополнение к уже имеющимся показаниям из Эссекса попросили прислать беспристрастного мирового судью или всеми уважаемого джентльмена, который мог бы отклонить свидетельства заинтересованных или враждебно настроенных лиц и наблюдал бы за тем, как участники процесса будут приносить присягу.

Серьезность обвинения, выдвинутого против Дж. Смита, заставила тем не менее Тайный совет принять целый ряд энергичных мер по раскрытию и пресечению предполагаемого заговора.

Эссекскому высокому шерифу Т. Майлдмэю были направлены инструкции о немедленном обыске во всех домах, принадлежавших обвиняемому, и конфискации его бумаг, писем, книг, а также любых вещественных доказательств, указывавших на наличие у него сообщников, посвященных в планы вооруженного мятежа.

5 Сочувствующих гипотетическому заговору искали и среди ополченцев, внимавших Дж. Смигу. Льюкас, очевидно, донес, что некий Т. Вендон одобрительно отнесся к “подстрекательным речам”. “Поскольку есть основания подозревать, что и другие были замешаны в этом деле”, писали члены Тайного совета, следовало схватить и вышеупомянутого Вендона, “и любого, кого на основании его слов или дел можно подозревать в изменнических намерениях, и препроводить в тюрьму”.

6 Довольно скоро обнаружив, что он уличен многими свидетелями и утаить смысл его речей не удастся, сэр Джон Смит решил наконец отстаивать свои убеждения, которые так некстати высказал публично на колчестерском поле. По словам У. Берли, “он начал защищаться, утверждая, что по законам королевства ни одному подданному нельзя приказывать отправляться за его пределы, чтобы служить там Ее Величеству. Кажется, он полагает... что поэтому имел законное право советовать людям не служить за границей в наши нынешние времена и, как он утверждает, у него были все основания говорить то, что он говорил”.

7 Увлекая членов Тайного совета на зыбкую почву юридической полемики о правах подданного, сэр Джон Смит делал шаг сколь дальновидный, столь и опасный. Авторитет общего и статутного права* в глазах высшего государственного чиновничества был очень высок. Сумей обвиняемый доказать полное соответствие своих речей букве английских статутов, и его дело стало бы значительно труднее подвести под статью о государственной измене. С другой стороны, его упорство могло быть расценено как сознательное и злонамеренное отрицание королевской прерогативы и лишь усугубить вину подсудимого.

Готовясь к сложному процессу, правительство поручило непосредственное ведение дела и формулирование обвинительных статей ведущим юристам — генеральному прокурору и генеральному адвокату, в помощь которым направили клерка совета У. Уэйда и амбициозного юриста, искавшего расположения власть предержащих, Фрэнсиса Бэкона. Инструктируя их, лорд-казначей Берли предлагал не обращать внимания на выпады

* Общее право — система единых для всего государства юридических норм, сложившаяся в Англии в XII в. на основе обычного англосаксонского права, королевского законодательства и практики королевских судов.

Статуты — законодательные акты, принимавшиеся парламентом с согласия монарха. В XVI в. их рассматривали как особую область общего права (именяя статутным правом), а с другой стороны, выделяли из него в тех случаях, когда было необходимо подчеркнуть принципиальное отличие между прецедентным правом, обычаем и законом.

Смита лично против него: “Я прошу вас воздержаться от расследования каких-либо из его лживых высказываний обо мне”. Юристам предстояло выявить в речах и поступках Дж. Смита состав общественно значимого преступления. 8

Со своей стороны обвиняемый также решил укрепить собственные позиции ссылкой на мнение двух юристов, с которыми он обсуждал ранее вопрос о посылке подданных служить за границу, — неких Риджли и Уайзмана, проживавших в сотне Дендж. В письме из Тауэра, обращенном к совету, Смит настаивал на лояльности своих собеседников, которые “не говорили ничего, что могло бы умалить достоинство царственной и законной власти Ее Величества”, тем не менее все они сошлись во мнении, что в прежние времена английские короли собирали свои армии для отправки за границу из добровольцев. Например, во времена Столетней войны армия Эдуарда III, вступившая во Францию, состояла исключительно из волонтеров. Немедленным следствием откровений подсудимого о его консультациях с правоведами стал арест Николаса Риджли, препровожденного в тюрьму Флит. Между тем теоретические дебаты о королевской прерогативе в делах воинской службы грозили затянуться и отсрочить вынесение приговора, так как среди самих судей не было единого мнения по этому вопросу. 9 10



Аркебузир XVI века

Предмет спора: елизаветинское ополчение. Система комплектования английской армии в XVI в. существенно отличалась от континентальной модели. Собственно под “армией” понимался в то время немногочисленный контингент королевских войск, оплачивавшихся казначейством и предназначенных для обеспечения личной безопасности монарха. “Армии” формировали и во время войны из дворян — вассалов короны, которые в свою



военной подготовки, а государи не имели законодательной базы для привлечения свободных крестьян и горожан на службу в невоенное время, а тем более для посылки их за границу. Тем не менее на практике они все же рассматривали милицию как резерв для пополнения королевской армии и нередко просили поставить уже обученных и хорошо снаряженных на средства графств людей для общегосударственных нужд. Из местных отрядов их брали в определенной пропорции, чтобы не подорвать систему национальной обороны. При этом по традиции графство никогда не отдавало лучших воинов, в заграничные экспедиционные корпуса попадали, как правило, изгои, пьяницы, малоимущие, а следовательно, хуже вооруженные ополченцы.

Пока Елизавете I удавалось поддерживать мирные отношения с соседними католическими странами и ее армия оставалась скромной по масштабам, у правительства не возникало проблем с ополчением на местах. Однако с конца 70-х годов начались серьезные трения с Испанией и Римом, а вторжение испанской армии в Нидерланды создало непосредственную угрозу безопасности Англии. Слухи о планах грозящей испанской интервенции повысили требования к милиции. Особым статутом 1573 г. была проведена реорганизация ополчения: из всей массы свободных мужчин, способных носить оружие, предписывалось отобрать самых крепких молодцов, которых следовало обучать военному делу практически на регулярной основе под командованием опытных капитанов. Подобные роты называли “обученными отрядами” (trained bands) и в отличие от остальных вооружали современным и дорогим огнестрельным оружием.

Прежде спорадические смотры остальной милиции сделались регулярными: капитаны изнуряли своих подопечных маршами, учили их приемам ночного боя, проводили многодневные сборы в лагерях вдали от привычных домов. Содержание ополченцев на таких сборах, их питание, жалование капитанам требовали больших расходов жителей графств, далеко превосходящих то, к чему их обязывали статуты. Однако эти жертвы вполне оправдали себя в 1588 г., когда английская милиция продемонстрировала полную готовность к отражению испанского вторжения.

Тем не менее, когда угроза миновала, ожидаемого облегчения военного бремени не последовало. Напротив, англо-испанское противостояние потребовало посылки английских экспедиционных корпусов в Нидерланды и Францию на помощь братьям по вере, большие силы отвлекала на себя и Ирландия.

Парламенты 80–90-х гг. бесконечно вотировали двойные и тройные субсидии короне на оборону и содержание армий на континенте, однако Елизавете приходилось тратить на эти цели значительно больше, чем она получала от налогоплательщиков. В этих условиях у нее не было иного способа поддерживать дееспособность английских контингентов за рубежом, как лишить

милицию графств прежнего “иммунитета”. С 1585 по 1603 г. более 100 000 человек были призваны из местного ополчения для службы за границей. Теперь уже не велось речи о пропорциональном наборе из особо обученных рот — их забирали целиком. В 1590–1591 гг. по настойчивым “просьбам” правительства лорды-лейтенанты графств и мировые судьи Хертфордшира, Бедфордшира, Бекингемшира, Дорсета, Сомерсета, Уилтшира, Эссекса и Линкольншира обеспечивали этот беспрецедентный рекрутский набор.



Английская армия на марше. 1586 г.

Уходя вместе с оружием и доспехами, лучшие ополченцы оголяли оборону графств, жителям которых приходилось снова и снова тратиться на пополнение общественных арсеналов и растущее жалование капитанам, обязанным в короткие сроки подготовить солдат на смену ушедшим. Все многочисленные взносы на оборону, как общенациональные, так и местные, казались населению единым нескончаемым военным налогом, и довольно скоро началось уклонение от него, как и от самой службы в милиции, которая теперь не гарантировала пребывания дома, а была чревата гибелью вдаль от него. Протоколы заседаний Тайного совета и переписка его членов с местной администрацией в 90-е годы полны свидетельств о повсеместном недовольстве новой военной доктриной правительства и об отказах весьма состоятельных людей платить соответствующие взносы. Корпоративные города немедленно вспомнили о своих средневековых привилегиях не нести расходов на оборону наряду с остальным населением графства, центральные графства, обремененные тратами на милицию, отказывались помогать

приморским снаряжать флот и т. д. На этом фоне возникали спорадические попытки оправдать саботаж службы и платежей с теоретической точки зрения, ссылками на то, что английские государи не имеют права посылать подданных за границу. В сложившихся обстоятельствах этот деликатный вопрос становился весьма болезненным для правительства.

Аргументы сторон. Неожиданная эскапада сэра Джона Смита была, таким образом, горстью соли, щедро высыпанной на раны членов кабинета. Несомненно, им следовало примерно наказать не в меру словоохотливого ветерана за его опасную демагогию, но с правовой точки зрения это оказалось совсем непростом. Парадокс заключался в том, что неопределенность английского законодательства об армии не позволяла ни обвиняемому, ни его судьям убедительно доказать свою правоту. С одной стороны, Дж. Смит не мог опереться ни на один законодательно оформленный акт, прямо запрещающий государю требовать от своих подданных службы за границей, поэтому ему пришлось ссылаться в основном на историческую традицию и прецеденты времен Столетней войны. С другой стороны, его обвинители также оказались неспособны указать четко сформулированную правовую норму в пользу вербовки за моря. Любые ссылки на статуты Генрихов, Марии и Филиппа выглядели неубедительными, ибо, как показано выше, предписывали англичанам лишь обороняться от внешнего вторжения.

Более того, некоторые официальные высказывания относительно местного ополчения, сделанные правительством в 70—80-е годы, объективно усиливали позицию обвиняемого: стимулируя создание особых “обученных отрядов”, Тайный совет тогда всячески подчеркивал их элитный характер. Туда призывали наиболее состоятельных домохозяев, фермеров и йоменов, и местному духовенству было предписано разъяснять с кафедр своей пастве, что эта лучшая часть ополчения предназначена исключительно для защиты и не будет отвлекаться для службы за границей. Сэр Джон Смит прекрасно помнил об этих заверениях, поскольку в те годы командовал ротой ополченцев и весьма гордился своими молодцами, которым не раз публично внушал, что их цель — “охранять покой и счастье их страны”.

Таким образом, не имея опоры в писаной английской конституции, судьи также были вынуждены прибегнуть к прецедентам и выискивать в истории случаи, когда английские ополченцы отправлялись со своим королем за моря. Разумеется, можно было также казуистически толковать вопрос о внешней угрозе. Если вражеская армия стоит в каких-нибудь 30—40 милях и может одним броском преодолеть проливы, отделяющие Англию от континента, не значит ли, что наступление на врага во Франции и Нидерландах есть часть ее оборонной стратегии? Тайный совет не раз прибегал к этой уловке, призывая подданных платить, готовясь к войне, если они желают мира в собственном доме.

Затягивание дебатов было бессмысленным, поскольку позиции сторон оставались приблизительно равными. Более того, чаша весов склонялась в пользу Дж. Смита, ибо всем было ясно, что его точка зрения отражает глубоко укоренившиеся в сознании англичан представления. Прежде всего с ним должны были согласиться юристы общего права, в том числе и его обвинители. Совсем не исключено, что, обсуждая это дело в ухоженных садах юридической корпорации Грейз-Инн или за кружкой эля в таверне неподалеку, прокурор, солиситор и будущее светило английской юриспруденции Ф. Бэкон теоретически признавали, что им не в чем обвинить сэра Джона, хотя ему, конечно, не следовало во весь голос заявлять перед толпой простолодинов, что государыня не властна над их судьбами. Однако, поскольку речь шла не об абстрактной проблеме, а о публичном инциденте, судьи не могли просто оправдать узника, без риска навлечь на себя гнев королевы. Поэтому на чашу весов был брошен самый весомый аргумент — королевская прерогатива.

Королевская прерогатива — одно из расхожих и абсолютно неопределенных юридических понятий тюдоровской поры. Специалисты считают огромным достоинством и проявлением политической мудрости Тюдоров то, что они не стремились четко определить границы своей “прерогативы”, оставляя ее тем самым предельно широкой. Стоило Стюартам попытаться конкретизировать свои права, как они тотчас же оказались вовлеченными в конфликт с нацией, закончившийся не в их пользу. В самом общем смысле под прерогативой понималось все, что позволяло государю осуществлять верховную власть в королевстве (с одной существенной для XVI в. оговоркой: эти права закреплялись за короной нормами общего права). Государь пользовались термином весьма вольно в зависимости от реальных проблем управления, с которыми они сталкивались. Елизавета I, например, распространяла это понятие не только на определение порядка престолонаследия, но и на вопросы управления церковью, а также на право государя даровать подданным монополии в сфере производства и торговли. Однако считалась ли посылка воевать за границу прерогативой короны?

Несмотря на отсутствие четкого определения, некоторые юристы все же излагали свои мнения по этому вопросу. Видный правовед и государственный деятель Т. Смит, служивший авторитетом для многих поколений английских юристов, в частности, полагал что в военное время государь располагает особой “абсолютной властью: слово его — закон, он может присудить к смерти или телесному наказанию любого, кто, по его мнению, заслуживает этого, без какого бы то ни было судебного процесса или разбирательства”. Речь, однако, шла о наказании предателей, бунтовщиков или дезертиров, находившихся в расположении английских войск, но не о принудительном комплектовании армии, которое Смит не относил к прерогативе.

Тем не менее, используя удобную неопределенность понятия, судьи, не сумевшие обвинить Дж. Смита и Н. Риджли в нарушении законов страны, приписали им нарушение королевской прерогативы. Тем самым их вина была обнаружена, хотя и не доказана, пребывание заключенных в Тауэре и во Флите — оправдано, а усилия Тайного совета по предотвращению распространения крамолы — продемонстрированы. Однако вопрос о наказании за этот полупризрачный поступок повис в воздухе: не имея соответствующего прецедента судьи медлили с вынесением приговора. Так как речь шла о королевской прерогативе, ожидали решения самой государыни, но всем уже было ясно, что поскольку официального обвинения в государственной измене так и не последовало, то и приговор не будет слишком суровым. 26 июня 1596 г. сам Дж. Смит осмелился в личном письме к Берли предложить вариант наказания: он был готов публично покаяться на рыночной площади в Колчестере и поклясться в своей верности Ее Величеству. Его, между тем, оставили томиться в Тауэре в ожидании королевского вердикта еще на полтора года. Николасу Риджли повезло больше: он был отпущен из тюрьмы Флит 4 июля 1596 г., после того как подписал покаянное послание к Тайному совету, в котором дважды на разные лады повторял, что “Ее Величество согласно общему и статутному праву этого королевства, может законно принуждать и приказывать своим подданным служить ей за морями, в любых странах, куда бы и когда бы ей ни было угодно их послать, и так было принято во все времена”.

18

19

3 января 1598 г. Елизавета I подписала приказ об освобождении из Тауэра и Дж. Смита. Ему было предписано пожизненно оставаться под домашним арестом в собственном имении Литтл Брэдоу и не отлучаться оттуда далее чем на милю. Это условие неукоснительно соблюдалось до конца правления самой королевы, которую Дж. Смит пережил на четыре года. 1 сентября 1607 г. его мятувшийся дух упокоился в приходской церкви Литтл Брэдоу.

Несостоявшийся процесс над Дж. Смитом и проблемы, возникшие перед его судьями, дают пищу для размышлений о странностях того, что называется “английской конституцией”, неписанная часть которой, базирующаяся на обычае, всегда превосходила зафиксированную на бумаге. При отсутствии четко определенной нормы — ее тут же на месте творили судьи, свобода которых в выборе решения ограничивалась только рамками общего права. Но до какой степени на практике они были преградой для судебного произвола? В случае с Дж. Смитом особая комиссия, бессильная обнаружить состав преступления с правовой точки зрения, тем не менее явно по политическим мотивам настояла на том, что оно имело место, и к тому же исторгла из Н. Риджли заведомо ложное утверждение о возможности посылать англичан воевать за границу, якобы зафиксированной статутами. Создается впечатление, что это признание обвиняемых и было

главной целью судей. Как только “виновные” покаются, их оставили в покое, что достаточно не логично, так как преступление, о котором все наконец договорились, не повлекло за собой наказания. Подмена состава суда или его слияние с властным политическим органом — Тайным советом привели к тому, что добиться от подданного покорности оказалось для комиссии важнее, чем соблюсти формальную юридическую процедуру и довести ее до конца. Английская Фемида, таким образом, сдвинула с глаз повязку и перекосила весы, но при этом, сознавая собственную неpravоту, благодушно не стала сечь мечом повинную голову.

Вышеописанная ситуация была далеко не уникальной в политической жизни тюдоровской эпохи, когда необыкновенная чувствительность к правам и свободам подданного уживалась с произволом, а откровенный деспотизм властей — со всеобщей иллюзией того, что в Англии он ограничен правом и законами, и она является “смешанной монархией”. Теория “смешанной монархии” прочно укоренилась в английской политической мысли уже в XV в. Согласно ей, отношения между государем и подданными носят договорный характер, поскольку верховная власть, получаемая монархом от Бога, передается ему лишь опосредованно — по воле народа. Государь, как и любой подданный, должен подчиняться исторически сложившимся в стране нормам права, которое рассматривалось как “щит против тирании”. Не являясь, согласно этой доктрине, абсолютными монархами, английские короли не могут произвольно распоряжаться ни личностью, ни имуществом своих подданных, подтверждением чего в глазах англичан служила Великая хартия вольностей, превратившаяся в XVI в. в полуполюгендарный документ, на который ссылались как на источник политических свобод народа. Комплекс подобных идей был широко распространен среди дворянства и бюргерства, получавших образование в университетах и ведущих юридических корпорациях Лондона.

Однако сами государи далеко не всегда разделяли эту точку зрения на ограниченную природу своей власти. С начала XVI столетия в английской политической мысли усилилось проабсолютистское течение, связанное с королевской реформацией, настаивавшее на божественном характере ничем не ограниченной монархии, что, безусловно, импонировало Тюдорам, склонным к авторитарному правлению.

Парадокс эпохи заключался в том, что при этом Тюдоры воздерживались от публичного провозглашения своих абсолютистских убеждений, понимая, до какой степени они идут вразрез со всей предшествующей политической традицией. В то же время большинство государственных чиновников и юристов общего права, воспитанных в “ограничительной” традиции по отношению к короне, на практике вели себя крайне осмотрительно и предпочитали не вступать с ней в открытый политический конфликт: их трактаты о “смешанной монархии” и господстве права

в Англии, как правило, писались “в стол” и появлялись на белый свет не раньше, чем их авторы-юристы уходили на покой или в мир иной. Случай с Дж. Смитом отражал распространенный в елизаветинском обществе двойной стандарт в политическом мышлении: опережающий время либерализм в теории и внутренняя цензура на практике, когда ненормативным оказывалось публично высказывать то, что, тем не менее, было признано всеми.

Констатируя, что дело Дж. Смита представляет собой очередную печальную историю о том, как под давлением государственной машины индивидуум отказывается от истины, в которую глубоко верит, и что зарождавшаяся в XVI в. свобода слова была существенно ограничена (не случайно Елизавета I предостерегала своих подданных от оболыщения ею: “Свобода — опасное вино для неугомонных умов”), — можно было бы поставить здесь точку, если бы не наличие в этом казусе иного неконституционного аспекта. Интерес к “человеческому фактору” неизбежно вынуждает нас задаться вопросом о том, что же таилось за странным бунтом отставного эссекского капитана и какие личностные мотивы вызвали столь бурный всплеск его эмоций. Была ли на самом деле неожиданная выходка Дж. Смита драмой донкихотствующего вольнодумца, отстаивавшего, как любили говорить его современники, права “свободнорожденных англичан”?

Уроки критического “ревизионистского” подхода к трактовке английской социально-политической истории научили и тех, кто разделяет принципы “ревизионизма”, и тех, кто с ними полемизирует, не принимать на веру факты, казалось бы, очевидного вольнодумства и бунта против властей, а тщательно исследовать все реальные обстоятельства того или иного поступка, а также сложные взаимосвязи с окружающими, в которых находятся наши главные действующие персонажи. Вступая в это исследовательское поле, нам прежде всего следует ближе познакомиться с сэром Джоном Смитом.

Судьба и карьера этого человека полны удивительных парадоксов, а его жизненный выбор во многих ситуациях оказывался непредсказуемым. Он родился в Эссексе, в поместье Литтл Брэдлоу около 1534 г. в семье католика Клемента Смита и протестантки Дороти Сеймур. По линии матери, которая приходилась сестрой Э. Сеймуру, герцогу Сомерсету, и тетей королеве Джейн Сеймур, Джон Смит был, таким образом, двоюродным братом короля Эдуарда VI. Несмотря на влиятельную родню и возможность сделать успешную карьеру при дворе царственного кузена, наш герой выбрал веру отца и трудную судьбу религиозного неконформиста. Окончив Оксфорд, он не получил официальной степени, а отправился за границу служить волонтером во французской армии. С тех пор на протяжении двадцати лет он сражался во Франции, Нидерландах (на стороне католиков-испанцев), а в 60-е годы в Венгрии против турок вместе с императором Максимилианом II,

который высоко ценил его как военного специалиста. Будучи ревностным католиком, он тем не менее оставался горячим патриотом и никогда не был замешан в интригах иезуитов или священников-семинаристов против Англии и протестантских государей.

Его слава как теоретика и практика военного дела, а также талантливого лингвиста заставила королеву Елизавету I обратить внимание на своего подданного, родственника ее сводного брата Эдуарда, много лет проливавшего кровь за иностранных государей. Ее интерес к нему был продиктован также необходимостью немедленной реорганизации английского ополчения после введения в 1573 г. положения об “особых обученных отрядах”. Попытки правительства сделать милицию более профессиональной наталкивались на отсутствие специалистов, имеющих настоящий боевой опыт. Капитанов для тренировки милиции хронически не хватало, и их перебрасывали из графства в графство по мере того, как они готовили достаточное количество солдат. В таких условиях даже католик пришлось к английскому двору. В 1574 г. Смит передал официальное приглашение королевы вернуться на английскую службу, и он немедленно принял его, отказавшись, по его словам, “от очень лестных предложений некоторых великих иностранных владык”.

В 1576 г. королева вторично пожаловала ему рыцарское достоинство, окончательно покончив с любыми сомнениями относительно его лояльности (в первый раз Смит был возведен в рыцари еще в 1547 г., но опала во времена Эдуарда сделала, по мнению Елизаветы, необходимым повторение церемонии). Сэр Джона использовали не только как военного специалиста. В 1576–1577 гг. его направили с дипломатической миссией во Францию и Испанию, чтобы предложить последней посредничество англичан в урегулировании вопроса о Нидерландах. В Мадриде он снискал расположение Филиппа II и абсолютное неприятие архиепископа Кироги, возмущенного тем, что католик отстаивает интересы “еретиков”. Однако после успешного завершения миссии при дворе не нашли нового применения способностям Дж. Смита как дипломата. Уже тогда его характер казался слишком эксцентричным, а суждения неожиданными, порой вздорными.

В 80-е годы его главным делом становится обучение эссекской милиции. Сэр Джон неизменно значился в списках наиболее уважаемых капитанов королевства. Это почти невероятно, если учесть, что в то время к католикам относились крайне подозрительно: их повсеместно насильственно разоружали и неотступно следили за каждым их шагом, подозревая в них возможную “пятую колонну” испанцев. Авторитет же Джона Смита оставался непоколебимым. В роковой для Англии 1588 г. — год Армады — сэр Джон упорно тренировал ополченцев в ожидании вторжения своих братьев по вере и заклятых врагов. Вместе с Т. Лейтоном и Р. Лейном он организовал 16-дневные сборы, во время которых учил солдат “всему тому, что связано с жиз-

ню в военном лагере, всем видам маршей и маневров, до тех пор, пока эти люди не будут готовы встретить любого неприятеля”. Он искренне гордился своей ротой и тем, что принимал в нее только людей с достойной репутацией — настоящих йоменов, которые веками составляли славу Англии. 20

Одновременно со сборами, по особому распоряжению правительства, Смит производил общую инспекцию состояния оборонительной системы Эссекса: фортов, гаваней, сигнальных биконов и т.п. Графство рассматривалось как важнейший потенциальный театр военных действий в случае высадки испанского десанта, поэтому, когда Армада двинулась к Англии, сюда прибыли основные силы английской армии во главе с графом Лейстером, министром и фаворитом королевы. Приведя к нему свою роту, дотошный специалист Дж. Смит тут же указал графу на неудовлетворительную подготовку остальной армии, которую второпях собирали отовсюду. Отлично сознавая ее недостатки, Лейстер тем не менее не согласился с публично высказанной критикой, и отношения его со Смитом безнадежно испортились. Старый солдат стал просить у главнокомандующего отпуска для лечения на водах, но Лейстер не отпускал его, хотя и не собирался выслушивать его советы, которые называл “напыщенными речами, полными нелепых парадоксов”. Услышав же несколько воззваний Смита к солдатам, пылких и сумбурных, граф стал откровенно намекать окружающим, что тот не в своем уме. 21

После того как угроза испанского вторжения окончательно миновала, Дж. Смит остался не у дел с репутацией честного, но неуживчивого чудака, который не умеет строить отношений с сильными мира сего. Его финансы находились в полном расстройстве, а долги казне не позволяли уехать на воды за границу. Единственным смыслом его жизни оставались теоретические размышления об армии, которые в 90-е годы отставной капитан стал поверять бумаге в виде “маленьких книжечек”; в них он обобщал свой практический опыт и многолетние наблюдения за тактикой и приемами иностранных армий. Уже тогда Смит выказал себя приверженцем старинного фундаментального принципа формирования английского ополчения из людей лучшего сорта — “джентльменов, йоменов, их сыновей и ремесленников солидного достатка”, которых, по его мнению, не следовало отправлять за границу. Эту же точку зрения отстаивал в личной переписке с лордом Берли. С крайней неохотой он признавал, что за моря можно отправлять рекрутов из бродяг и нищих, что помогло бы решить многие социальные проблемы Англии, хотя сама мысль о том, что армия будет состоять из сброда, была для Смита болезненной. Когда же свои графства покидают лучшие солдаты, а ополчение укомплектовывается людьми “низкого сорта”, это чревато подрывом внутренней безопасности королевства. Предвидя вследствие этого многие бедствия, Дж. Смит приводил в пример гражданские войны в Риме и французскую Жакерию. Таким об- 22

разом, тезис о недопустимости отправления хорошо обученных ополченцев за границу вынашивался им задолго до “мятежной” речи под Колчестером.

Другой проблемой, задевавшей его за живое, была буйно расцветшая коррупция, поразившая сначала английское офицерство за границей, а затем распространившаяся и в Англии. Командиры новой формации беззастенчиво утаивали деньги, предназначенные на содержание солдат, брали взятки от ополченцев, не желавших служить, разворовывали оружие и торговали им, подменяя его в арсеналах на устаревшее. Об этом сэръ Джон также доносил лорду-казначею, предлагая, чтобы парламент принял закон против подобных злоупотреблений.

23 Наконец, его третьим любимым коньком была проблема огнестрельного оружия. Парадоксально, но будучи, безусловно, опытным военным, Смит тем не менее предпочитал аркебузе традиционный английский длинный лук и вел по этому поводу долгую полемику с другими известными специалистами. Однако не следует относить это целиком на счет его эксцентричности: огнестрельное оружие того времени было еще весьма ненадежным в бою и порой действительно уступало лукам и арбалетам, особенно если те находились в руках искусных стрелков. Не случайно в 1569 г. в Англии был принят статут, запрещающий хорошим лучникам учиться стрелять из пистолей и аркебуз. Таким образом, Дж. Смит постоянно обращался к прошлому в поисках идеальной модели армии, которую для него воплощал отряд добрых йоменов в зеленых куртках с луками за спиной.

В 1590 г. первый из его трактатов о военном деле, “Некоторые рассуждения, написанные сэром Джоном Смитом...”, был отпечатан в Лондоне, но без соответствующей лицензии. Посвятив его английской аристократии, автор в то же время высказал в нем довольно резкие обвинения в адрес корыстолюбивых дворян-офицеров, не умолчав также о коррумпированности и некомпетентности покойного уже графа Лейстера. Этот трактат и стал началом его бедствий. 14 мая 1590 г. бдительный придворный, выходец из Эссекса Т. Хинедж донес лорду-казначею У. Берли о появлении книги, которая могла “опорочить некоторых верных слуг королевы и вызвать раздоры”. На весь тираж был немедленно наложен арест, а некий анонимный автор быстро написал и распространил в списках отповедь Дж. Смиту. Сэр Джон, не привыкший отступать, тут же составил в характерном для него стиле “Ответ зловернейшему клеветнику на его лживый пасквиль”, обвиняя анонима в том, что тот действовал по внушению самого Сатаны, и бросая ему вызов на дуэль как в переносном, так и в прямом смысле. Его возмутило то, что его верность и забота о благе нации и ее армии ставятся под сомнение из-за амбиций аморальных и коррумпированных военачальников. Он писал: “В моей книге по велению долга я воздал честь Ее Величеству, ее знати, ее Совету и ее королевству и ни-

коим образом не причинил вреда и не опорочил ни одного знатного человека и никого другого, кто служил за границей, но отдал им и всей остальной аристократии должное и не обидел ни одного рыцаря, капитана или джентльмена, или командира роты, никого, кто в войнах вел себя честно и достойно... Я не задел ни одного представителя нашей нации упреком или обвинением, кроме тех только, кто под предлогом новой военной дисциплины с огромной жадностью, безобразиями и жестокостями пренебрегал истинной честью, репутацией и достоинством и не пощадил в бою великое множество, тысячи наших храбрых англичан, навязав тем самым короне и королевству Англии и всей английской нации более жестокую войну, чем нашим врагам”.

26

Смита также поразила и уязвила позиция властей, запретивших трактат “необходимый и полезный для процветания и безопасности королевы и ее государства”. С армейской прямотой в личном письме Берли он заявил, что за все его услуги государству и правительству ему оплатили одними унижениями и пренебрежением со стороны Ее Величества, но он не требует никаких наград: его единственное желание — увидеть свою книгу напечатанной.

27

Упреки старого солдата возымели действие, запрет с книги был снят, и в дальнейшем Смику приходилось полемизировать с оппонентами лишь по чисто профессиональным вопросам, касающимся тактики боя или преимуществ стрелкового оружия. В 1594 г. беспрепятственно вышла в свет его очередная книга “Инструкции, замечания и военные правила, необходимые для всех предводителей, капитанов и офицеров”. Казалось, его отношения с властью предержавшими стали вновь налаживаться. Он даже получил от казначейства в 1596 г. разрешение продать свое поместье Литтл Брэдоду, давно заложенное короне, но по-прежнему жить там до конца своих дней. Одним словом, ничто не предвещало того внезапного срыва, который заключился с ним 12 июня 1596 г., когда Джон Смит увидел перед собой чем-то не приглянувшийся ему отряд копейшиков или, возможно, услышал из уст их капитана не те команды, которые отдал бы сам. Все обиды старика, которому неоднократно давали понять, что его время ушло, а взгляды безнадежно устарели, все недовольство новыми порядками и армейскими командирами выплеснулись в его словах о тридцати годах несправедливого правления, которые уничтожили славное английское ополчение былых времен. Таким образом, в свете его реальных забот и печалей эскапада Дж. Смита скорее выглядела бунтом не сторонника абстрактных политических свобод, а разочарованного и недооцененного профессионала.

Безусловно, пытаясь постичь мотивацию поступка Дж. Смита, не следует совершенно игнорировать версию о заранее подготовленном заговоре и сбрасывать со счетов присутствие рядом с ним его родственника Томаса Сеймура, отец которого граф Хертфорд и старший брат лорд Бошам по крови могли претен-

довать на английский престол (правда, их шансы никогда не расценивались высоко). Не случайно Смит призывал копейщиков пойти за ним и сэром Томасом, чтобы увидеть, как будут исправлены все недостатки современного ему правления. В тюдоровскую эпоху участие потенциального претендента на престол или его родни в любой акции, вызывавшей сомнение в их лояльности, немедленно влекло обвинение в государственной измене и скорую расправу. Показательно, однако, что в данном случае никто из членов Тайного совета не усмотрел в словах Смита и косвенного намека на сговор двух королевских родственников в целях государственного переворота. Вопрос о роли Томаса Сеймура в инциденте не поднимался, и обвинения против него не выдвигались. Это нельзя приписать небрежности судей, поскольку поиски нитей заговора велись очень тщательно: их искали и в личных бумагах Смита, и во время допросов соседей, но тщетно. Результаты следствия, а также неплохое знание характера Дж. Смита, по-видимому, позволили судьям счесть всю подоплеку совершенно иной.

Снисходительность суда определялась, как мы видели, не только и не столько юридической аргументацией сэра Джона, сколько его скорым раскаянием в содеянном, которое оказалось более эффективной линией защиты, чем упорство в спорах с обвинителями. При этом следует подчеркнуть, что оно касалось лишь самого поступка Смита, а не причин, его вызвавших. Как же расценивал и объяснял свои действия сам обвиняемый? Не отказываясь от своих слов о беспорядке в армии, сэр Джон тем не менее сразу же признался судьям, что считает свою выходку редкой глупостью, на которую его подвигло не что иное, как... состояние желудка. Эту версию он многократно и охотно повторял на все лады в оправдательных письмах совету, Берли и королеве. Вкратце, по его словам, механизм превращения его из лояльного подданного в мятежника выглядел так: долгое время сэр Джон, испытывавший частые боли в желудке, придерживался вегетарианской диеты, но, встретившись с друзьями в Колчестере, за ужином он отступил от нее и съел слишком много мясного, а в дополнение поглотил немало "даров моря" — устриц и крабов с острыми приправами. Желудок старого ветерана взбунтовался, и сэру Джону пришлось залить его большим количеством сначала белого вина, которое не помогло, а затем красным испанским. Боли, однако, не прошли, поэтому утром возлияния повторили, и в таком состоянии трое друзей отправились инспектировать войска. По мнению сэра Джона, ядовитые желудочные пары в сочетании с винными и произвели в нем тот самый душевный подъем, который привел его в Тауэр, где скудная тюремная диета помогла восстановить баланс в вышедшем из повиновения организме.

Увы, это саморазоблачение бесповоротно развенчивает сэра Джона Смита в глазах историка, придерживающегося либераль-

но-вигской традиции, ибо наш герой собственноручно снимает с себя терновый венец мученика за свободу, предпочитая ему шутовской колпак. Даже если предположить, что история о пьяной выходке была всего лишь хитрой уловкой подсудимого, призванной снизить пафос ситуации и завуалировать более глубокие причины недовольства Смита, приходится признать, что он слишком активно эксплуатировал эту версию, вновь и вновь демонстрируя свои человеческие слабости.

Доверительный рассказ о них переводил все разбирательство в совершенно иную плоскость: сэра Джон вольно или невольно внушал своим судьям, что перед ними — человек их круга, хорошо известный своей лояльностью, с которым приключилась нелепая случайность, и к нему не стоит подходить с той же меркой, что и к настоящему мятежнику. Личностный момент, привнесенный в ход следствия, безусловно, сыграл свою роль в деле. Члены Тайного совета понимали, что решают судьбу того, кто долгие годы верой и правдой служил государству, был их опорой во времена тяжелых испытаний. Его связывали тесные отношения с У. Берли, и хотя Смита нельзя формально отнести к клиентам лорда-казначея, он не раз выполнял его поручения. Неудивительно, что сочувственные нотки появились в документах комиссии, где инцидент был назван “несчастливым происшествием”.

Деликатность ситуации, в которой оказались судьи, внушала Смиуту надежду на патронат некоторых из них и весьма ободряла заключенного. Из своего узилища он бомбардировал У. Берли письмами, по тону скорее требовательными и нетерпеливыми, чем смиренными. Сэра Джона не устраивали воздух и климат Тауэра, и он настаивал, чтобы лорд-казначей употребил все свое влияние на королеву и вызволил его оттуда как можно скорее. По его мнению, в руках того была сосредоточена такая власть, какой Смит не встречал “за всю свою жизнь при дворе ни одного императора или короля, которых он посещал”. Когда его терпение иссякло, он прямо упрекал Берли за то, что тот “использует его глупую пьяную выходку, чтобы вызвать гнев королевы”, и напоминал, как в прошлом оказывал гостеприимство в своем доме в Эссексе и лорду-казначее, и самой государыне.

В результате режим содержания Смита в Тауэре, определявшийся Тайным советом, оказался не слишком строгим. Все просьбы старика, касавшиеся его удобств и здоровья, были удовлетворены. Уже 20 июня 1596 г. к нему приставили слугу, принимая во внимание преклонный возраст узника. Он мог одевать своего хозяина, готовить ему и свободно премещаться внутри крепости. Единственным требованием к нему было протестантское вероисповедание. Позднее, в сентябре 1596 г. коменданту Тауэра Д. Друри предписали регулярно допускать к Смиуту врача, заключенному также разрешили прогуливаться по саду внутри Тауэра. Он мог даже заниматься ведением своих запутанных финансовых дел. По его просьбе Тайный совет разрешил посто-

29

30

31

янный доступ в тюрьму троих юристов, занимавшихся тяжбами и долгами сэра Джона, а после смерти одного из них покойного, по особому разрешению, заменил кузен обвиняемого и его тезка юрист Дж. Смит.

32 Таким образом, с января 1597 г. узник получал не только юридические консультации, но и непосредственную поддержку родни. Многочисленные ходатаи из весьма разветвленного эссекского клана Смитов постоянно напоминали властям о заслугах ветерана перед государством. В конце концов жалобы и апелляции возымели эффект: 3 января 1598 г. королева подписала приказ об амнистии, однако, как явствует из архива Берли, о том, что она проявит к нему снисхождение, стало известно заранее. Уже 9 марта 1597 г. один из родственников узника, Реджиналд Смит, 33 благодарил Берли за предстоящее освобождение сэра Джона. Таким образом, лорд-казначей все же приложил руку к его избавлению, несмотря на обиды и недоверие старого военного.

Случай с сэром Джоном Смитом ввиду несомненной оригинальности его характера и непредсказуемости поступков на первый взгляд выглядит частным и не располагающим к обобщениям. Тем не менее в этом казусе обнажилась не только застарелая душевная рана “маленького человека”, но целое сплетение нервных окончаний, ведущих к болевым точкам так называемого “политического тела” елизаветинского государства. Эксцентричная выходка отставного капитана, несомненно, отражала подспудное недовольство военной политикой правительства и его чрезмерные финансовым нажимом, зрелее на местах, а также стремление локальной элиты найти правовое обоснование для бойкота требований, идущих из центра. Конфликт в Колчестере позволяет заглянуть и во внутренний мир эссекского дворянского общества с его соперничеством за посты в местной администрации, престижные командные должности с ревнивым отношением капитанов друг к другу и желанием выслужиться перед столицей, выставив соперника в невыгодном свете.

Несостоявшийся процесс над Смитом высвечивает интересные черты институционального развития государства XVI в., причем не только его судебной-правовой системы, о которой шла речь выше, но и других властных структур, демонстрируя сложную и всепроникающую систему личных связей между государственными деятелями различных рангов; распространение феодального патроната наряду с зарождением новой идеологии служения обществу и нации. С этой точки зрения дело Смита — далеко не единственный случай конфликта между властями и лоялистами настроенными подданными.

В 90-е годы мы неоднократно встречаем примеры того, как в роли “смутьянов” оказываются люди, служившие надежными “приводами”, с помощью которых вращались колеса государственного механизма. С 1593 по 1597 г. в Тауэр по разным причинам (в основном за публично высказанные идеи, расхоронившиеся

с официальной политикой правительства в том или ином вопросе) попали Р. Бил, Дж. Моррис, П. Уентворс — люди, близкие к правящим кругам и все, как один, тесно связанные с лордом-казначеем Берли. Подобно Смиуту, они понесли формальные наказания, их карьеры были безнадежно погублены, однако поразительно то, что некоторые из них даже в Тауэре продолжали работать на первого министра, который поддерживал переписку и консультировался с ними по поводу текущих государственных дел.

В современной британской историографии этих слишком верноподданных смутьянов принято называть “людьми дела” лорда-казначея. Они же именовали себя государственными мужами — “commonwealthmen”, принадлежа вместе со своим патроном к одному типу людей, всецело отдававшихся служению короне, нации и государственным интересам. Неся бремя тяжелой работы и ответственности (как, в частности, Смит, создававший систему английской обороны), они позволяли себе и судить о национальных проблемах со свободой, недоступной для любого другого. Однако порой они сталкивались с серьезными проблемами, если их личная трактовка государственного интереса резко расходилась с тем, как его интерпретировала корона. Чрезвычайно сложное ощущение своего подданства, с одной стороны, монарху и патрону, а с другой — нации, стране, государству неимоверно затрудняло личный выбор в подобных ситуациях и почти всегда подталкивало государственных мужей к конформизму. И все же в отдельных случаях они осмеливались настаивать на собственной точке зрения, вступая в конфликт с высшей бюрократической элитой, и тогда, в зависимости от характера и готовности пожертвовать благами должности ради принципов, ситуация развивалась либо в высокую трагедию, либо в трагикомедию, как в случае с сэром Джоном Смитом, который оказался способен на критику правительственной политики лишь благодаря сильному опьянению или, сделав это осознанно, впоследствии смалодушничал.

Тем не менее, даже если отнестись к мятежу сэра Джона самым скептическим образом и согласиться, что в тот момент он был мертвецки пьян, невозможно не заметить, что набор банальных для того времени мыслей о правах соотечественников, роившихся в его затуманенном мозгу, может многое сообщить нам о юридических категориях, которыми он владел, и, безусловно, делает честь политическому сознанию английского джентльмена XVI в.

Примечания

- 1 *Strype J. Annals of Reformation. L., 1884. Vol. IV. P. 13.*
- 2 *Acts of the Privy Council of England. Nendeln, 1974. Vol. XXV. P. 451. (Далее: APC).*
- 3 О процедуре судопроизводства в делах о государственной измене см.: *Elton G.R. The Tudor Constitution. Cambridge, 1984. P. 80–81; Idem. Policy and Police: the Enforcement of the Reformation. Cambridge, 1972. P. 293–326.*
- 4 APC. Vol. XXV. P. 459.
- 5 *Ibid.* P. 501.
- 6 *Ibid.* P. 450.
- 7 *Ibid.* P. 459.
- 8 *Ibid.* P. 507.
- 9 *Ibid.* P. 459.
- 10 *Public Record Office. State Papers 12/259/19. (Далее: PRO. SP).*
- 11 Об организации армии и милиции в Англии см. подробнее: *Cruickshank C.G. Elizabeth's Army. L., 1946; Boynton L. The Elizabethan Militia. 1558–1638. L., 1967; Powicke M. Military Obligations in Medieval England. L., 1962.*
- 12 *Statutes of the Realm. L., 1819. Vol. IV. 4, 5. Philip and Mary.*
- 13 *Ibid.*
- 14 PRO. SP 12/238/22; APC (1590–1591). P. 204.
- 15 APC. Vol. XXI. P. 221, 293, 417, 434–435; Vol. XXIV. P. 44, 45, 361, 477; Vol. XXV. P. 492; Vol. XXVII. P. 143; Vol. XXIX. P. 602.
- 16 PRO. SP 12/173/98.
- 17 *Smith Th. De Republica Anglorum / Complaint and Reform in England. 1436–1714. N.Y., 1968. P. 229.*
- 18 PRO. SP 12/259/36.
- 19 APC. Vol. XXVI. P. 4.
- 20 PRO. SP 12/208/75–76.
- 21 *Boynton L. Op. cit.* P. 124–125.
- 22 *Certain Discourses written by Sir John Smith. L., 1590. P. XXXV; British Museum. Lansdowne MSS, 65, 60. (Далее: Lansdowne MSS).*
- 23 Lansdowne MSS, 64, 45.
- 24 Lansdowne MSS, 64, 43.
- 25 Lansdowne MSS, 64, 57.
- 26 *Ibid.*
- 27 Lansdowne MSS, 65, 62.
- 28 Lansdowne MSS, 82, 71; PRO. SP 12/263/59.
- 29 PRO. SP 12/263/59.
- 30 APC. Vol. XXV. P. 480.
- 31 *Ibid.* Vol. XXVI. P. 191.
- 32 *Ibid.* P. 207, 432.
- 33 Lansdowne MSS, 86, 38.

О.В. Дмитриева



казус

“Пастушка из Домреми”: генезис и семантика образа*

В гигантской портретной галерее исторических деятелей образ Жанны д’Арк — один из наиболее многозначных. По воле авторов бесчисленных сочинений Жанна играла самые разные роли. Ее изображали еретичкой, святой, незаконнорожденной принцессой, лидером партизанского движения, спиритичкой-медиумом, тайной креатурой францисканского ордена и даже чуть ли не “новым Жаком” — потенциальным предводителем крестьянского восстания против феодалов.

Но над всем этим множеством решительно доминируют два образа: воина и пастушки. В огромной иконографии Орлеанской Девы ее изображение “с овечками” стоит на втором месте, уступая лишь изображению “со знаменем и мечом”. Сами эти образы диаметрально противоположны, и поэтому вся история Жанны д’Арк, если попытаться свести ее к краткой формуле, нередко представляла в исторической и особенно в художественной литературе неким “чудом преображения”, внезапного превращения юной пастушки в воина — и даже не просто воина, но в военачальника, полководца. Например, в “Орлеанской девственнице” Шиллера героиня в один прекрасный момент произносит свой знаменитый монолог:

* Публикуемая ниже статья — последняя, не вполне завершенная работа Владимира Ильича Райцеса. После его кончины, осенью 1995 г. этот текст был передан женой В.И. Райцеса — Стеллой Израилевной Абрамович, известным российским пушкинистом (также вскоре скончавшейся), Ю.Л. Бессмертному для публикации.

Имя кандидата исторических наук В.И. Райцеса не нуждается в рекомендациях. Он широко известен как один из крупнейших в нашей стране знатоков Франции XV–XVI вв. и как один из ведущих мировых специалистов по так называемым *études jaaniques* — исследованиям феномена Жанны д’Арк. Нелегкая жизненная судьба помешала В.И. Райцесу реализовать многие из его замыслов, включая и тот, который предполагал анализ причудливых перипетий восприятия феномена Жанны как ее ближайшими потомками, так и многочисленными исследователями двух последних столетий. Публикуемая статья — один из подготовительных набросков к этой ненаписанной книге.

Простите вы, холмы, поля родные;
 Приютно-мирный дол, прости...
 Мои стада, не буду вам оградой...
 Без пастыря бродить вы суждены;
 Досталось мне пасти иное стадо
 На пажитях кровавая войны.

(Пер. В.А. Жуковского)

Для современников Жанны и их ближайших потомков это превращение было настоящим чудом — в прямом смысле слова. Известный трактат Жана Жерсона, посвященный Жанне, был озаглавлен (по-видимому, кем-то из первых читателей) следующим образом: “О чудесной победе некоей Девы, превратившейся из овечьей пастушки в предводителя войска короля Французского в войне против англичан”. Следующие поколения искали рациональное объяснение такого превращения, принимая, однако, за исходный пункт само представление о “пастушке из Домреми”. Это словосочетание прочно вошло в обиход, стало устойчивым оборотом, “третьим именем” Жанны (второе — Орлеанская Дева), естественным элементом массовой исторической культуры.

Представление о Жанне-пастушке опирается на длительную историографическую, литературную и иконографическую традицию. Но когда и при каких обстоятельствах возникло это представление? Насколько оно соответствовало действительности? И главное: что оно значило в глазах современников, какой смысл они в него вкладывали? Вот вопросы, на которые нам предстоит ответить. Иными словами, нам вновь придется заняться “раскодированием” исторического текста, его дешифровкой.

Проще всего ответить на вопрос о “дате рождения” образа Жанны-пастушки. Мы располагаем рядом свидетельств относительно того, что это произошло после того, как Жанна появилась в Шиноне, и до снятия осады Орлеана, т.е. между началом марта и концом апреля 1429 г.

Первое свидетельство исходит из Фландрии. Это письмо Панкраццо Джустиниани, посвященное победе под Орлеаном. Оно было отослано из Брюгге в конце мая 1429 г. и пришло в Венецию 18 июня. Перечитаем интересующую нас часть: “Недели за две до этого события часто говорили о множестве пророчеств, которые ходили по Парижу, и других подобных вещах. Согласно им, дофин должен сильно преуспеть. По правде говоря, мы с одним итальянцем держались иного мнения о положении дел и очень потешались над этим — в особенности над некоей девой, овечьей пастушкой (una poncela vardaresa de piegore), родом из Лотарингии, которая месяца полтора тому назад явилась к дофину и желала говорить только с ним и никем иным”.

Здесь обращают на себя внимание два момента. Во-первых, автор письма, еще очень мало что знавший о Жанне, тем не менее

уверенно называет ее пастушкой. Во-вторых, он ссылается на сведения, полученные из Парижа, и упоминает о ходивших там слухах.

Какие слухи имелись в виду — по счастью, мы можем проверить и уточнить. Как раз в апреле 1429 г. безымянный автор “Дневника парижского буржуа” (предполагают, что это был клирик, близкий к университетским кругам, сторонник “бургундцев”) сделал такую запись: «В это время появилась на берегах Луары некая дева, которая называла себя пророчицей, говоря: “То-то должно непременно произойти”. Приверженцы арманьяков утверждали, что когда она была маленькой и пасла овец, то лесные и полевые птицы слетались к ней по ее зову и клевали крошки с колен. На самом деле все это выдумки (аросгупhum est)».

6

Близость этой записи к письму Джустиниани совершенно очевидна. Слухи о деве-пророчице и овечьей пастушке дошли от берегов Луары через Париж до Брюгге, а оттуда до Венеции.

Другой ранний источник сведений о Жанне-пастушке находится на противоположном по отношению к Брюгге конце Франции — в Ларошели. Это “Записки секретаря ларошельской мэрии”, в которых содержится подробный, хотя и малодостоверный, рассказ о первой встрече Жанны с Карлом VII. Во время аудиенции Жанна, по словам составителя “Записок”, сказала дофину, что у себя на родине, в Вокулере, она “занималась пастьбой овец (elle avait toujours gardé les brebis) и часто, когда она их пасла, ей были видения, и она [получала] повеления явиться к нашему государю-королю, и по этой причине она отправилась в путь и пришла по воле Царя Небесного”.

7

Здесь следует отметить новый элемент в представлении о Жанне-пастушке: видения и “голоса” Девы связываются с ее пастушьям “ремеслом”. Кроме того, в отличие от частной корреспонденции Панкраццо Джустиниани и дневника парижского клирика записки секретаря ларошельской мэрии носят официальный характер; они велись по поручению магистрата и вносились в особый регистр, который хранился в архиве ратуши.

Такой же характер носит и мемориальная запись в городском картулярии Альби (Южная Франция), посвященная Жанне; она была сделана, по всей вероятности, в конце мая 1429 г., когда в Альби пришло известие о поражении англичан под Орлеаном. В ней в частности говорилось: “Да сохранится в памяти всех — как ныне живущих, так и их потомков — чудо, каковое явил наш Господь-Бог Иисус Христос нашему благородному государю и суверенному сеньору Карлу, сыну Карла.

Да будет ведомо, что в месяце марте лета 1428 явилась к названному благородному королю некая юная девушка, [именуемая] Девой (una filha, Puzela Jobe), возрастом от четырнадцати до пятнадцати лет, из земли и герцогства Лотарингского, каковая земля лежит близ пределов немецких. И была названная Дева несведущей пастушкой и занималась тем, что пасла овец”

- 8 (Q,V, 301). Далее следует краткий рассказ о деяниях Девы, в котором достоверные сведения переплетены с вымыслом.

Итак, Брюгге, Париж, Ларошель, Альби — вот зафиксированный в источниках ареал распространения весной 1429 г. известий о Жанне-пастушке. Ареал, как видим, очень широкий: он охватывает по существу всю Францию. Обратим внимание и на такое обстоятельство: Жанна предстает в цитированных текстах как “профессиональная” пастушка: пасти овец — ее единственное занятие.

Пока что перед нами простая, хотя и важная, констатация. Здесь еще нет проблемы, не за что зацепиться мысли. Проблема возникает, когда мы поставим вопрос о том, в какой мере представление о “пастушке из Домреми” соответствовало действительности. Для ответа на него мы естественно обратимся к наиболее надежным источникам: к показаниям самой Жанны на руанском процессе и к свидетельствам ее односельчан на процессе реабилитации.



Изображение Жанны Д'Арк на полях протокола ее допроса в регистре Парижского парламента

* * *

- 9 Руанские судьи, конечно же, знали, что общая молва называет Жанну пастушкой, и они дважды обращались к этому сюжету. На втором публичном допросе (22 февраля 1431 г.) подсудимую спросили о ее занятиях. В протоколе было сказано: “Спрошенная, была ли она обучена в юности какому-либо ремеслу, отвечала, что да — прясть и ткать холсты и что она не побоялась бы состязаться в этом с любой руанской мастерицей”. Затем она

добавила, что, живя в отцовском доме, занималась делами по хозяйству, но не пасла ни овец, ни других животных.

Этот ответ чем-то не удовлетворил трибунал, и на следующем допросе, через день, вопрос был поставлен прямо: “Спрошенная, пасла ли она скот на пажитях (*utrum ducabant animalia ad campos*), сказала, что она уже отвечала на это. С тех пор, как подросла настолько, чтобы помнить себя, обычно не пасла, но охотно помогала отгонять его [скот] к Островному замку из страха перед солдатами. Но пасла или нет, когда была маленькой, — этого она не помнит” (Т, I, 65).

Почему судьи так интересовались пастушьям “ремеслом” подсудимой — это мы поймем позже, когда нам станет ясным общее представление того времени о пастухах, а пока что ознакомимся со свидетельскими показаниями земляков Жанны на процессе реабилитации.

Как известно, следственная комиссия, прибывшая в Домреми в конце января 1456 г., проводила расследование на основе предварительно составленного вопросника из 12 статей, одна из которых, седьмая, посвящена занятиям Жанны “в юности”. В течение трех дней, с 28 по 30 января, комиссия опросила 21 свидетеля; 19 из них ответили на вопрос о занятиях Жанны. Вот ответы людей, которые знали ее особенно хорошо.

Жан Морель, 70 лет, крестьянин из Гре, крестный отец Жанны: “Ходила за плугом, иногда пасла скот на пажитях (*in campis*), занималась обычным женским делом, пряла и делала все остальное”; “...пряла, ходила за плугом и пасла скот” (D, I, 254). 10

Беатрис, вдова Эстелена, крестьянина из Домреми, 80 лет, крестная Жанны: “Занималась разными делами в отцовском доме, иногда пряла коноплю и шерсть, ходила за плугом и на жатву, когда наступала пора, иногда, когда приходила очередь ее отца, пасла скот и деревенское стадо” (*Ibid.*, 258).

Овьетта, жена Жерара де Сионн, крестьянина из Домреми, 45 лет: “Работала, как другие девушки, делала домашнюю работу, пряла и иногда, как я сама это видела, пасла скот своего отца” (*Ibid.*, 275).

Манжетта, жена Жана Жойара, крестьянина из Домреми, 46 лет: “Дом моего отца стоял рядом с домом отца Жаннетты, и я хорошо знала Жаннетту-Деву, потому что часто пряла вместе с ней и делала другую домашнюю работу днем и вечером (...); она ходила жать и иногда, когда подходили время и черед, пасла скот и при этом пряла” (*Ibid.*, 285).

Аналогичные показания дали и другие односельчане Жанны. Их ответы на вопрос следственной комиссии не только очерчивают круг повседневных занятий дочери Жака Дарка, но и позволяют установить здесь определенную иерархию. На первое место большинство свидетелей (14 из 19) ставят работу по дому; почти все они упоминают прежде всего прядение (вспомним, что и сама Жанна ставила себе в заслугу в первую очередь уме-

ние прясть и ткать холсты). Затем следуют полевые работы (ходила за плугом, жала) и уже потом — участие в выпасе скота. При этом почти все свидетели отмечали, что Жанна пасла скотину лишь иногда (“aliquotiens”), когда подходил черед ее отца (“secundum turnum patris”; “ad turnum pro patre”). Здесь имеется в виду помощь общинному пастуху-профессионалу.

Таким образом, широко распространенное еще при жизни Жанны представление о “пастушке из Домреми” не находит подтверждения в реальной биографии героини. Но как же в таком случае возникло это представление? И прежде всего: где находится источник тех слухов, которые разошлись весной 1429 г. по всей Франции?

* * *

Снова обратимся к уже известным нам текстам. Панкраццо Джустиниани пишет из Брюгге: “Овечья пастушка явилась к дофину”. В дневнике парижского клирика сказано: “...появилась на берегах Луары”. В ларошельском регистре: “...пришла к королю”. В картулярии Альби: “...явилась к благородному королю Франции”. Все они ясно указывают на двор дофина.

Мы располагаем и прямым доказательством того, что версия о Жанне-пастушке исходила из ближайшего окружения Карла VII. Речь идет об известном письме Персевалья де Буленвилье — камергера и советника Карла — миланскому герцогу Филиппу Марии Висконти от 21 июня 1429 г.

В этой первой апокрифической биографии Жанны за описанием необыкновенных обстоятельств, сопутствовавших рождению Девы, следует фантастический рассказ о ее детстве: “Дитя росло. Когда девочка достигла семилетнего возраста, родители по крестьянскому обычаю поручили ей пасти овец. И у нее не пал ни один ягненок, и ни одно животное, доверенное ее заботам, не было растерзано хищным зверем” (Q, V, 117). Здесь само собой напрашивается сопоставление с рассказами “арманьяков” о детстве Жанны в передаче автора парижского дневника: “Когда она была маленькой и пасла овец, то лесные и полевые птицы слетались к ней по ее зову и клевали крошки с колен”.

Персеваль де Буленвилье — так же, как и секретарь ларошельской мэрии — связывает пастушеские занятия Жанны с ее первыми видениями. В его послании описывается сцена, как будто целиком перенесенная со страниц “Золотой легенды”.

Однажды, когда Дева с подружками пасла овец, девочки затеяли состязание в беге; призом был букет цветов или что-то другое в этом роде. Дева бежала быстрее всех — так, что одна из подружек воскликнула: “Жанна (“Ибо таково было ее имя” — поясняет автор, впервые называя Деву ее “мирским” именем), я вижу, как ты летишь над землей”.

«Усталая, она прилегла на траву, чтобы перевести дух. Внезапно перед ней предстал некий юноша. “Ступай домой, Жанна, — сказал он, — мать говорит, что ты ей нужна”. Она решила, что это ее брат или кто-то из соседей, и поспешила домой. Но там ее встретила удивленная мать и принялась бранить за то, что она оставила овец без присмотра. “Разве не ты позвала меня?” — спросила невинная Дева. — “Нет”, — ответила мать.

Решив, что юноша ее обманул, [Дева] направилась было к подругам, как вдруг пред ее очами возникло сверкающее облако, и из него раздался глас: “Жанна, тебе предназначена совсем иная жизнь. Ты призвана свершить чудо, ибо тебя избрал Царь Небесный, дабы спасти королевство Французское, помочь королю Карлу, изгнанному из своих владений, и защитить его. Ты наденешь мужской костюм, станешь военачальником, и все будет вершиться по твоему совету”» (Q, V, 118):

Нет нужды говорить о том, что этот легендарный эпизод не имеет ничего общего с действительными обстоятельствами первого видения Жанны, известными нам по материалам руанского процесса. Но при знакомстве с ним приходит на память евангельский рассказ о явлении ангела пастухам (Еванг. от Луки. 2, 8—15). ✓ Разумеется, эта ассоциация возникла и у современников Жанны, и именно на такой эффект было рассчитано послание Буленвилье.

Впрочем, не только в этих ассоциациях — и даже не прежде всего в них — следует искать ключ к дешифровке образа Жанны-пастушки хотя бы потому, что с письмом Буленвилье были знакомы многие, тогда как представление о Деве-пастушке — явление массового порядка. Ключом здесь, видимо, может служить фраза, которую обронил мимоходом — и в этом-то как раз и заключается ее особая ценность — очевидец первой встречи с дофином.

Речь идет о Рауле де Гокуре, одном из самых видных и влиятельных людей в окружении Карла VII; во время осады Орлеана он был губернатором города и комендантом Шинона. Спустя четверть века 85-летний сьер де Гокур, великий мажордом двора, дал краткие, но очень точные показания на процессе реабилитации. Престарелый мажордом начал их так: “Я был в Шиноне, когда туда явилась Дева, и видел, как она предстала перед его королевским величеством с великим смирением и простотой, подобно бедной пастушке” (D, I, 326).

“Подобно бедной пастушке...” Главный интерес для нас и заключен в этом “подобно”. Как видим, сам Гокур вовсе не считает Жанну пастушкой. Он ее хорошо знает, провел с ней “звездный час” своей долгой жизни — кампанию по освобождению Орлеана. Гокур лишь *уподобляет* ее пастушке, потому что для него — так же, как и для многих его современников — пастухи и пастушки были воплощением смирения и простоты. “Простушкой-пастушкой” (“*una simplex bergerata*”) называет Жанну и другой свидетель на процессе реабилитации, мэтр Франсуа Гаривель, генеральный королевский советник в палате

косвенных сборов; он, однако, с Жанной знаком не был и видел ее только издали в Пуатье 15-летним юношей (D, I, 328).

Словосочетание “простая пастушка” встречается нам и в тексте совсем иного рода: “Сказе о Жанне д’Арк” Кристины Пизанской, написанном в конце июля 1429 г., вскоре после коронации Карла VII. Сравнивая Деву с библейскими и античными героями, Кристина пишет, что, когда Бог творил великие чудеса посредством Иисуса Навина, его орудием был мужчина, человек сильный и могущественный. “Но вот женщина, простая пастушка, оказывается героем больше, чем кто-либо из римлян, и Бог делает это с легкостью” (Q, V).

* * *

Развернутую аргументацию в защиту тезиса о том, что Бог не случайно поручил миссию спасения Франции простой пастушке, мы находим в любопытном документе — письме итальянского гуманиста Козимо Раймонди из Кремоны, адресованном Джованни Корвини д’Ареццо, советнику миланского герцога Филиппо Мария Висконти. Хотя само письмо не датировано, но из содержания его ясно видно, что оно было написано в 1429 или в 1430 г. — во всяком случае до того, как его автор узнал о пленении Жанны.

В начале послания Козимо делится с адресатом теми сомнениями, которые охватили его, когда из Франции пришли первые слухи о Деве. Можно ли им верить? Но слухи множились, получали все большее распространение и выглядели все более правдоподобными. С другой стороны, необычность этого великого, доселе неслыханного события побуждала многих отказываться верить им. “Эти люди были не в состоянии убедить себя в том, что для возрождения к прежнему величию столь славной и огромной страны, как Франция, столько лет угнетаемой и опустошаемой англичанами, Бог послал и предназначил женщину, даже девушку, которая всю свою жизнь провела со скотом и домашними животными, да и сама происходит от родителей не только низкого звания, но от пастухов”. “Если бы Бог так поступил, — утверждают скептики, — то Он сам забыл бы о собственном достоинстве и величии, показав, что действует без ума и рассудка”, — писал Козимо Раймонди.

“В самом деле, ничто так не расходится с разумом, нежели [решение] выбрать для восстановления измученной и разоренной страны несведущую и неопытную девушку, лишенную какого-либо авторитета. Не пристало Богу испытывать нужду в помощи девушки; у такой предводительницы (*in hac imperatrice*) нет ни благоразумия, ни серьезности, ни военных знаний, чтобы ей можно было поручить столь важное дело. Смешно думать, что не нашлось никого, кроме женщины, в такой великой стране, где имеется столько предводителей (*proceres*), включая само-

го короля. Поэтому многие склоняются к мнению, что различные слухи о Деве надлежит полагать скорее ложными и вымышленными, нежели правдивыми.

И впрямь в это трудно поверить. [Одно из двух:] или действительно Бог, как полагали древние философы, не печется о том, чтобы мир и люди управлялись посредством внешних советов; или же, согласно учению нашей истинной и мудрейшей религии, Он наблюдает даже за мелочами (*etiam inferiora ista animadvertat*). Но тогда не верится, что Бог избрал юную пастушку, чтобы возглавить столь важное дело”.

Изложив позицию скептиков, Козимо Раймонди переходит к обоснованию своей точки зрения. Он черпает доводы из самого авторитетного источника — Священного Писания. “В самом деле, — спрашивает он, — что необычного в избрании [Господом] юной пастушки для возведения кого-то на царство? Гораздо более необычно, когда такой избранник сам становится королем. Но мы читаем об этом”. Пастухом был Давид, которого по всемогуществу Бога народ избрал царем Иудеи. “Мы удивимся тому, что Дева с немногими воинами обратила в бегство столь многочисленное войско. Я не сказал бы, что такое могло случиться либо благодаря удачно выбранной позиции (*loci opportunitate*), либо вследствие внезапности нападения и растерянности противника; я предпочитаю иметь здесь дело с чудом. Но не удивительно ли и не выглядит ли это почти вымыслом, когда один безоружный нападает на трехсот [врагов], и одолевает их и предает смерти? Однако же мы читаем в [священных] книгах о том, как длинноволосый Самсон, лишь ослиной челюстью вооружившись, напал на филистимлян, каковые и числом триста и с оружием были, и всех их начисто истребил. Но если такого рода подвиги, о коих я не буду более распространяться, были совершены во стародавние времена, то я не вижу со своей стороны [причин], почему это не могло бы произойти и ныне”.

Высказав несколько суждений относительно пророческого дара Девы (этот сюжет нас в данном случае не интересует), Раймонди возвращается к центральной проблеме своего послания: вопросу о том, почему спасительная миссия была поручена именно пастушке. “Удивление чаще всего вызывает не то, что божественные видения имела женщина, но что женщина эта была пастушкой — как будто такого никогда не случалось, чтобы Бог или ангелы сближались с пастухами”. Следуют библейские примеры: Иаков, Моисей, Давид, вифлеемские пастухи... “А посему не нужно удивляться тому, что и ныне молодая пастушка была удостоена божественных видений и речей, так как из древних и новых книг мы узнаем, что такое случалось очень часто. Не будем также полагать, что Бог поступил здесь необдуманно — и нынче, приблизив к себе женщину-пастушку, и в прежние времена, когда Он поручал пастухам столь важные миссии. Они Ему больше всего милы и любезны, ибо Он знает,

что это безупречные люди (*quos esse sciat integerrimos*). В самом деле, разве существует на земле более святой и невинный образ жизни, нежели пастушеский?

Пастухам неведомы ненависть и зависть; они довольны своей благоразумной, умеренной, честной и простой жизнью. Они лишены тщеславия, отличаются многотерпением, трудолюбием и благочестием. Вот почему пастух Давид был избран царем, и даже сам Христос пожелал не только родиться в пастушьем жилище, но и вести свой род от первых пастырей. Не нужно, стало быть, удивляться тому, что женщина, вышедшая из столь славной среды (*ex familia tam bene instituta et graedita*), сблизилась с Богом”.

“Если мне возразят и спросят, — заканчивает Раймонди интересующую нас часть послания — почему Бог не поручил такую важную миссию какому-либо герою, или самому королю, или другому человеку, имеющему большую власть, то отвечу, что в данный момент я взял на себя лишь одну задачу: проверить, насколько дошедшие до нас слухи о Деве являются правдоподобными. Я добавил бы также, что не настолько уверен в своей проникательности и не настолько безрассуден, чтобы осмелиться проникнуть в сокровеннейшие и глубочайшие замыслы Бога. И в заключение сошлюсь на [слова] апостола: *non plus sapere quam oportet, noli altum sapere sed time*”.

Итак, прослеживая формирование образа Жанны-пастушки, мы вновь приходим к тому фундаментальному понятию, которое в глазах современников определяло самую сущность “феномена Девы”: понятию простоты как социально-этической и теологической категории. Относя Жанну к “простецам”, ее сторонники связывали с этим представлением о “простой Деве” (*simple pucelle, simplex puella*) — орудии Божественной воли. Образ Девы-пастушки — производное от *simplicitas*, своего рода реальный комментарий к тезису о божественном характере миссии Жанны-Девы.

* * *

Но здесь необходимо сделать очень важное уточнение. В отличие от образа Жанны-Девы (*Jeanne la Pucelle*) образ “пастушки из Домреми” появился не в народной среде. Его колыбелью был, по видимому, двор Карла VII, точнее говоря, королевская канцелярия, откуда весной 1429 г. рассылались в ближние и дальние города известия о появлении чудесной пастушки. Во всяком случае, сама Жанна, считавшая себя той “простой девой, посредством которой было угодно действовать Богу, дабы отразить недругов королевства” (Т, I, 139), решительно противилась намерению судей представить ее пастушкой. Ей были совершенно чужды и литературная символика этого образа, и его теологическая интерпретация. Но аристократы и “книжники” видели в ней пастушку.

Генезис и семантика образа Жанны-пастушки не могут быть поняты вне общего контекста пасторальной культуры, поздний,

но необыкновенно пышный расцвет которой приходится на пору “осени средневековья”. Чем кровавее была эпоха, чем грубее и жестче нравы, чем разительней контраст между действительностью и буколическим идеалом, тем сильнее была тяга к этому идеалу. “Пастораль, — замечает Й. Хейзинга, — по своей сути означает нечто большее, чем литературный жанр. Здесь дело не только в описании пастушеской жизни с ее простыми и естественными радостями, но и в следовании образцу. Это — Imitatio... Это было желанное бегство, но не в действительность, а в мечту”. Пасторальное начало пронизывает аристократический досуг: чтение, маскарады, любовные приключения и даже турниры. “Все готово обратиться в пастушеское травести”. Придворные кавалеры и дамы с увлечением разыгрывают роли пастухов и пастушек. Королева Изабелла Баварская покупает овчарню в Сент-Уэне и часто появляется там со своими фрейлинами. Король-поэт Рене Анжуйский и его жена Изабелла Лотарингская пасут стадо в вересковых пустошах — в пастушеских шляпах, с посохами и сумой.

13

И когда в этот условный пасторально-куртуазный мир — мир игры, аллегорий, символов и масок — врывается молодая всамделишная крестьянка, на нее смотрят сквозь призму пасторальных стереотипов.

Вот характерный пример такого восприятия. В показаниях Дюнуа на процессе реабилитации описывается сцена, которая часто некритически воспроизводится в биографиях Жанны. Дело происходило после коронации в Реймсе, когда французская армия совершила триумфальный марш по Шампани и Иль-де-Франсу. Жанна ехала верхом между реймским архиепископом Реньо де Шартром и Дюнуа (тогда еще орлеанским бастардом; графом Дюнуа он стал в 1439 г.). Повсеместно короля встречали толпы народа, радостно кричавшие: “Ноэль!”.

“Какой славный народ, — сказала Дева, — я никогда еще не видела другого народа, который так радовался бы при виде столь благородного короля. И как я была бы счастлива, если по окончании моих дней я могла бы быть погребенной в этой земле”. Услышав это, реймский архиепископ спросил: “О, Жанна где вы надеетесь умереть?” На что она ответила: “Там, где будет угодно Богу. Я не знаю ни времени, ни места — не больше, чем вы. О, если бы было угодно Богу, Создателю моему, чтобы я могла сейчас удалиться, оставив оружие, вернуться к отцу с матерью и служить им, пасти овец с сестрой и братьями, которые так будут рады вновь увидеть меня” (D, I, 325).

Происходил ли этот разговор в действительности? Высказывала ли Жанна намерение вернуться домой, чтобы “пасти овец с сестрой и братьями”? Весьма сомнительно. Во-первых, как мы знаем, Жанна не считала пастушество своим главным или тем более единственным занятием: на первое место она ставила умение прясть и ткать. Во-вторых, сестры ее к тому времени уже

не было в живых, старший брат жил отдельно в соседней деревне, а двое других следовали за ней в рядах французского войска. В-третьих, и это важнее всего, она вовсе не полагала свою миссию законченной: в ее дальнейшие планы входило освобождение Парижа и изгнание англичан из Франции. По всей вероятности, Дюнуа измыслил — вернее, домыслил — этот эпизод, исходя из представления, что у себя на родине Жанна была пастушкой.

Такие же сомнения внушают и показания другого принца крови, герцога Алансонского. По его словам, накануне штурма крепости Жаржо Жанна, видя колебания некоторых капитанов, сказала, что “если бы она не была уверена, что сам Бог руководит этим делом, то предпочла бы пасти своих овец и не подвергаться стольким опасностям” (D, I, 383).

Сомнения вызывает не самый эпизод, а точность передачи слов Жанны. Дело в том, что в показаниях ее ближайшего сподвижника, Жана из Меца, упоминаются очень близкие по смыслу слова Жанны — с одним несущественным, на первый взгляд, отличием, которое, однако, имеет для нас в данном случае принципиальное значение. По свидетельству Жана из Меца, во время их первой встречи в Вокулере Жанна сказала: “Я предпочла бы прясть подле моей бедной матери <...>, но нужно, чтобы я шла [к дофину], ибо того хочет мой Господь” (D, I, 290).

Думается, что здесь, как обычно в своих показаниях, Жан безукоризненно точен; что же касается Алансона и Дюнуа, то оба принца, бесконечно далекие от реалий крестьянского быта, вложили в уста Жанны чуждое ей, но характерное для аристократической пасторальной культуры противопоставление безмятежной пастушеской жизни тяготам и опасностям ратного труда.

Итак, судя по всему, образ Девы-пастушки не возник спонтанно в широком общественном сознании, но был “сконструирован” в кругу образованной элиты “Буржского королевства” на основе стереотипов восприятия феномена Жанны и самой ее личности, неких перцептивных клише, опиравшихся в свою очередь на образно-семантическую систему пасторальной культуры. Однако “среда обитания” этого образа была, как мы могли в том убедиться, очень широкой. За короткое время версия о появлении при дворе Карла VII чудесной пастушки разошлась по всей стране и за ее пределами. И в этом ведущую роль сыграли массовые религиозные представления.

Речь идет прежде всего об общеизвестных библейских сюжетах и образах. Кто в христианском мире не знал евангельского рассказа о возвещении пастухам Рождества Спасителя? Кому были неведомы имена ветхозаветных патриархов — пастырей и пророков? Кто не изумлялся подвигам Давида, взятого Господом от овец своих? И когда до простых людей во Франции дошли слухи о явившейся к королю овечьей пастушке, они увидели в том Божий промысл и были готовы согласиться с ясным

и убедительным доводом в пользу божественного характера миссии Жанны-Девы: “Если для того, чтобы спасти свой народ от ига филистимлян, Бог взял Давида от стад его, что невероятного в том, что Он вознес эту девушку от стад овечьих, чтобы ее рукой освободить народ христианнейшего королевства Французского от тиранического ига англичан?” (D, II, 236).

О популярности образа Жанны-пастушки свидетельствует — с совершенно неожиданной стороны — эпизод, описанный в “Дневнике осады Орлеана”. 30 апреля 1429 г., на завтра после вступления Девы в осажденный город, англичане вернули по ее требованию (которое Дюнуа подкрепил угрозой перебить всех пленных) французских герольдов. При этом они просили передать ей, что ее ждет костер, а также, “что она всего-навсего шлюха (*une gibaulde*) и посему ей бы лучше вернуться [домой и] пасти коров. Дева, по словам автора “Дневника”, была этим сильно разгневана и в тот же вечер направилась к баррикаде на мосту, перед захваченным англичанами фортом Турель, в котором размещался отряд Вильяма Гласделя. Она вновь потребовала имени Бога, чтобы англичане сняли осаду. “Но Гласдель и другие из его роты отвечали мерзко, оскорбляя ее и снова называя коровницей (*vachière*), крича во весь голос, что сожгут ее, как только схватят. На это она им без большого гнева ответила, что они лгут, и вернулась в город” (Q, IV, 155). Характерно, что, оскорбляя Жанну, английские солдаты называли ее “коровницей”; это прямая насмешка над дошедшим до них известием о появлении во французском войске овечьей пастушки (*la bergère*), уничтожительная инверсия того образа пастушки-простушки, с которым сторонники Жанны-Девы связывали представление о кротости, смиренности, неискушенности и нравственной чистоте.

Говоря о формировании образа Жанны-пастушки, не следует упускать из виду и существование его фольклорного прототипа. Речь идет о персонаже популярной французской пасторали “Английский король и восемьдесят дев”. Известно ее несколько локальных вариантов, причем в каждом из них центральным эпизодом является поединок английского короля и французской пастушки, из которого пастушка выходит победительницей.

Наибольший интерес для нас представляет та версия, где пастушка, на “гербе” которой изображены золотой крест и цветок лилии, отправляется на войну с королем. Мы не можем с достоверностью судить, существовала ли эта версия до появления Жанны или, напротив, само это событие наложило свой отпечаток на ее окончательную редакцию (что представляется более вероятным). Но это в конце концов не столь уж важно. Несомненно одно: современникам Жанны был знаком фольклорный мотив, моделирующий в той или иной степени переживаемую ими ситуацию.

Уместно в этой связи вспомнить и знаменитый “Фарс о Патлене”, имевший огромный успех у массового, преимуществен-

14

15

16

но городского зрителя. В нем, как известно, хитроумного пройдоху-адвоката обводит вокруг пальца овечий пастух, который на протяжении всего действия, до момента развязки, выглядит даже не простаком, но совершеннейшим идиотом...

На этом статья обрывается.

Примечания

- 1 Это нисколько не преувеличение. В свое время в учебнике для педагогических институтов можно было прочесть: "В различных районах начались партизанские действия против англичан. Одно из таких партизанских выступлений (!) было связано с именем крестьянской девушки Жанны д'Арк и оказало большое влияние на ход войны" (Семенов В.Ф. История средних веков. М., 1949. С. 178). И на таком представлении воспитывалось целое поколение учителей — и соответственно школьников!
- 2 Images de Jeanne d'Arc. Hommage pour le 550-e anniversaire de la libération d'Orléans et du Sacre. Catalogue de l'Exposition. P., 1935.
- 3 De mirabili victoria cuiusdam Puellae de postfaetantes receptae in ducem belli exercitus regis Francorum contra Anglicos.
- 4 См., например, известный толковый словарь, составленный Le Petit Robert, на слово "bergère": "La bergère de Domrémy: Jeanne d'Arc".
- 5 Chronique d'Antonio Morosini. Extraits relatifs à l'histoire de France. 4 vol. P., 1898—1902. Т. 3. P. 54.
- 6 Quicherat J. Procès de condamnation et de rehabilitation de Jeanne d'Arc, dite la Pucelle. 5 vol. P., 1841—1849. Vol. V. В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте в скобках с указанием тома и страницы.
- 7 Quicherat J. Une relation inedite sur Jeanne d'Arc // Revue historique. 1877. № 4. P. 335—336.
- 8 "Ed era la dicha Puzela una pastorela ignossen que tos tems avia gardadas les habelhas". Ср. с "Записками секретаря ларошельской мэрии": "Elle avoit toujours gardé les brebis".
- 9 Tisset P., Lanher Y. Procès de condamnation de Jeanne d'Arc. 3 vol. P., 1960—1971. Vol. I. P. 46. В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте в скобках с указанием тома и страницы.
- 10 Duparc P. Procès en nullité de la condamnation de Jeanne d'Arc. 2 vol. P., 1977—1979. Vol. I. P. 253. В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте в скобках с указанием тома и страницы.
- 11 "...cum magna humilitate et simplicitate sicut una paupericula bergerata".
- 12 "Знать нужно не больше, чем следует... не великомудрствуй, но бойся" (Вольный пересказ слов апостола Павла из его "Послания к римлянам": 11, 20; 12, 16).
- 13 Хёйзинга Й. Осень средневековья. М., 1988. С. 144—145.
- 14 Fraioli D. The image of Joan of Arc In Fifteenth Century French Literature. Dissert. for D.Ph., Syracuse Univ., 1981. P. 55—61. Это превосходное исследование опубликовано лишь частично.
- 15 Bujead J. Chants et chansons populaires des provinces de l'ouest. Clouzot, 1866, Т. II. P. 194: "Petite bergerette / A la guerre tu t'en vas... / Elle porte la croix d'or / La fleur de lys en bas".
- 16 Jan E. von. Das literarische Bild der Jeanne d'Arc. 1429—1926. Halle, 1928. S. 32.

В.И. Райцес

Маргарита Наваррская: “Non inferiora secutus”

Королю, моему сеньору

“... Сир, Вам угодно было написать, что Вы дадите мне знать, если захотите продолжить. Это позволило мне не оставить надежды на то, что Вы не захотите прогнать тех, кто более всего хочет Вас видеть, несмотря на то что это [желание] хуже, чем дурно. Мой жребий был бы предопределен, если бы Вам никогда не потребовалась честная и давняя служба, которую я несла и несу ради Вашего благополучия. Кромешная тьма сотен тысяч заблуждений заставила Вас воспользоваться моей покорностью, так по меньшей мере, удостойте же меня чести, Сир, не усугублять мою жалкую ничтожность, требуя повторения моего поражения, которое, Вы ведь знаете, без Вас было бы невозможно. В записке, которую я Вам отправляю, я не умоляю о конце моих несчастий, так как не помышляю о начале новой жизни. Мое послание засвидетельствует Вам, что, хотя я и не могу выполнить Ваших желаний, я буду и впредь делать для Вас то, что в моих силах, — непрестанно думать о Вас. В ожидании того часа, когда я смогу увидеть Вас и поговорить с Вами, Сир, стремление приблизить этот миг подталкивает меня со всей скромностью просить о том, чтобы Вы сообщили мне с этим гонцом, если Вас это не слишком затруднит, могу ли я надеяться. В случае отказа я ожидаю следующего случая. И дурная погода, и опасный путь превратятся для меня в приятный отдых, если Вы соизволите допустить меня к себе и, сверх того, предадите эти строки огню и сохраните тайну. В противном случае все, что меня ожидает, это:

*Хуже, чем смерть, моя несчастная жизнь.
Живу лишь одной мыслью о Вас.
Это дает мне уверенность,
Но без Вас не смогу верить.
Поэтому, протягивая руки, молю о милосердии.
Ваше совершенство извиняет Ваше равнодушие к тому,
Что я хуже, чем умерла.
Лишь Вам одному я завещаю
Всю мою волю, весь мой разум.*

*Возьмите, ибо настойчивость будет бесконечной,
Иначе все будет навсегда кончено,
Хуже, чем смерть.*

1 *Ваша более чем скромнейшая подданная и нижайшая прислужница”.*

2 Это письмо написано в феврале 1521 г. Оно адресовано Франциску I Ангулемскому-Валуа, который был с 1515 по 1542 г. королем Франции. Франсуа Женен, исследователь творческого наследия и биографии Маргариты Ангулемской, королевы Наварры, считает, что письмо написала она. Маргарита была родной сестрой Франциска. В письме присутствуют такие выражения и намеки, которые могут обосновать вывод о существовании более чем родственной привязанности между братом и сестрой. Женен, который в 1842 г. опубликовал это письмо в числе более сотни других писем Маргариты к брату, настаивает в предисловии к публикации, что между корреспондентами существовала не только любовь, но и физическая близость, хотя, возможно, она продолжалась недолго. С этой публикации и с этого предисловия началась дискуссия в историографии, которая привлекает внимание стороннего наблюдателя тем, что, хотя каждый из людей, прикасавшихся когда-либо к изучению биографии Маргариты, считал своим долгом высказаться на эту тему, убедительное опровержение или подтверждение версии Женена так и не найдено. Сегодня уже не имеет значения, были ли Франциск I с Маргаритой любовниками или нет. Казус письма и казус многого или реального инцеста существует для участников дискуссии и их читателей, а значит в каком-то смысле существует в истории.

В чем причина этого любопытного историографического феномена? Попытаемся разобраться. А также решить, на чью сторону в дискуссии о казусе следует встать. Обратимся к подробностям жизни Маргариты и ее брата, которые создали интересный нас казус.

Маргарита Ангулемская-Валуа, будущая герцогиня Алансонская и королева Наварры, родилась в апреле 1492 г., двумя годами раньше брата. Она и ее брат, будущий король Франциск I, получили неплохое образование. Мать Маргариты и Франциска Луиза Савойская рано овдовела. Карл Ангулемский, их отец, умер в 1496 г. Первую молодость Маргарита провела на “вторых ролях” при дворе Анны Бретонской, которая недолюбливала и Луизу Савойскую, и ее детей. Неудивительно, что первым браком Маргарита была связана с человеком вполне заурядным – герцогом Алансонским. Этот брак был заключен, чтобы решить спор о земле между короной и домом Алансонских герцогов.

Франциск Ангулемский не был прямым наследником трона, но судьба улыбнулась ему. В 1515 г. Франциск I стал королем:

его предшественник, Людовик XII, наследников мужского пола не имел, а старшая дочь Людовика XII Клод была женой Франциска I. Первые 10 лет царствования Франциска проходили под знаком удачи. Продолжая начатые его предшественниками — Карлом VIII и Людовиком XII — войны в Италии, Франциск I разбил считавшихся непобедимыми швейцарских наемников в битве при Мариньяно осенью 1515 г. Эта победа принесла молодому королю господство над всей Северной Италией и славу непобедимого короля-рыцаря. Вся Европа восхищалась Франциском I, причем не только его военными талантами, но и остроумием, утонченным вкусом, интересом к науке и искусству. Франциску I удалось изменить господствующее в гуманистической среде представление о французах как о варварах. Маргарита делила с братом славу и блеск. После того как брат Маргариты стал королем, она оставила свою прежнюю уединенную жизнь в замке мужа и погрузилась в придворную суету. Она уже не довольствуется ролью простой придворной, она — любимая и единственная сестра короля, его доверенное лицо. Она ошутимо помогала брату в делах, принимала участие в воспитании его детей, так как королева Клод была слаба здоровьем и часто болела.

В 1519 г. умер император Максимилиан I Габсбург, и Франциск Ангулемский заявил о себе как об одном из претендентов на императорскую корону. Тут удача впервые изменила ему. Императором стал его ровесник, король Испании Карл I. Франциск I почувствовал себя оскорбленным и начал собирать союзников для борьбы с Карлом. Летом 1520 г. у французского городка Ардр-ан-Атруа он встретился с Генрихом VIII Английским, рассчитывая приобрести и союзника в войне с императором, и личного друга. Однако чрезмерная пышность “лагеря золотых палаток”, устроенного, чтобы произвести впечатление на английского короля, и чрезмерная пылкость французского короля дали результаты, противоположные тем, которых ждали. Англичане нашли поведение французов вызывающим и предпочли союз с Империей. Единственным ошутимым результатом встречи королей было истощение государственной казны и неизбежно следовавшее за этим недовольство подданных.

Зимой 1521 г. французы потеряли Милан из-за того, что жалование наемникам в Италии было задержано. Примерно в это время между Франциском I и мадам де Шатобриан, которая уже несколько лет была дамой его сердца, случилось охлаждение. Маршал Лотрек, губернатор Милана, приходился фаворитке короля братом. Он в какой-то мере отвечал за потерю города. Гнев короля обратился на сестру злополучного маршала.

Состояние государственных и личных дел короля к зиме 1521 г. свидетельствует о том, что Франциску I было от чего впасть в уныние. Период, когда он постоянно “шел в гору”, был на исходе. В довершение всех неприятностей непогода и эпидемия чумы сделали его фактическим пленником в одном из королевских

замков на Луаре, где двор проводил Рождество. Франциск I, привыкший постоянно находиться в дороге, лишился свободы передвижения. Он окружен привычными, надоевшими ему за несколько месяцев лицами. Все придворные боятся приближаться к королю, который явно не в духе. С матерью он в это время поссорился. Но с ним рядом его сестра Маргарита, интересная собеседница, мягкая и тактичная советчица. Она искренне и бескорыстно привязана к младшему брату с раннего детства, когда после смерти отца он стал единственной надеждой семьи. Тоскующему Франциску I мало дружеских бесед и понимания, ему приходится в голову добиться сестры, полностью подчинить ее себе.

Видимо, он достиг желаемого, так как обладал всем необходимым для победы. Ведь он был человеком, который привык побеждать, а всякое сопротивление его скорее удивляло, чем смущало. Одна испанская девушка облила себе лицо кислотой, чтобы избавиться от домогательств короля. В смятении Маргарита могла покориться воле ослепленного внезапно вспыхнувшей страстью короля. Она была шокирована поступком любимого брата и боялась его гнева. Хотя не исключено, что она сама втайне желала этого. Можно найти самые разные и даже взаимоисключающие объяснения ее поведения.

Дальше события развивались следующим образом. В наших руках послание, датированное февралем 1521 г., следовательно, несмотря на бездорожье, дурную погоду и необходимость соблюдать карантин, Маргарита уехала к мужу. Франциск уже в марте отсылает герцога Алансонского в действующую армию. Вероятно, Франциск I стремился удалить его, чтобы обезопасить себя и сестру от шантажа и мести разъяренного супруга. Герцог Алансонский так и не вернулся с этой войны. Вернее, вернувшись во Францию после поражения французов при Павии и пленения короля (февраль 1524 г.), он вскоре умер. Мы не можем наверняка утверждать, что его смерть связана с тем, что случилось с его женой зимой 1521 г. Ведь это произошло три года спустя. Неизвестно даже, знал ли он о случившемся и по каким каналам эти сведения могли до него дойти. Очевидно только, что он руководил арьегардом и стал одним из виновников того, что король оказался в окружении. Многие современники считали его поведение в битве при Павии изменническим. Он, опытный военный, мог допустить тактическую ошибку из желания отомстить. Но даже удавшаяся месть не спасала от чувства вины перед отечеством и досады на жену. Это лишь один из вариантов объяснения его внезапной смерти.

Франциск нарушил просьбу, с которой обращается к нему автор письма, — он не “предал строки огню”. Поэтому не исключено, что и просьбу сохранить дело в тайне он не выполнил. Например, он мог рассказать о случившемся матери, которая была, так же как и сестра, или даже в большей степени, близким и доверенным его лицом, хотя между ними и случались раз-

молвки. Последняя ссора произошла из-за того, что Луиза Савойская, интригуя против фаворитки мадам де Шатобриан, задержала деньги, предназначенные для выплаты жалования наемникам в Милане. Луиза была готова на многое, чтобы замять скандал и примириться с королем, она даже пыталась выкрасть расписку о получении 400 тыс. экю, которую она выдала королевскому казначею Самблансе. Допустим, что король под влиянием эмоций, забыв о недавней размолвке, пытался облегчить признанием муки совести и разоткровенничался с матерью. Если в распоряжении растратчицы оказались сведения, порочащие Франциска и Маргариту, она уже могла не опасаться наказания. Даже если брат и сестра не выдавали друг друга, их мать могла узнать обо всем сама. Опытная интриганка хорошо знала своих детей и постоянно за ними шпионила. Она могла приложить усилия к тому, чтобы заполучить письмо в свои руки, как ранее она пыталась выкрасть свою расписку о получении денег у казначея. Поэтому письмо не было уничтожено.

Следствие по делу об исчезновении денег из казны начало затягиваться. После трех лет разбирательства, в 1524 г. ни в чем не повинный 70-летний старик и верный слуга короля Жак де Бон Самблансе был повешен. Маргарита в этом деле, как и большинство здравомыслящих людей, была на стороне Самблансе и пыталась поддерживать его, о чем свидетельствует ее сохранившееся письмо к казначею от 21 октября 1523 г. Однако с тех пор, как в руках Луизы Савойской оказались факты, компрометирующие Маргариту, с мнением последней можно было не слишком считаться. Что значила какая-то растрата по сравнению с отвратительным грехом кровосмешения!

Какие бы страсти ни бушевали в королевской семье в 1521 г., долго оставаться в их власти никто из главных действующих лиц не имел возможности. Участились военные столкновения с Испанией. Необходимо было вести дипломатическую подготовку к войне, собирать деньги, снаряжать армию. Заболела и умерла младшая дочь Франциска, затем его жена. После битвы при Павии король попал в плен к испанцам. Луиза Савойская была назначена регентшей. На долю Маргариты выпала важная роль — вести переговоры об освобождении короля и заключении мира. Преодолевая множество опасностей, она отправляется морем в Испанию, где находит брата тяжело больным и выхаживает его. Пиком политической активности Маргариты было ее участие в заключении мирного договора в Камбре в 1529 г.

Карл Алансонский умер, и Маргарита в 32 года осталась вдовой. Следовало было ожидать, что она, с ее положением при дворе и статусом единственной и любимой сестры короля Франции, составит блестящую партию. Но она выходит замуж за Генриха Альбре, нищего короля фактически не существующего Наваррского королевства. Этот брак принято называть “браком по любви”. Иначе трудно было бы объяснить политически невыгодный

для Маргариты выбор. Но если вспомнить о том, что брак Маргариты прекратил соперничество между Испанией и Францией за пограничную Наварру, то стоит объяснить ее решение не любовью к Генриху, а преданностью брату Франциску. Могло иметь место и давление с его стороны, так что очень заманчиво связать второе замужество Маргариты с событиями 1521 г.

Если письмо не было похищено Луизой Савойской, то ведь и сам Франциск мог сохранить его, чтобы иметь возможность при необходимости оказывать давление на Маргариту. Страсть вспыхнула и прошла, а участие в политической игре и в интригах подчиняет жизнь своим правилам. После замужества Маргарита начинает реже бывать при дворе. Она вовлечена в дела своего королевства и в семейные заботы. Второй брак не был бездетным, как первый: родился сын Жан, который умер в младенчестве, и дочь Жанна. Охлаждение отношений между Маргаритой и Франциском I становится более очевидным после смерти Луизы Савойской в 1532 г. Франциск имел тенденцию манипулировать Маргаритой, пренебрегая ее собственными интересами, особенно в матримониальных делах. Скандал вокруг замужества Жанны Альбре, которую Франциск хотел выдать за своего союзника герцога де Клев вопреки воле отца и матери, усилил отчуждение между королем и Маргаритой. Маргарита старается быть на расстоянии, но в письмах и стихах, особенно тех, что написаны на смерть брата, сохраняется теплое чувство. Маргарита умерла, наблюдая за кометой 1549 г. на крыше замка Одос в Тарбе, пережив и брата, и второго мужа. Остается только добавить фразу, которой обыкновенно заканчиваются истории с романтическим и загадочным сюжетом, каким представляется пока что сюжет жизни Маргариты: "Она унесла в могилу свою тайну".

Что нам дало изложение событий жизни Маргариты и Франциска? Мы узнали, что происходило до предполагаемого инцеста и что было после. Связь событий жизни Маргариты, на которых мы останавливались, с казусом инцеста носит гипотетический характер. Поступки людей оставляют след в истории, но мотивы всегда остаются скрытыми и могут быть восстановлены только аналитически. История события подобна его зеркальному отражению: при внешней идентичности изображения и изображаемого правое и левое незаметно меняются местами. Если в жизни мы всегда знаем, что обусловило событие, но не знаем, каков будет его результат, то в истории мы хорошо осведомлены о последствиях события, но не можем с точностью говорить о его причине. Если рассматривать жизнь королевской семьи как цепь событий, связанных причиной и следствием, казус инцеста способен играть роль первопричины по отношению ко многим прочим событиям. Однако, подобно Перводвигателю Аристотеля, сам он остается непознаваемым. Об инцесте, исходя из имеющихся в нашем распоряжении фактов, нам удалось сказать очень мало. Мы не можем с достоверностью утверждать, как

долго продолжалась любовная связь брата и сестры. Маргарита до самой старости называла себя в письмах “миной” Франциска. Означало ли это продолжение особенных отношений между ними или было просто игрой слов? А может быть, после отъезда Маргариты к мужу прежние отношения между ними никогда не возобновлялись? Был ли у Франциска I или у других заинтересованных лиц реальный повод шантажировать Маргариту через много лет после отправления письма? А что если зимой 1521 г. не произошло ничего настолько важного, чтобы рассматривать это как событие, меняющее судьбы людей? Был просто легкий ужин с большим количеством вина, кокетство или ошибка, словом, ситуация, похожая на ту, что Маргарита Наваррская с изяществом и иронией описывает в своем “Гептамероне”. Ни брат, ни сестра никогда не строили планов таких отношений, а склонившись к греху, не придавали этому слишком большого значения. Это не Случай, а случайность. Ощущение масштаба событий утрачено из-за того, что все это произошло так давно.

6

Попробуем разобраться в отношении Маргариты к инцесту по тем немногим данным, которые можно извлечь из переписки Маргариты и ее литературного наследия. Это поможет определить истинное место данного казуса в ее жизни. Конечно, художественные произведения не могут быть историческим источником в традиционном смысле, так как автор обладает свободой исказить факты, следуя своему художественному замыслу. Но особенности стиля, выбор сюжетов, идеологический подтекст обогатят наше представление о Маргарите.

Загадочное послание к Франциску I написано в феврале 1521 г. Через месяц, в марте 1521 г. Маргарита отправляет письмо Гилюму Бриссоне. Она сообщает, что ее муж отправляется в армию, “которую не обойдет война”, и пишет, что ей “надо разобраться со многими вещами, которые должны внушать опасения”. Вот, казалось бы, и найдено искомое подтверждение наших предположений относительно случившегося зимой. Маргарита просит у своего духовника моральной поддержки. Потребность ее в общении с духовником в этот момент была так сильна, что она даже находит уместным обратиться к нему в письме, чего она прежде никогда не делала. Это письмо открывает переписку, которая продолжалась почти два года. За это время Бриссоне и Маргарита обменялись 60 письмами. Логично было бы ожидать, что переписка с духовником даст нам возможность проникнуть в тайну Маргариты. Но письма разочаровывают. Между Маргаритой и Бриссоне была принята особая манера общения. Они старательно поддерживают иносказательный стиль переписки. Это можно объяснить тем, что у корреспондентов были разные цели, а поэтические метафоры и аллегории, основанные на тексте Писания, помогали им поддерживать диалог, в котором оба они, хотя и по разным причинам, были заинтересованы. Маргарита нуждалась

7

в том, чтобы поверять уважаемому человеку состояние своей души, которое было не простым. Иносказание ей давало возможность быть откровенной, не раскрывая, однако, своих тайн. Бриссоне хотел мягко воздействовать на Маргариту, а через нее и на короля, склоняя их поддержать инициативы кружка Мо. Отпрыск аристократической фамилии и видный церковный деятель своего времени, он был активным членом кружка евангелистов, созданном незадолго до описываемых событий в управляемом им диоцезе Мо. Главой кружка был Лефевр д'Этапль, французский гуманист и религиозный философ. Члены кружка занимались переводами текстов Писания на французский язык, они выступали за возвращение к идеалам раннего христианства, прежде всего за нравственное, а не организационное обновление Церкви. Бриссоне был опытным царедворцем и не хотел, чтобы его заинтересованность была слишком явной. Он понимал, что, раскрыв свои карты, он немедленно потеряет доверие сестры короля. Иносказание было и для него спасением.

Хотя переписка не слишком информативна, по ней мы можем составить представление об эмоциональном состоянии Маргариты в этот период. Маргарита часто пишет о “духовном голоде”, который мучает ее (22 ноября 1521 г.), о “смертоносном сне”, от которого она желает пробудиться (9 февраля 1524 г.), об огне, который сжигает ее (декабрь 1521 г.). Она взволнована и потрясена. Но причин для волнения в это время, помимо переживаний по поводу гипотетической связи с братом, у нее было достаточно. Кризис в самоощущении Маргариты мог произойти из-за расставания с мужем на долгий срок, из-за разочарования в прежних жизненных ориентирах. Напомним, что первый благополучный период царствования Франциска I был на исходе, а в последние годы жизнь Маргариты была тесно связана с жизнью короля и двора. Наконец, новые настроения могли прийти просто с возрастом. Весной 1521 г. ей исполнилось 29 лет. Молодость кончилась, настала зрелость.

Среди многочисленных писем к духовнику одно обращает на себя особенное внимание. “Сильная, ставшая слабой и побежденной, должна воздать хвалу Богу за оказанную ей в виде Вашего письма милость”, — пишет она Бриссоне в ноябре 1521 г. Сравним эту фразу с фразой из письма к королю: “Сир, удостоите меня чести не усугублять мою жалкую ничтожность, требуя повторения моего поражения, которое, как Вы знаете, без Вас было бы невозможным...” В письме к королю мы находим постоянные колебания между надменностью (силы) и самоуничижением (слабости побежденного), между жестокими упреками и мольбами о прощении. Если речь действительно идет об инцесте, то он осмысливается автором письма как переход от состояния силы морального превосходства к униженной слабости побежденного и соучастника греха. Инцест переживается прежде всего как поражение, утрата чувства собственного достоинства. “Сильная

стала слабой” – это, а не формальное нарушение законов человеческого поведения волнует автора письма больше всего. Не прорываются ли через эту фразу интимные переживания Маргариты, связанные с воспоминаниями об инцесте? В любом случае, это лишь глухие намеки. Маргарита не хочет открывать свои истинные мысли даже духовнику.

К тому же времени, что и переписка Маргариты с Бриссоне, относится начало ее серьезных литературных занятий. Поэмы и прозаические произведения – не менее любопытные ребусы о Маргарите, чем письма к Бриссоне.

В мистических поэмах, в частности в тех, что входят в сборник “Зеркало грешной души” (1531 г.), главная тема – воспевание чувственной любви к Богу:

Ваша сестра? О, да! Вот великая дружба!
О, мое сердце, разорвись на части,
Дай место брату, столь сладостному,
Который единственный может пребывать в тебе.
Храни, мое сердце, моего брата, моего возлюбленного,
И не впускай своего врага.

Этот отрывок пересекается с тем ранним стихотворением, которое включено в письмо, приведенное в начале статьи. При сравнении мы находим сходство если не текстов, то логических ходов. Адресат – единственный наследник воли и разума автора письма. Сладостный брат – единственный, кто может пребывать в сердце автора стихотворения. До знакомства с Бриссоне и начала увлечения мистикой образы поэзии Маргариты были более конкретными. Она говорит о страхе смерти, о том, что присутствует в осязаемом мире, а не о вечной надчеловеческой борьбе души с дьяволом. Стихотворное послание, приложенное к любовному письму, все же адресовано реальному человеку. Процитированный отрывок обращен к обобщенной аллегорической фигуре. Отделить истинные чувства Маргариты от поэтической стилизации еще сложнее.

Очень соблазнительно подумать, что подтекстом приведенного отрывка была страсть Маргариты к Франциску I, которая не находила иного способа реализоваться, кроме туманных и страстных стихов. Однако хорошо известно, что мистические откровения визионеров позднего средневековья часто имели эротический оттенок. Христос предстал в видениях братом и любовником. Маргарита в известной степени следует этой традиции. Но поэмы Маргариты – лирические, т. е. глубоко личные произведения. Маргарита не просто следует традиции, она пропускает ее сквозь призму индивидуального восприятия. Тонкий оттенок внутренней борьбы и зависимости ее исхода от участия сладостного брата свойствен именно поэзии Маргариты. Если Маргарита страстно пишет о любви к Богу, как к брату, не значит ли это, что она имела внутренний опыт горячего

чувства к собственному брату? Хотя, конечно, могла иметь место и определенная доля художественного преувеличения.

“Гептамерон”, сборник новелл, которые Маргарита начала писать в 1542 г., но так и не закончила, принес ей наибольшую литературную известность. Маргарита сочиняла “Гептамерон” в конце жизни, практически удалившись от дел. В сборнике много воспоминаний о пережитом и прочитанном, в нем суммируется накопленный с годами опыт. Поэтому мы можем извлечь из него сведения о взглядах Маргариты и некоторые биографические реалии.

В “Гептамероне” есть несколько новелл об инцесте. Само по себе это обстоятельство ни о чем не говорит, потому что, с одной стороны, сюжет инцеста — один из наиболее распространенных для литературы этого жанра, а с другой стороны, он вполне вписывается в тематику “Гептамерона”, ведь большая часть новелл посвящена преступлениям в сексуальной сфере — изменам, изнасилованиям, убийствам из ревности и так далее. Остановимся на одной из таких новелл. В основу 30-й новеллы положено реальное происшествие.

Сын мадам д’Экуа имел от своей матери дочь Сесиль. Он женился на ней, когда она стала зрелой девушкой. Случай произошел в Лотарингии в начале XVI в. Сесиль служила у герцогини де Бар. Сесиль и ее муж умерли почти одновременно в 1512 г. и были похоронены вместе. На их могиле эпитафия:

Здесь лежат дочь и отец;
Здесь лежат сестра и брат;
Здесь лежат жена и муж;
Но у них не более чем два тела.

10 Столь странная эпитафия была вскоре закрыта медной пластинкой. Маргарита изменяет место действия на Лангедок. Однако время указывает точно: “В царствование Людовика Двенадцатого, когда легатом Авиньонским был один из представителей рода Амбуазов, племянник легата Французского”. Имеется в виду Людовик Амбуаз, епископ Альби, племянник легата Французского Жоржа Амбуаза. Жорж был папским легатом во Франции с 1500 по 1510 г. Людовик был легатом в Авиньоне с 1474 по 1502 г. От него Маргарита, скорее всего, узнала эту историю. В повествовании появляются и другие реально существовавшие лица: Екатерина Наваррская и главнокомандующий Шомон. Екатерина Наваррская была свекровью Маргариты. При ее дворе якобы воспитывалась девочка, родившаяся от инцестуозной связи. Шомон командовал французскими наемниками в Италии до того, как его сменил на этом посту злосчастный Лотрек, участник дела Самблансе. К Шомону в новелле отсылают в Италию согрешившего с матерью молодого человека, чтобы “он почувствовал вкус войны”. Вводя в повествование реально существовавших людей своего круга, Маргарита пользуется типичным приемом

для придания правдоподобия фантастической истории, которую она придумывает на основании фактов.

Главная героиня новеллы — “одна весьма набожная вдова”, имя которой остается скрытым от читателя. Это привносит в новеллу возможность неоднозначного прочтения. Знатная женщина заботилась о духовном благополучии единственного сына более, чем обо всем остальном, нанимала ему лучших учителей, но пропустила тот момент, когда природа начала требовать от юноши подчинения своим велениям. Желая преподать жестокий урок, мать заняла место служанки, к которой сын был неравнодушен и которой назначил свидание в спальне. Одержимая педагогическим рвением, она забыла о том, что и она человек из плоти и крови. Внезапно вспыхнувшая страсть к собственному сыну ослепила ее. Наутро, устыдившись того, что сделала, она под благовидным предлогом отсылает юношу в Италию. Дочь, родившуюся от преступного соединения, героиня тоже отослала из дома, желая хоть немного облегчить муки совести. Пока юноша воевал под началом Шомона, девочка подросла. Случайное стечение обстоятельств помогло юноше и девушке встретиться, полюбить друг друга и стать мужем и женой. “Молодые люди любили друг друга и жили между собой в дружбе и полном единении, ведь она приходилась ему дочерью, сестрой и женой, а он ей — отцом, братом и мужем”. Мать по совету легата Авиньонского сохранила от детей в тайне историю их происхождения. На ее долю выпало каяться и терзаться до конца дней. Младшие, совершающие уже двойной инцест, не несут никакого наказания. Это означает, что сам инцест изображается автором без осуждения.

Инцест — лишь частный сюжетный прием, позволяющий художественно выразить одно из возможных проявлений случая в жизни человека. Внезапно вспыхнувшая страсть рассматривается как “казус”, нарушение в привычной канве жизни. В новелле происходит столкновение обыденного представления о жизни и спонтанного проявления природы человека. Если внимательно вчитаться в новеллу, то становится ясно, что автор рассматривает казус как проявление воли Бога. В философском плане это не слишком оригинальная идея. Особенным и характерным для Маргариты в этой новелле является то, что божественная воля проявляется через казус физического влечения женщины к мужчине.

4-ю новеллу “Гептамерона” считают биографической. Речь там идет о “дерзкой попытке одного молодого дворянина овладеть знатнейшей дамой Фландрии”. Попытка дворянина стала для дамы неожиданностью, потому что она не имеет представления о том, что такое страсть. Тем не менее она глубоко переживает свои приключения и через осознание случившегося приходит к познанию Бога. Итак, не стремилась ли Маргарита, описывая в полупушотливом и изящном стиле эти полужанровые, полуправдивые случаи, поведать своим читателям о вещах, куда более серьез-

ных для нее — о собственном пути к осознанию Бога? Вехи этого пути можно увидеть следующим образом. В начале — казус инцеста, затем — внезапно для нее самой вспыхнувшая страсть к брату, далее — утрата целостного представления о себе, когда “сильная стала слабой”, мучительный внутренний кризис времени переписки с Бриссоне. Бриссоне воспитал в своей духовной дочери мистическое восприятие мира. Спустя два года кризис преодолен. Маргарита обрела твердую веру и философское отношение к жизненным неурядицам. Однако всякий раз, когда мы отрываемся от текстов Маргариты и переходим к обобщениям, мы вступаем в область вероятного, но не действительного.

12 Переписка с духовником не только помогла ей выйти из душевного кризиса, но и воспитала вкус к многозначности, научила говорить на языке намеков и иносказания. Образная система 4-й новеллы прозрачна. Даже современники без труда узнавали в героине — “фландрской принцессе” — саму Маргариту, а в “дерзком молодом дворянине” — адмирала Гуфье де Бониве, приближенного Франциска I. Связь между автором и героями 30-й новеллы более сложна.

13 Совесть главной героини, преступной матери, обременена полным знанием о случившемся. Дети же ничего не знают. Мать затевает интригу, которая независимо от ее желания приводит к инцесту. Она прячется в темноте в постели служанки, она тайно рождает дочь, она отсылает детей прочь из дому, она организывает женитьбу сына на любой, “лишь бы была дворянкой”. Она — самый активный персонаж новеллы. Ее роль в судьбе детей уподобляет ее автору произведения, создающему своих героев. Автор задумывает характеры, однако в процессе создания художественного целого герои часто выходят из-под контроля авторской воли. Но при этом, благодаря позиции вне-находимости, автор всегда обладает полным знанием о героях. Маргарита — автор новеллы — могла, хотя неизвестно, до какой степени осознанно, отождествлять себя со старшей героиней. Эстетически такой ход вполне обоснован. “Борьба художника за определенный образ героя есть в немалой степени его борьба с самим собой”, — пишет М.М. Бахтин.

Младшая героиня — это тоже Маргарита. Но Маргарита без рефлексии, счастливая с братом-мужем. Младшая героиня не знает, что соединило ее с любимым мужем и в чем страшная суть их отношений. Любопытно, что отношения младших героев подчеркнуты лишены страстности: они живут “в дружбе и полном единении”. Возможно, таким образом через литературное творчество в сознании Маргариты происходит вытеснение травмирующих воспоминаний о грубом поведении брата и одновременная компенсация нереализованного желания быть его женой-сестрой.

Процитированная фраза о сущности отношений между молодыми героями (“ведь она приходилась ему дочерью, сестрой и женой одновременно, а он ей — отцом, братом и мужем”)

повторяет не только текст эпитафии из Лотарингии, но и фразу из письма Маргариты к Франциску, отправленного из Лиона в сентябре 1525 г. вскоре после того, как Маргарита овдовела в первый раз: “Увы! Монсеньор, я хорошо знаю, что Вам это известно даже лучше, чем мне; но лишенная всего остального, я не думаю ни о чем другом, как о Вас, о единственном, кроме Бога, кто у меня остался в этом мире, — отцом, братом и мужем одновременно...”. Не следует понимать эту фразу буквально. Это выражение из области *logos eloquentiae*. Но совпадение не случайно. Инцестуозная тематика занимает важное место в системе художественного языка Маргариты. Маргарита не только не имела никаких предубеждений против инцеста, но скорее даже испытывала определенную склонность к нему. Впрочем, приверженность к странным метафорам — еще не признание, сюжетные совпадения — интересная пища для размышления о характере автора, но не фактическая достоверность. Однозначно доказать существование казуса может только письмо Маргариты к Франциску, в котором она открыто говорит о своих чувствах. С письма начинается настоящая статья. Это письмо — документ. Его свидетельствование не может быть подвергнуто сомнению. 14

Перечитаем это важное письмо. Оно противоречиво. “...Воспользовались покорностью — удостойте честью; *мое* поражение — без *Вас* невозможно; буду делать, что в моих силах, — не могу исполнить Ваших желаний”. Почти каждая фраза распадается на взаимоисключающие части. Это делает текст, взятый вне контекста, совершенно бессодержательным. Слова ничего не значат в нем. Письмо — чистое выражение аффекта. У Ролана Барта есть работа “Фрагменты любовной речи”, в которой он, в частности, разбирает феномен любовного послания: “Любовной топике свойственна пустоватость: по своему статусу она наполовину кодифицирована, наполовину проекционная”. В любовной речи, любовном послании значим синтаксис, “ведь именно на уровне фразы ищет субъект свое место”. Соединение в одном предложении обрывков смысла, наделенных противоположным значением, и есть главный смысл письма, цель которого выразить страсть с ее невыразимостью. Даже условные обороты вежливости, — “удостойте меня честью”, “записка засвидетельствует Вам”, “если это Вас не слишком затруднит” — не снижают того смыслового напряжения, которое нагнетается между отдельными участками текста, а сами они теряют банальность, закрепленную традицией, и обретают новый смысл. Попытка соединить аффект со значением слов в письме, а это значение — с действительной ситуацией — ошибка. Влюбленные испытывают определенную враждебность к действительности, Барт называет это чувством “дереальности”. Это происходит потому, что человек, пребывающий в состоянии влюбленности, находится во власти определенных речевых фигур, при помощи которых он конструирует собственную действительность. Барт называет их 15

“речевыми спазмами” или “вербальными галлюцинациями”. Пример такой “фигуры” в нашем письме – уже цитированное “Могу ли я надеяться”. Этой фигурой выражено все письмо, прочее – лишь ее тиражирование разными способами. Такое письмо может быть просто “вещью в себе” и не указывать вообще ни на какие действительные события. Уехав по своим делам, например собрать мужа в военный поход, куда ему предстояло отправиться в марте, она сгорает от любви к королю и выражает свое состояние письмом, которое, может, и не было предназначено для чьих-либо глаз. Чувство к брату есть, письмо есть, а казуса инцеста нет.

16 Фигуры любовного дискурса, по Барту, имеют одно основное свойство. Любой человек вне зависимости от образования и особенностей своего быта и бытия выражает себя в ситуации влюбленности при помощи этих фигур. Поэтому они легко распознаваемы всеми людьми. На основании этого свойства любовных фигур Барт проводит их классификацию. Язык страсти почти лишен индивидуальности, он закодирован. Сомнения в аутентичности писем Элоизы к Абеяру, высказанные добросовестными исследователями, спровоцированы именно этим свойством любовного дискурса. Письмо, датированное февралем 1521 г., по сути своей анонимно, это главное свойство такого текста, его, следовательно, мог написать кто угодно, в том числе и Маргарита Наваррская. При том, что мы обнаруживаем некоторую связь общего движения мысли, композиции фигур письма с письмами к духовнику или с более поздними стихами, мы не можем однозначно утверждать, что письмо написано Маргаритой. Кроме того, первооткрыватель письма Франсуа Женен пишет, что по несчастной случайности нож переплетчика не пощадил подписи. Большинство писем королева Наварры диктовала секретарям, а иногда она и собственноручно набрасывала что-нибудь на ходу, прямо в карете или в носилках, что до неузнаваемости искажало почерк. Поэтому судить об аутентичности письма только по почерку очень сложно. Стихотворение принадлежит Маргарите, но если автором письма была другая женщина, она могла его где-нибудь услышать и запомнить или переписать. Так что и здесь нет достоверной определенности.

При такой степени неопределенности во всем, что связано с темой инцеста в жизни Маргариты Наваррской, невольно возникает вопрос о том, что дало повод историкам соединить сюжет инцеста с биографией Маргариты? Почему они стали искать и нашли этот казус среди хитросплетений событий ее бурной жизни?

О существовании инцестуозной привязанности между Франциском I и Маргаритой первым заговорил профессор литературы Страсбургского университета, исследователь и публикатор переписки Маргариты Франсуа Женен. В предисловии к публика-

дии 1842 г. он пишет, что, опираясь на информацию, исходящую из “тайных неизведанных глубин средневековья”, пришел к непоколебимой уверенности в том, что брат и сестра были связаны порочной связью. Ссылка на “неизведанные глубины” звучит поэтически, но несколько наивно для серьезного исследования, хотя в этом заявлении есть доля истины. Поясним.

17

Маргарита Наваррская была современницей Эразма, Лютера и Кальвина. Реформация в Германии повлияла на политику ее брата в области церкви. До открытого столкновения сторонников и противников обновления церкви осталось совсем немного, гражданские войны во Франции начались вскоре после смерти Маргариты. Пока же борьба велась на уровне идеологии. Идеологическая борьба ведется за завоевание симпатий толпы. Цель борющихся – воздействие на массовое сознание, в котором присутствует определенный набор стереотипов. Поэтому главным средством борьбы за толпу во все времена была манипуляция определенными мифологемами.

Маргарита Наваррская была связана с движением за обновление церкви. Она переписывалась с Бриссоне, общалась с Лефевром д’Этаплем и его сторонниками. Она пыталась влиять на церковную политику Франциска I и была связующим звеном между властью и интеллектуалами, создавшими концепцию обновленной церкви во Франции. Во второй половине царствования Франциска, с 1534 г., когда началось преследование протестантов, Маргарита пыталась по мере сил защищать некоторых из них, по крайней мере тех, которые принадлежали к ее дружескому кругу. Она была авторитетом для мыслящих людей Европы. Сохранилось письмо Эразма Роттердамского к Маргарите, в котором он высоко отзывается о ее личных качествах и роли, которую Маргарита играет в общественной жизни Франции. Ее собственные религиозные взгляды, отобразенные главным образом в поэмах, отчасти и в “Гептамероне”, отличались самобытностью и своеобразием, что не могло не вызывать раздражения у тех, кто мыслил ортодоксально. В лагере противников реформ у нее, конечно, были враги. Студенты Сорбонны показывали на сцене фарс, в героях которого без труда можно было узнать Маргариту и Бриссоне. Некоторые ее поэмы были запрещены, например “Зерцало грешной души”. От более серьезных неприятностей ее спасло только вмешательство короля. Маргарита не осталась в стороне от борьбы вокруг новых идей.

18

Многие новеллы “Гептамерона” выражают идеологическую позицию Маргариты. Они не имеют биографической основы, в отличие от рассмотренных выше, и составляют особую группу новелл внутри сборника. В одной из них используется сюжет инцеста. 33-я новелла повествует “о лицемерии священника, соблазнившего собственную сестру”. Сестра священника из деревни Шерв под Коньяком была известна своей аскетичной жизнью, строгостью, смирением и соблюдением постов. У ее

19

брата тоже была хорошая репутация. Когда оказалось, что незамужняя сестра священника беременна, она стала всех уверять, что никогда не знала мужчины. Доверчивые прихожане решили, что дева имеет в чреве от Святого Духа. Брата и сестру стали чествовать как новых святых. На самом деле отцом будущего ребенка был ее собственный брат. Карл Ангулемский, сеньор Коньяка, разоблачил обманщиков, уличив их в инцесте, потому что был человеком здравомыслящим. Реальное лицо, отец Маргариты, введен в действие новеллы с той же целью, что Шомон и Екатерина Наваррская в 30-й новелле.

20 В новелле 33, как и в разобранных раньше новеллах 30, осуждается не столько сам инцест, сколько невежество прихожан и честолюбие лицемерного священника. Сюжет инцеста очень распространен в литературе “малого жанра”, так как он тесно связан с основными мифологемами массового сознания. Новеллы более, чем другие жанры авторской литературы, сохраняют непосредственную связь с народной литературой, так что в них эти мифологемы часто прослеживаются в более чистом виде. В космогонических мифах инцест изображается без осуждения, так как прародители, первые люди на земле, не имеют альтернативы. Инцест может подчеркивать божественное происхождение героя, которому дозволено то, на что не имеют право простые смертные. Однако, и это присуще мифологическому сознанию с его амбивалентностью, инцест может разоблачать 21 необоснованность претензий героя на святость. Именно этот смысловой оттенок сюжета инцеста использован Маргаритой в 33-й новелле. Актуализация традиционного сюжета не столько делала новеллу банальной в художественном плане, как кажется современному читателю, который ценит прежде всего оригинальность и самобытность сюжетных ходов, сколько придавала хлесткости аргументам автора в борьбе идеологий, от которых она не хотела оставаться в стороне.

Тот же самый прием могли использовать идейные противники Маргариты против нее самой. Ее авторитет был высок, потому ее слово было весомо. Но стоило пустить слух о порочной связи с братом, как начинали работать стереотипы сознания. Для того чтобы дискредитировать Маргариту, не надо было даже ничего особенного доказывать; падкое до сенсаций массовое сознание само подбирало доказательства и создавало детали. Франсуа Женен, черпавший аргументы для своей версии из “неизведанных средневековых глубин”, скорее всего, был равнодушен к конфессиональной борьбе, однако любил сенсации. И поэтому был недостаточно критичен.

Знаменитый Жюль Мишле, более искушенный в вопросах внутрицерковной борьбы, горячо поддержал версию инцеста. Ход мысли Мишле еще раз показывает, что всякий человек, затрагивающий вопросы, связанные с идеологической борьбой, легко попадает под власть стереотипов, даже если он живет

не в XVI, а в XIX в. Мишле считал гражданские войны, начавшиеся во второй половине XVI в., большим горем для Франции. В ошибочно выбранной линии церковной политики Франциска I он видит одну из причин их начала. Мишле осведомлен о религиозных убеждениях Маргариты, о том, что она ясно понимала необходимость активных действий в направлении обновления веры. Для него остается загадкой, почему сестра короля не использовала своего влияния на брата на пользу Франции. Мишле не допускает мысли о том, что у Маргариты могло быть другое представление о благе Франции, чем у него самого. Историк ищет объяснения пассивности Маргариты и находит его. По представлению Мишле, Франциск I перестал уважать Маргариту и ее идеи после того, как, следуя порочности своей натуры, злоупотребил ее расположением к себе. Добродетельную и духовно сломленную Маргариту заставляет держаться в тени душевная травма и возможность шантажа. “Как сказать о развязке? Но дело слишком достоверно.” Для Мишле нет никаких “неизведанных глубин средневековья”, инцест — “это не риторическая фигура. Это простая и слишком верная фактическая достоверность”.

22

Мишле и Женен — романтики. В 40-х годах XIX в. романтизм перестал быть прогрессивной художественной теорией и стал фактором массового сознания, повлияв и на стиль исторических исследований. Исторический герой романтиков не обязан быть высоконравственным и аскетичным. Роковые тайны и борения страстей — вот что создает характеры. Аргументы исследователей подменяются риторикой, они взывают к чувствам, а не к разуму, часто нарушая правила исторического исследования. Мишле — уважаемый историк, его авторитет закрепил за казусом инцеста право на существование, во всяком случае на существование в качестве историографического факта.

Моральные качества Маргариты определяются ее религиозными убеждениями и в классической биографии Маргариты, созданной протестантски ориентированными историками. Изыскания историков этого направления суммировал Пьер Журда, автор двухтомной монографии о Маргарите. Он менее раскован в общении с фактами, чем его предшественники. Перед тем как писать биографию сестры короля, он тщательно изучил ее письма, систематизировал и переиздал их. Вариант биографии, который он предлагает, отрицает возможность инцеста на основании “психологической невозможности”. Именно это место версии Журда — наиболее слабое. Маргарите не была чужда внутренняя склонность к инцесту, это было показано выше. Но этические взгляды историков протестантской ориентации требуют от них изображать своих героев целомудренными и одержимыми решением проблем иного бытия. То, что Журда не обошел инцест молчанием, соединило казус с биографией Маргариты еще прочнее, хотя историк всеми силами стремился к противоположному.

И аскетический, и романтический образы Маргариты одинаково утопичны. Они близки веберовским идеальным типам, которые “создаются посредством усиления одной или нескольких точек зрения и усиления множества дискретно и диффузно существующих явлений, которые соответствуют односторонне вычлененным точкам зрения и складываются в единый мыслительный образ”. М. Ферро, сторонник новой биографии, считает, что изучение частной жизни персонажа “вызывает шок у тех, кто питает какое-то пристрастие или восхищение к персонажам мифологическим, мифическим и реальным”. С этим замечанием нельзя не согласиться. На примере Мишле, Жене-на и Журда мы могли убедиться, что одного обращения к частной жизни исторического персонажа, даже подкрепленного изучением источников, мало для того, чтобы разрушить утопический образ, бытующий в массовом сознании или закрепленный историографией. Биографы Маргариты изучают “казус”, частные детали. Но вместо того чтобы стать средством разрушения целостности утопического образа, казус в их интерпретации сам приобрел мифологические черты: с одной стороны, его выделение в биографии Маргариты связано с работой определенных мифологем в сознании историков; с другой — восприятие казуса инцеста зависит от приверженности историка одному из описанных образов Маргариты.

Мишле видел в Маргарите незаслуженно оскорбленную добродетель, а во Франциске — агрессора. Высокие нравственные качества Маргариты обеспечивали внутреннюю стабильность их отношений. Главным качеством сестры короля, по Мишле, была почти сверхъестественная верность. Маргарита простила брату насилие. Она всегда называла себя его миной, охотно жертвовала собой. Это доказывает эпизод с замужеством Жанны Альбре и с ее собственным вторым замужеством. Она легко поступалась своими интересами: отказалась от активной поддержки сторонников Лефевра, не защитила Самблансе, в правоте которого не сомневалась. Письмо как будто подтверждает такое представление о характере Маргариты. В письме Франциску она упоминает о “честной и давней службе”, которую она несла и готова нести ради благополучия короля, клянется, что будет и впредь делать для короля, что может. Франциск пренебрегал чувствами Маргариты. Отчасти по легкомыслию, отчасти из-за расчета. Клеман Маро, вначале паж Маргариты, а потом придворный поэт Франциска, так писал о своей госпоже:

Как раб, я предан госпоже, чья плоть
Стыдлива, непорочна и прекрасна,
В чьем сердце постоянство побороть
Ни радости, ни горести не властны.

Трудно сказать о радостях, но горестей, видимо, любимый брат приносил ей немало.

Маргарита дважды была замужем и имела поклонников. Мы уже упоминали интригу с адмиралом Гуфье де Бониве в связи с биографической новеллой “Гептамерон”. Можно вспомнить и имена других блестящих молодых людей первой половины XVI в. — мятежника коннетабля Бурбона и самого Клемана Маро. Так что, когда Маро пишет о постоянстве Маргариты, он, скорее всего, пишет о том, в чем мог убедиться на собственном опыте. Девизом Маргариты было: “Non inferiora secutus” — “Я не последую ни за чем низшим”. Выбирая девиз, Маргарита декларировала свою верность себе, обратной стороной которой была ее верность брату, лучшему из лучших. Вспомним, что именно образ брата в ее поэзии выступает гарантом духовного развития. (“О, мое сердце, разорвись на части, дай место брату, столь сладостному, который единственный может пребывать в тебе. Храни, мое сердце, моего брата, моего возлюбленного, и не впускай своего врага”.) Есть у девиза и еще одно объяснение. Всю жизнь Маргарита по-настоящему стремилась лишь к познанию Бога, все остальные мирские проблемы мало волновали ее.

26

Женен иначе видит характер Маргариты. Те же самые слова девиза означают для него честолюбие и гордыню. Жажда знаний и стремление к самосовершенствованию для него — лишь проявление честолюбия. Женен не считает Маргариту невинной жертвой распущенности Франциска. Он полагает, что Маргарита активно добивалась того, чтобы стать любовницей короля. По Женену, страсть к брату возникла еще в детстве и дремала в глубине души Маргариты, ожидая удобного случая, который представился зимой 1521 г. Франциск не был человеком ранимым, так что Женен не исключает возможность, что он часто играл на чувствах сестры. Маргарита страдала от угрызений совести. Она вынуждена была таиться от людей. Подавленные, но неугасшие чувства стали движущей силой ее творчества.

Сторонники версии инцеста не могут исчерпывающе и однозначно откомментировать письмо, которое положено в основу поддерживаемой ими версии. Женен считает, что Франциск, откликнувшись на желание сестры, немедленно с отвращением изгнал ее. Она пытается примириться с ним, переложив на него часть вины: “Кромешная тьма сотен тысяч заблуждений заставила Вас презреть мою жалкую ничтожность”. Или: “Мое поражение без Вас было бы невозможно”. Кроме того, она пытается убедить брата в том, что он нуждается в ней не меньше, чем она в нем: “Мой жребий был бы предопределен, если бы никогда не потребовалась честная и давняя служба...” Главный модус письма — надежда, это слово повторяется несколько раз.

Мишле считает, что Маргарита, став жертвой внезапного нападения, сразу же отказала брату в продолжении отношений. За это он в гневе изгнал ее. Вариант: в ужасе от случившегося она бежала. Цель письма — дипломатически загладить инцидент,

упокоить брата и наладить нейтральные отношения. Она все еще в состоянии смятения (“Я не умоляю о конце моих несчастий...”), но пытается оградить себя от новых посягательств (“Не усугубляйте моего жалкого ничтожества...”) и пытается успокоить его уязвленное самолюбие и разыгравшуюся страстность (“Я и впредь буду делать для Вас, что в моих силах... — Прекланно думать о Вас”). Главный модус письма, по Мишле, — ужас от того, что случилось: “Это хуже, чем дурно”.

Оба этих объяснения убедительны в равной степени, но и исключают друг друга. Таким образом, именно особенности письма, допускающего неоднозначное прочтение, создали ту смысловую амбивалентность и неочерченность эпизода во времени, которые связывают этот казус со многими вероятностями и придают ему мифологические черты.

В заключение следует отметить, что критерии, на основании которых историческая биография может стать жанром научного исследования, до сих пор не выработаны. Выделение казуального, частного в жизни исторического лица не всегда ведет к получению однозначных выводов. Нам так и не удалось убедиться в том, что казус инцеста Маргариты с Франциском — историческая достоверность. Можно ли доверять казусу, если он так легко уводит историка в область мифологического? Иными словами, плодотворно ли рассмотрение исторического казуса для извлечения новых знаний об исторических объектах? На примере любопытного казуса королевы Маргариты можно не только разобраться в том, как возникают и живут версии некоторых событий в истории, но и открыть новые особенности характера и творчества неординарной француженки XVI в. Следовательно, даже изучение такого “сомнительного” случая может дать свои результаты. Но при условии, что он будет рассматриваться как частный феномен, а историческая реальность — не как линейная последовательность событий, а как сеть взаимоисключающих возможностей. Д. Мило в статье “За экспериментальную или веселую историю” пишет о применении остранения и игрового компонента в истории, о многократном возвращении к гипотезе на разных уровнях, одним словом, об историческом эксперименте, который не всегда дает прямой результат, но часто помогает получить новые ориентиры и выявляет научную парадигму. Результаты эксперимента не всегда можно прогнозировать. Главное — “установить правила оценки достоверности событий”. Казус — это и есть исторический эксперимент, и доверять ему можно настолько, насколько можно доверять эксперименту в науке вообще.

Примечания

- ¹ Перевод письма выполнен по: *Nouvelles lettres de la Reine de Navarre adressées au Roi François Ier, son frère / Par F. Genin P. 1842. P. 4.*
- ² О дискуссии по поводу казуса инцеста см. подробно у П. Журда: *Jourda P. Marguerite d'Angoulême. Genève, 1978. Vol. 1. P. 66–64.* Говоря об этой дискуссии, Журда упоминает имена 12 историков. Мы сознательно останавливаемся на трех основных участниках этой дискуссии: на Франсуа Женене, который первый открыл этот казус; Жюле Мишле, который привлек внимание к этой версии; Пьере Журда, который суммирует подходы к проблеме, существующие в XX в. Эти три историка — выразители крайних точек зрения, поэтому позволяют очертить общую картину.
- ³ Б. Кастильоне в “Придворном” пишет о Франциске Ангулемском следующее: “Он в высшей степени любил словесность... Великое чудо то, что в столь нежном возрасте, только по природному инстинкту, вопреки нравам страны, сам себя повернул на такой благой путь” (Цит. по: *Баткин Л.М. Леонардо да Винчи. М., 1990. С. 156.*)
- ⁴ З.В. Гуковская, комментатор академического издания “Гептамерона”, считает, что в основу одного из эпизодов 10-й новеллы положен случай из жизни Франциска, хотя имена и место действия в новелле изменены. В 1516 г., вскоре после битвы при Мариньяно, мадемуазель де Валон, девушка из города Маноска, сожгла себе лицо кислотой, чтобы избавиться от домогательств Франциска (*Маргарита Наваррская. Гептамерон. М., 1967. С. 401.*)
- ⁵ Луиза Савойская добилась своего и довела дело до конца, устранив опасного свидетеля своего злоупотребления. Общественное мнение все-таки было на стороне Самблансе. Его считали несправедливо осужденным и невинно пострадавшим. Вот эпиграмма Маро “Судья и Самблансе”:
- Когда Майар, палач наш, в Монфокон
Вел Самблансе на смертные страдания,
Скажите, кто по виду угнетен
Был более? Скажу без колебания:
Майар казался шедшим на закланье,
А старец Самблансе так бодро шел,
Что мнилось: в Монфокон для наказания
Он палача Майара вешать вел.
- (*Маро К. Судья и Самблансе // Зарубежная литература. Эпоха Возрождения. М., 1976. С. 463–464.*)
- ⁶ Маргарита начала называть себя “миньонной” по почину Франциска. В издании писем Женена (*Nouvelles lettres de la Reine de Navarre...*) каждое второе письмо, начиная с марта 1526 г., подписано: “Vostre minionne”. “Миньон” или “миньона” — в придворной субординации XV в. — любимец или любимица влиятельной особы, пользующиеся безграничным доверием. “Миньоны” одевались в точно такое же платье, что и их господин либо госпожа. Они всегда были неотлучно рядом, разделяли с ними не только трапезу, но и ложе. Маргарита играла с общепринятым значением слова. Только вот что она подразумевала — безграничное доверие или общее ложе?
- ⁷ Письмо цит. по: *Herminijard. Correspondance des réformateurs dans les pays de langue française. P., 1866. Vol. 7. P. 66.*
- ⁸ “Диалог в форме ночного видения” (1523 г.) — первая опубликованная поэма Маргариты. Маро иронически отзываясь о ее стихотворных опытах: “Настолько дивный дар стихосложения дан грациями госпоже моей, что я сержусь, дивясь ему при чтенье, на то, что не дивлюсь еще сильнее...” (*Маро К. О сочинениях Маргариты Наваррской. // Европейские поэты Возрождения. М., 1974. С. 299.*)
- ⁹ Цит. по: *Nouvelles lettres de la Reine de Navarre... P. 21.*
- ¹⁰ Эти сведения приводит Ив Ле Ир, комментатор и издатель критического текста “Гептамерона”: *Le Hir Y. Marguerite de Navarre. Nouvelles. Texte critique établi et présenté par Yves Le Hir // Université de Grenoble. Publication de la faculté des lettres et sciences humaines. P., 1967. № 44. P. 213.*
- ¹¹ *Маргарита Наваррская. Гептамерон. М., 1993. С. 223.*

- 12 Мемуарист круга Маргариты Пьер Брантом описывает этот случай в своих мемуарах. Его мать была фрейлиной Маргариты и стала прототипом одной из рассказчиц "Гептамерона" (Энасютты), его отец тоже изображен там под именем Симонто. Информации Брантома, следовательно, можно доверять. См.: *Brantôme P. de Burdeille. Oeuvres complètes*. P., 1822. Vol. 2; *Vies des hommes illustrés et grands capitaines français*. P. 123
- 13 *Бахтин М.М.* Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М.М. Работы 20-х годов. Киев, 1994. С. 91.
- 14 *Nouvelles lettres de la Reine de Navarre...* P. 33.
- 15 *Барт Р.* Фрагменты любовной речи // Комментарий. 1995. № 6. С. 40.
- 16 Дискуссия об аутентичности писем Элоизы к Абеляру — исторический казус того же характера, что и рассматриваемый нами. Любопытно, что начались они почти одновременно. Иоганн Каспар Орелли в 1841 г., годом раньше выхода публикации Женена, опубликовал пять писем Элоизы и Абеляра, "Историю моих бедствий" и комментарии к ним. В предисловии он выдвинул гипотезу о том, что автором пяти писем был неизвестный монах, современник Элоизы и Абеляра. Подробно об этой дискуссии можно прочесть у Э.Жильсона (*Gilson E. Heloise and Abelard*. Ann Arbor, 1953. P. 198–204) и у Л.М. Баткина (Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и его культурное опосредование // Человек и культура. М., 1990. С. 160).
- 17 *Nouvelles lettres de la Reine de Navarre...* P. 4.
- 18 Herminjard. № 103.
- 19 Эти новеллы имеют ярко выраженную антиклерикальную направленность. См., например, новеллу 5, которая повествует о том, как двое монахов на переправе в Кулоне напали на лодчицу; новеллу 22, в которой речь идет о том, какие несчастья обрушились на голову молодой монахини, сестры поэта Антуана Эрое, за то, что она отказала попечителю своего монастыря; новеллу 23 — о том, как целая семья погибла из-за того, что ее глава слишком сильно доверял странствующим проповедникам; новеллу 31 — о том, как монах похитил жену одного дворянина.
- 20 Е.М. Мелетинский, рассматривая историю жанра новеллы, связывает происхождение последней с волшебной сказкой, анекдотом, фавбли и ехемпла (*Мелетинский Е.М.* Историческая поэтика новеллы. М., 1990. С. 19–28).
- 21 Формальные критерии мифа об инцесте выделены в статье Г.А. Левинтона (*Левинтон Г.А.* Инцест // Мифы народов мира. М., 1990. Т. 1. С. 545–546).
- 22 *Мишле Ж.* История Франции. Реформа. Спб., 1889. С. 83, 86.
- 23 *Вебер М.* "Объективность" социально-научного и социально-политического познания // Избранные произведения. М., 1990. С. 390.
- 24 Споры о главном. М., 1993. С. 165.
- 25 *Маро К.* Маргарите Наваррской // Европейские поэты Возрождения. С. 299.
- 26 Цит. по: *Nouvelles lettres de la Reine de Navarre...* P. 21.
- 27 *Мило Д.* За экспериментальную, или веселую, историю // THESIS. 1994. № 5. С. 187.

А.А. Котомина



размышления

Еще раз о микроистории*

В 70-е годы к использованию микроанализа в итальянской историографии оказалась причастной целая группа исследователей. Их объединяла прежде всего общность подходов. История понималась ими как научная практика, основывающаяся на некоторых общих требованиях и преследующая в основном аналитические цели. Такое понимание противопоставлялось риторической концепции истории (близкой к истории-синтезу). Именно такая историографическая традиция сложилась в Италии, где долгое время господствовали идеологии, основанные на идеализме и политическом дуализме.

В известном смысле микроанализ вписывается в более широкий процесс развития европейской историографии, результатом которого стало так называемое раздробление истории, возникновение “истории в осколках”. Применение микроанализа, таким образом, полностью противоречит тому, чего ожидали от синтезного подхода к истории. Этот последний выступал как некая объединяющая парадигма и полностью соответствовал риторическому определению историка как интерпретатора вековых изменений человеческого общества (включая и современную динамику развития). При этом в истолковании данных процессов не учитывалась роль специалистов по другим социальным наукам и признанных властителей дум из национальных исторических школ.

Новый подход заключался в выборе особого масштаба анализа. Крупный масштаб исследования, взятый за основу, самым решительным образом покончил с историей-синтезом и тем спровоцировал возмущение в рядах научной корпорации. Спе-

* Первая публикация статьи: *Quaderni storici*. 1994. № 86. P. 539–549; французский перевод: *Revel J. Jeux d'Échelles*. P., 1996. P. 233–243 (переводчик J. Revel). Русский перевод публикуется с любезного разрешения автора статьи, а также Ж. Ревеля и Г. Медика; последний подготавливает к выпуску коллективный труд “*Micro-histoire. Neue Pfade in die Sozialgeschichte*”, для которого была первоначально написана статья Э. Гренди.

циалисты по микроистории сразу же, против собственной воли, превратились в некую обособленную группу и оставались такой вплоть до своего институционального раскола, а может быть, и после него. И это тем более удивительно, что этим ученым не было свойственно единство мнений по многим вопросам (как теоретического, так и практического характера), которое дало бы им чувство принадлежности к одной школе, на самом деле никогда не существовавшей. Вот почему так трудно обнаружить какие бы то ни было “основополагающие тексты” по микроистории и теоретического, и конкретно-исторического характера.

Микроисторический дискурс, неформально существовавший уже с середины 1970-х годов, полностью вписался по своей тематике в развитие итальянской историографии, в которой он сложился. Он лишь прояснил существовавшее в ней положение вещей, новаторски изменив масштаб исследования. Новый подход в большей степени, чем какой-либо иной, помог историкам по-настоящему опереться в своей работе на опыт социальной антропологии, позаставать ее приемы, которые позволяют отойти от традиционных категорий, используемых в работах по глобальной истории — государства, рынка, социальной стратификации, семьи. Выбор, в самом общем виде, межличностных отношений в качестве основного предмета анализа повлек за собой решительную смену масштаба исследования.

Возможно, мало кто знает, что английский специалист по локальной истории У.Г. Хоскинс некогда уже задумывался о термине “микроистория” (microhistory), прежде чем отказаться от нее, как и от всех прочих исторических парадигм. Но в его представлении объектом микроисторического исследования должно было стать некое сообщество людей, вписанное в географические и экономические рамки, что, собственно, представляет собой отличительную черту всей английской локальной истории. Конкретизация внимания в микроистории на социальных отношениях, как на незыблемом приоритете исследования, перекликается с тем, что К. Фитиан-Адамс, размышляя именно над английской локальной историей, определял как такую “социологическую точку зрения”, которая должна открыть новую, постклассическую перспективу в историографическом опыте. Само собой разумеется, что наиболее соответствующий современным вкусам аспект микроистории перекликается с так называемой “историей, увиденной снизу”, т. е. с методом, столь часто вспоминаемым в последние годы, который отправляется от анализа имеющегося у человека имени собственного и доходит до воссоздания его жизненного опыта. Эпизод, казус — более богатый по содержанию, чем сама описывающая его в юридических или иных терминах хроника, — проектируется на весь историко-культурный контекст. И в этом отношении он ценен по крайней мере с двух точек зрения. Во-первых, он может слу-

жить иллюстрацией частной историографической проблемы (например, отношений высокой и низкой культур). Во-вторых, он может освещать культуру эпохи в целом (а не только культуру какой-нибудь одной социальной группы). Я могу назвать здесь в качестве примера работу К. Гинзбурга “Сыр и черви”, опубликованную в 1976 г., который выработал тогда собственный способ исследования.

Анализировать исторические казусы можно, конечно, по-разному, например, сопоставляя отдельные стороны жизни и опыта определенной социальной группы, для того чтобы реконструировать ее историко-институциональное существование. Кроме того, для микроанализа социального контекста (в отличие от анализа культурного контекста у Гинзбурга) существуют иные действенные варианты исследовательских процедур. Они предполагают реконструкцию круга общения и сетей взаимоотношений, а также выявление специфических индивидуальных или коллективных предпочтений людей. Отсюда — двоякое использование термина “стратегия”, имеющего, с одной стороны, совершенно рациональный смысл, и с другой — обозначающий такой тип поведения, который классическая историография допускала лишь для элиты общества. В любом случае речь идет о логически обоснованном признании примата межличностных отношений. И именно здесь использование приемов социальной антропологии могло бы быть наиболее продуктивным. Подобный выбор особого социального поля (чем, собственно, и отличается микроисторическое исследование) делает его объектом решительной критики со стороны приверженцев истории-синтеза, ставящих во главу угла репрезентативность изучаемого казуса.

Таким образом, становится сразу ясно, что микроисторический анализ предполагал по крайней мере два направления исследования — “социальное” и “культурное” (даже если разница между ними оставалась неясной). Не случайно во введении к специальному номеру “Quaderni storici”, посвященному “семье и социальной группе”, мы находим следующее замечание (с. 891): «Общество, к которому принадлежит Меноккио (мельник из работы Гинзбурга “Сыр и черви”), добрый десяток друзей и знакомых, которых он упоминает в своих показаниях, отсылает нас к целой сети взаимоотношений, которые следовало бы узнать получше, чтобы яснее представить себе приключения самого героя». В общем исследование заключается в отборе единичных, исключительных казусов в противовес обычным и повседневному действиям индивида, что и позволяет сузить познавательную область историка.

Нужно сказать, что противопоставление, отмеченное только что между “социальным” и “культурным” направлениями в микроисторических исследованиях, до некоторой степени усилилось благодаря мощному влиянию культурной антропологии. Эта последняя, понимаемая как антропология символическая

5

6

и интерпретационная, подчинила себе большую часть современной историографии. Однако следует признать, что микроисторический подход, изначально созданный для нужд социальной антропологии, открыл путь для самых разнообразных исследовательских возможностей. Какой отклик, к примеру, получили давние предположения Карла Полянного, его экономический субстантивизм, который, между тем, явился важной вехой в микроисторических работах! Без сомнения, можно назвать исследования по рынку земли Дж. Леви, прямо предложившего проверять структуру общества структурой обмена. Но нужно помнить, что эти работы остались практически невостребованными. Такие исторические сюжеты, как место рынка, существование независимых друг от друга кругов обмена, специфическое применение денежных средств и т.д., не были подвергнуты дальнейшему изучению. Конечно, за это время экономическая история пережила определенный упадок. Но нужно помнить и то, что подобные сюжеты всегда оставались для нее второстепенными, если не учитывать их важности с точки зрения институциональной истории.

Переход от проблем производства и обмена к сюжетам, связанным с языком и представлениями, является, возможно, решающим моментом в историографии последнего десятилетия. И в этом смысле можно считать знаменательным тот факт, что микроисторический подход оказался наиболее действенным в политической истории. Здесь повлияли также давние споры в итальянской историографии и дискуссия о формировании государства. Кроме того, ссылки на антропологические понятия (такие, как “клиентелла”, “файда”, “посредники”) использовались в работах по политической истории в некотором смысле более гибко, они в меньшей степени требовали строгой системы доказательств; соответственно микроисторический анализ шире применялся преимущественно по отношению к отдельным общинам. Многие молодые специалисты по микроистории использовали в своей работе весьма модную в то время модель изучения феноменов коммуникации, делая целью своих исследований реконструкцию “политических парадигм”, понимаемых как результат взаимодействия местных культурных традиций и попыток их регулирования судебными инстанциями. Локальные конфликты и связанные с ними действия центральной власти послужили основой для создания замечательных собраний источников. Эти коллекции позволяли прояснить местные порядки, границы того или иного конфликта и их изменения; они содержали и другие свидетельства, которые могли, конечно, дополняться и за счет такого простого и ясного документа, как хроника, которая в данном контексте могла служить непосредственным источником сведений о символических ценностях.

Как мы уже говорили, микроисторические исследования по политической истории полностью противопоставлялись этно-

центрическому видению развития государства, каким его понимала история-синтез. Но в выпуске “Quaderni storici”, посвященном “политическим парадигмам”, присутствует формулировка, требующая комментария, — “социальная практика”. Существует некая социальная и политическая практика поведения групп людей, ритуальная по своему характеру и, именно по этой причине, имеющая отношение исключительно к местной культуре. Эта практика представляет собой некий способ общения, одну из форм всеобщего языка.

10

Я хотел бы остановиться подробнее на быстром распространении этого понятия, его обобщении и, наконец, на его возможной связи с микроанализом в истории. Сначала термин “практика”, возможно, ассоциировался с историей техники (в рамках истории труда), пытавшейся реконструировать эффективные трудовые навыки, т. е. именно “практику”. И не случайно этот термин появился сначала у тех историков, которые одновременно развили и замечательные способности к наблюдению, и язык, подходящий для такого рода исследований по социальной истории. Очевидно, что изучение отдельных культурных черт или форм составляет изначально лишь пунктирную линию будущего исследования. Сделать его полноценным означает включить подобные реалии в более общий контекст классифицирующего типа. Однако они могут составить и предмет локального, частного исследования, предмет микроанализа. Это подходит для изучения как крестьянской, так и ремесленной социальной практики. И в том, и в другом случае исследователь может сослаться на опыт определенной группы или сообщества. Такая постановка вопроса явно противостоит некоторым подходам аграрной истории или сельской географии: топографическая реконструкция оказывается способом придать критике более тонкий характер. Кроме того, нужно отметить, что в исследовании подобного типа, нередко объединяющем археологический и исторический анализ конкретной “местности”, приоритетным при восстановлении контекста оказывается изучение социальных отношений...

11

Я уже подчеркивал содержательную глубину понятия “социальная практика”. В хаосе различных данных о повседневности (полицейских, юридических) почти всегда содержатся намеки, позволяющие выявить следы или логику коллективной практики, удивительная устойчивость символики которой в данном контексте позволяет понять и ее культурный смысл. А потому упоминание “обычая” не только выявляет наиболее традиционную юридическую практику (в том виде, в котором она была записана и осмыслена), но и раскрывает культурные ценности церемониала, тесно связанные с политической жизнью общества (и не только с ней). Совершенно очевидно, что намеченная здесь перспектива весьма отличается от той, в которую вписывается методологический индивидуализм, исходящий лишь

из межличностных отношений (сетей взаимоотношений, взаимных противоречий, взаимного посредничества и т. д.). Мы остаемся в любом случае в рамках “антропологического подхода”: реконструкция культуры происходит через исследование разнообразной социальной практики. В результате становится возможным понять, например, формы выражения территориального соперничества (через исследование борьбы вокруг границ); различные формы владения имуществом; формы, в которых выражаются одновременно и “принадлежность” человека к некоей территории, и территориальные микрokonфликты. Заслуживает специального внимания то обстоятельство, до какой степени эти имплицитно выраженные формы действия, устанавливающие схемы поведения и ценностные ориентиры, принимаемые обществом (вот откуда возникает потребность не сводить “культурное” к “ментальному”!), напрямую связаны с данным пространством, данным местом, данной территорией, т. е. с теми реалиями, которыми столь часто пренебрегают в исторической традиции. Мне представляется вполне очевидным тот факт, что этот подход неотделим от восприятия инаковости, неповторимости всякого исторического опыта, от подхода к прошлому как к иной, “другой” стране, т. е. от всего того, что только и может гарантировать корректность исследовательской практики.

В то же время полезно отметить существование разных перспектив. С одной стороны, воссоздание трудовой практики, которое часто отправляется от конкретных объектов, выступает как типично реалистическая операция, игнорирующая их символическое прочтение, столь модное в последнее время; она и сама по себе может добавить немало важного. С другой стороны, реконструкция иных социальных практик, отправляющаяся от письменных свидетельств, напротив, предполагает их символическое прочтение, необходимое и для интерпретации реальных условий. Я считаю, что это противоречие может быть одним из выражений оксиморонного сочетания “исключительное/нормальное”. Документальное свидетельство может быть исключительным именно потому, что оно имеет в виду некую ненормальную, обычную ситуацию, некую реальность, которая представляется столь обычной, что ее чаще всего не замечают. Но достаточно часто встречаются также социальные практики, сверх хорошо документированные. Этот подход не очень отличается от того, при котором используется в историческом плане фольклорный материал, освобожденный от той экзотичности, которая мешает ему быть вставленным в соответствующий контекст социальных отношений. Если такой подход и подразумевает под собой историю, “увиденную снизу” (вспомним работу Э.Р. Томпсона и известный сюжет “продажи жены” (wife sale), нельзя отрицать, что принятие во внимание подобной социальной практики может быть представлено как специфический результат микроанализа. И мы, без сомнения, должны признать,

что, сосредоточиваясь на литературных источниках, исходящих из среды какой-либо определенной социальной группы, мы можем прийти к результатам, вполне схожим с микроисторическими. К примеру, Каролин В.Байнум отнюдь не обнаружила каких-то особенных источников для своего исследования — она, однако, сумела по-новому прочитать хорошо известные документы. 14

Все сказанное может прояснить и мою точку зрения на сущность микроанализа — он представляет собой определенный тип “итальянского подхода” к социальной истории, более глубоко разработанный, лучше обоснованный теоретически и включенный в особый контекст. Этот контекст, закрытый для социальных наук, подчиняется исторической ортодоксии со свойственной ей жесткой иерархией важности исследуемых объектов.

В своей недавней статье К. Гинзбург, как мне кажется, подтвердил данный мною анализ его “увлечения” микроисторией. Для него она представляет простой указатель рабочего замысла, некую формулу, встреченную им в процессе работы, которая ему понравилась и находилась в полном соответствии с его собственным направлением исследования, но которой, при всем при этом, не следовало придавать решающего значения. Видение микроистории, предложенное Дж. Леви, весьма отлично от точки зрения Гинзбурга и приобретает личный оттенок, когда он упоминает о своей “научной биографии” — судьбе историка-экспериментатора по призванию, не связанного одним-единственным сюжетом. А К. Пони, чьи интересы всегда касались именно тех сюжетов, о которых я только что говорил (в том числе размышлений на тему о разных социальных практиках), предпочел аналогичным образом расширить подход к сюжетам, характерным для экономической истории, например к проблеме сеньориальных сельскохозяйственных операций или протоиндустрии. Все это еще раз свидетельствует о гетерогенности и глубоко неформальном характере группы микроисториков. 15 16 17

Можем ли мы, хотя бы в самом общем виде, выявить влияние микроистории на страницах журнала “Quaderni storici”, в частности, в наиболее успешный для него период — между 1976 и 1983 г.? Нельзя ли предположить, что именно микроистория помогла по-новому политически интерпретировать, например, систему благотворительности в доиндустриальной Европе, представив ее как взаимовыгодные отношения между благотворителями и их подопечными? (Как отмечалось мною по данному поводу, “исследуемые казусы могут рассматриваться как примеры межличностных отношений в сфере благотворительности, которые были необходимым условием и самой реальностью института милосердия”.) Не подтолкнул ли микроисторический анализ к пересмотру весьма двойственного понятия “народная религиозность”, направив историков на исследование целого ряда совершенно частных казусов (“народных религиозных представлений”), выявивших “исключительное разнообразие социальных отноше- 18

ний между господствовавшими и подчиненными классами, существовавших в Европе при Старом порядке в сфере религии”? Не вдохновила ли микроистория некоторых историков-женщин — чаще всего не получавших до этого голоса в журналах — на изучение истории женщины, давшее целый ряд исследований, посвященных казусам соблазнения, беременности, родов, ухода за младенцем, кормления грудью, т. е. моментам, наиболее политически и символически значимым с точки зрения контроля мужчин за женской сексуальностью и за той “опасностью”, которую женщины могли представлять для мужского сообщества? Число примеров легко умножить. Но вряд ли это нужно и прежде всего потому, что мы напрасно пытались бы отыскать в их основе единый источник вдохновения — особенно, как было уже сказано, при отсутствии ясно выраженной общей парадигмы или общей исследовательской модели.

Напротив, стоит подчеркнуть изначально двойственный характер микроисторического анализа. С одной стороны, он предполагает специальное внимание к теоретической стороне исторического исследования (по аналогии с действующими схемами, заимствованными из социальной антропологии) и, следовательно, к качеству доказательств. С другой стороны, микроанализ связан с подходами и методами, выработанными для иных контекстов и менее связанными с микроаналитической спецификой. Впрочем, не приходится отрицать аналитическую ценность “иллюстративных эпизодов” и “случайных казусов”, нельзя забывать их связь с некими иными матрицами и иными историографическими парадигмами. Эта двойственность не помешала, конечно же, диалектической практике взаимных заимствований и обменов. Да и выше мы уже говорили о том, что изначальный выбор между социальной и культурной контекстуализациями остается относительно абстрактным и делает отчасти возможным переход впоследствии из одной в другую.

Влияние смешанного характера микроанализа ощущается (чему, безусловно, можно только радоваться) и во втором начинании микроисториков — в книжной серии “Микроистория”, вышедшей в издательстве Эйнауди. Она насчитывает сегодня уже 22 наименования и представляет собой редкий, если не уникальный, пример в итальянском книгоиздании. Научный план серии полностью контролировался тремя специалистами-историками, и она почти всегда может предложить своим читателям оригинальное исследование. Обычно речь идет о небольших по объему работах, в центре внимания которых находится частный сюжет: биография монахини или молодого художника; индустриальное развитие или социополитическая динамика в какой-нибудь конкретной области; уголовное дело; карьера экзорциста; карнавальная государственная праздники и т.д. Здесь важно неявное приглашение к более широкому видению истории, свободному от традиционных сюжетов и старой иерархии

приоритетов. Оно основано на примерах, имеющих иллюстративную ценность и способных заинтересовать самую разнообразную публику, а не только специалистов. Такое понимание истории, безусловно, новое для Италии, и оно убедило историков этой страны, что микроисторический подход предполагает выбор трудного и предъявляющего очень большие требования пути познания, совсем не похожего на привычное быстрое “воссоздание прошлого”.

Как я уже говорил, микроисторический метод вписывается в общеевропейскую историографическую тенденцию. Мы привыкли слишком часто констатировать отставание итальянской исторической науки именно в тех областях знания, в которых за пределами страны постоянно что-то изменяется и развивается. Но подобным жалобам теперь может быть положен конец. Выбор и стратегия исторического исследования видится ныне свободными начиная уже с выбора специфического метода анализа. И это освобождение от идеологических и академических традиций и ритуалов придало итальянскому опыту микроисторических исследований особую значимость.

Понятно, что нет смысла ожидать появления похожих друг на друга работ. Само название “Микроистория” сыграло роль своеобразного катализатора, призывая исследователей к тематике, определяющейся конкретными обстоятельствами и казуальными рамками, обстоятельствами, которые обуславливали бы разные масштабы наблюдения. Возможно, такая характеристика покажется редукционистской, но мне представляется необходимым напомнить весьма скромное определение, данное в самом начале этой “школы”, которая на самом деле никогда школой не была, не издала ни единого манифеста и не наметила какой-либо общей программы исследований.

Нельзя, конечно, сводить все заслуги микроанализа только к решительному изменению объектов изучения — не менее важные изменения, коснувшиеся исследовательских процедур. Во введении к антологии микроисторических работ, опубликованной американским историком Эд. Мюиром в соавторстве с Дж. Руджеро, предлагается своего рода восславление Карло Гинзбурга как историка и теоретика: в нем, как мне кажется, видят олицетворение “специфической культурологической микроистории”. Теоретические и методологические подходы Гинзбурга (со свойственными его работам внутренней напряженностью и суггестивностью) всегда представлялись мне теснейшим образом связанными с особым характером его исследований, целиком связанными от исторической и историографической проблематики “культурных форм”. Нам же предлагают безоговорочно согласиться с тем, что в этих исследованиях содержится целостный образчик анализа, выполненного автором в полном согласии с самим собой и с готовностью раскрыть собственную лабораторию. В противоположность этому я не думаю, что

Гинзбург был внутренне нацелен на раскрытие опосредующих связей с “социальными” и с “межличностными отношениями”: его дискурс оставался внутри экспрессивных форм, внутри многоплановых соотношений между официальной и народной культурами, внутри аналитических реконструкций взаимоотношений между этими формами культуры и теми, которые в них вновь возникали.

24 Одна из наиболее заметных тенденций современной историографии заключается в интересе, который она проявляет к формам выражения и массовым представлениям. Крайней версией этого направления является рассмотрение источника лишь как “текста”, а исторической реальности лишь как иллюзии. Мы не смогли бы защитить себя от этого крайнего релятивизма, если бы игнорировали известные нам экспрессивные формы и не давали бы им исторической интерпретации. Однако я думаю, что лучшей защитой исторической реальности было бы включение анализа этих экспрессивных форм в общий анализ социальных процессов, развитие и проявления которых являются важнейшими аспектами исторической действительности: образ не может быть лишь порождением иного образа; он связан также с ситуацией, которую одновременно отображает и организует. Историк может найти и проверить интерпретационные схемы, на основе которых эти социальные процессы могут стать понятными. И он добьется лучших результатов, если сможет опереться на традиции социальных наук, кодифицируя, адаптируя и даже изобретая различные способы анализа, но не рассматривая, тем не менее, ни один из них как единственный и исключительный. По этому поводу среди итальянских микроисториков не было противоречий. И это обстоятельство важно не потому, что оно свидетельствует о некоей общепринятой ортодоксии, но потому, что могло бы способствовать плодотворным дискуссиям. В конечном же счете поразительно то, что явный с самого начала двойственный характер истоков итальянской микроистории не получил прояснения и не вызвал ни малейшей дискуссии. Как это часто случается, именно отказ от открытой полемики может объяснить, почему это коллективное начинание пришло к своему концу.

Но, к счастью, здесь не идет речь ни о новом переосмыслении микроистории, ни об отбрасывании чего бы то ни было. Обратиться “еще раз к микроистории” означает сегодня понять ее историю. И в этой связи я полагаю недостаточным свести ее просто к одному из направлений мировой историографии, имея в виду ее итальянскую специфику и судьбы итальянских микроисториков. В конечном счете мне представляется совершенно очевидным, что микроисторические исследования сегодня — один из самых жизнеспособных и плодотворных методов анализа. Выбор именно этого масштаба исследования в качестве главного основан на убеждении историков в том, что он обогатит

наше знание исторических процессов с помощью радикального обновления понятийных категорий и их экспериментальной проверки. Нет сомнения, что микроисторики имеют многочисленных собратьев во всем мире, которых мы еще не знаем. Для итальянских историков определяющим стал бы переход от теории к практике, основанной на сильной теоретической базе. В этой сфере дискуссия может быть продолжена, поскольку история становится социальной наукой, которая создается во времени и пространстве.

Примечания

- 1 Напомню, что в статьях Б. Фаролфи в журнале "Quaderni storici" уже давно был сформулирован именно такой взгляд на итальянскую историографию.
- 2 *Hoskins W.G.* English Local History: the Past and the Future. An Inaugural Lecture Delivered in the University of Leicester, 3 March 1966. Leicester, 1966.
- 3 *Phythian-Adams C.* Re-thinking English Local History. Leicester, 1987.
- 4 *Ginzburg C., Poni C.* Il nome et il come. Mercato storiografico e scambio disuguale // *Quaderni storici*. 1979. № 40. P. 181–190; статья опубликована также в кн.: *Muir E., Ruggero G.* Microhistory and the Lost People of Europe. Baltimore, 1991 (частичный перевод: *La microhistoire // Le Débat*. 1981. № 17. P. 133–136).
- 5 *Pomata G.* Madri illegittimi fra Ottocento e Novecento: storie cliniche e storie di vita // *Quaderni storici*. 1980. № 44. P. 497–542.
- 6 *Quaderni storici*. 1976. № 33.
- 7 *Levi G.* L'eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento. Torino, 1986.
- 8 Я имею в виду особенно работы Ревеля, Макрая и др.
- 9 *Conflitti locali e idiomi politici / Ed. S. Lombardi, O. Raggio, A. Torre*. № sp. // *Quaderni storici*. 1986. № 63.
- 10 См. мою статью в том же номере: *La pratica dei confini: Mioglia contro Sassello, 1715–1745 // Ibid.* P. 811–845.
- 11 *Moreno D.* Storia e archeologia forestale. Una premessa // *Boschi: storia e archeologia / Ed. D. Moreno, P. Piusi, O. Rackham*. № sp. // *Ibid.* 1982. № 49. P. 7–15. См. также: *Poni C.* Fossi e cavedagne benedicon le campagne. Bologne, 1982, особенно гл. 1.
- 12 Этот оксиморон, сформулированный мною в статье "Micro-analisi e storia sociale" (*Quaderni storici*. 1977. № 35. P. 506–520), был, безусловно, переоценен в последующей историографии.
- 13 *Thompson E.P.* Customs in Common. Studies in Traditional Popular Culture. L., 1991.
- 14 *Bynum C.W.* Holy Feast and Holy Fast. The Religious Significance of Food to Medieval Women. Berkley, 1987.
- 15 *Ginzburg C.* Microstoria: due e tre cose che so di lei // *Quaderni storici*. 1994. № 86. P. 511–539.
- 16 *Levi G.* On Microhistory // *New Perspectives on Historical Writing / Ed. P. Burke*. Oxford, 1992. P. 93–113.
- 17 *Poni C.* Aziende agrarie e microstoria // *Quaderni storici*. 1978. № 39. P. 801–805.
- 18 *Sistemi e carita. Esposti e internati nelle società di antico regime / Ed. E. Grendi* № sp. // *Ibid.* 1983. № 53.
- 19 *Religioni delle classi popolari / Ed. C. Ginzburg* № sp. // *Ibid.* 1979. № 41.
- 20 *Parto e maternita. Momenti della biografia femminile / Ed. L. Accati, V. Maher, G. Pomata*. № sp. // *Ibid.* 1980. № 44. Многие статьи из этого журнала были переизданы в книге: *Muir E., Ruggero G.* Sex and Gender in Historian Perspective. John Hopkins University Press, 1990.

- ²¹ Можно привести в пример Дж. Леви с его концепцией “модальной биографии”. Он использует иллюстративные эпизоды и единичный казус в доказательном дискурсе (L’eredità immateriale...).
- ²² В первые же годы своего существования серия потеряла автономность, “растворившись” в другой (Paperbacks Einaudi), а затем и вовсе была ликвидирована.
- ²³ См. примеч. 4. Эта антология содержит в основном работы К. Гинзбурга. Можно только посмеяться над решительным выводом ее авторов: из того обстоятельства, что наиболее известные в США итальянские историки (Умберто Эко и Карло Гинзбург) работают в университете Болоньи, они заключают, что и микроистория впервые родилась именно в Болонье!
- ²⁴ О спорах вокруг постмодернизма в истории см. журнал “Past and Present”. 1991. № 131 и 133.

Э. Гренди
(Пер. с фр. и сверка
с итальянским оригиналом
О.И. Тогоевой)

Споры о “Казусе”

23 сентября 1996 г. в Институте всеобщей истории РАН состоялась дискуссия о казуальном подходе в истории, в основу которой легла публикуемая выше статья Ю.Л. Бессмертного «Что за “Казус”». Материалы этого обсуждения приводятся здесь в сокращенном виде. Они включают две части: вопросы участников дискуссии и ответы на них; критические высказывания и соображения по их поводу.

Вопросы

П.Ш. Габдрахманов (ИВИ). Во вводной статье к альманаху сделан упор на то, что отличает различные направления в рамках микроистории от макроанализа, т. е. на том общем, что их объединяет; в меньшей мере показаны различия этих направлений и то, что отличает подход, предлагаемый в “Казусе”. Чем этот подход выигрышен, в чем его большая эффективность по сравнению с другими методами микроистории? Насколько работа, проделанная авторами альманаха, оказалась результативна?

О.А. Кривцун (Институт искусствознания). Не перерастает ли изучение казусов в рамках микроистории в макроисторию? С одной стороны, казус – вспышка, которая отличается своеобразием данного индивида. А с другой стороны, эта вспышка часто тянет за собой какой-то свет и порождает некое ментальное облако, внутри которого подобные вспышки “прожевываются”. Возникает их стереотипность. Нельзя ли говорить в этом смысле, что, с одной стороны, то, что мы оцениваем как казус, так или иначе провоцирует другой казус. И в итоге происходит возникновение некоей ментальной “облачности”, в которой уже сумма этих казусов складывается как некая формульность... Хотим мы того или не хотим, но мы опять выходим на методы макроистории. Можно ли провести границу между микро- и макроисторией?

Г.С. Черткова (ИВИ). У меня создалось впечатление, что Ю.Л. связывает проявление индивидуальности в истории почти исключительно с девиантным поведением. Я согласна с этим в том плане, что действительно именно в случаях девиантного поведения наиболее ярко выявляется грань частного и публично-го. И вполне понимаю, что история средневековья предоставляет материал, касающийся частной жизни исключительно в случаях девиантного поведения. Но в другие эпохи не менее ярко может проявляться индивидуальность в выборе между линиями “конформного”, условно говоря, поведения. (Я нарочно говорю “конформное”, я не хочу говорить “конформистское”, потому что, как мне кажется, понятие “конформизм” предполагает сознательное приспособление к требованиям общества.) Речь же идет о другом — ведь есть масса индивидов, которым данное общество вполне “по мерке” и которые, тем не менее, несомненно являются индивидуальностями, и для них проблема выбора индивидуальной стратегии тоже важна и интересна. Как следует относиться к этой стороне проблемы?

Как, когда и почему частный казус превращается в Казус с большой буквы? Взять к примеру нашумевшее дело об ожерелье, о котором пишет Л.А. Пименова. По существу это — факт уголовной хроники, начиналось все с казуса частной жизни. Ловкая авантюристка вознамерилась приобрести состояние, используя исключительные обстоятельства и благоприятный случай. Разумеется, по характеру вовлеченных в него лиц это дело было “обречено” на определенную общественную известность. Но сложилась ситуация, придавшая ему совершенно безумную огласку, на которую никто из участников не рассчитывал. Конечно, только в воспаленном уме некоторых французских романистов это дело может изображаться причиной Французской революции. Однако нельзя не признать, что оно внесло свой вклад в атмосферу подготовки революции, стало фактом общественной жизни, вошло в историю, сыграло большую роль, если хотите, в дискредитации династии. Если разбираться, почему это произошло, то, казалось бы, в той обстановке кризиса такое дело не могло не сыграть подобную роль. Но пройдет всего лет 30, и снова Франция окажется в тяжелейшем кризисе, когда иностранные войска вторглись на ее территорию, и на штыках привозится из-за рубежа династия, не желанная большинству населения страны. И вот в этой обстановке тоже возникает громкое уголовное дело, так называемое “дело Мобрея”. Оно в Историю с большой буквы не вошло. Между тем по всем своим параметрам, по именам и характеру участвовавших лиц, по размаху оно, казалось бы, обречено было стать вторым “делом об ожерелье”. Кризис в стране в высшей степени к тому располагал, скандал общественный несомненно возник, тем не менее это дело Делом с большой буквы не стало.

В конце правления Бурбонов, года за два до Июльской революции, это дело вновь всплыло. И несмотря на, казалось бы,

кризис династии, опять-таки ничего особенного не произошло. Проходят еще два десятка лет, и в 1847 г. возникает уже совершенно уголовное дело: в семье герцога Муазеля-Пралена, по вполне личному поводу, происходит бурная ссора, в результате которой герцог случайно убивает жену. Сугубо уголовный, частный случай, не представляющий в общем особого общественного интереса, несмотря на высокое положение герцога и герцогини. Но что же происходит? Вокруг этого “уголовно-светского” скандала возникает общественное потрясение, которое историки революции 1848 г. сравнивают по результатам с “делом об ожерелье”, говоря, что это дело сыграло огромную роль в дискредитации режима и дало определенный толчок событиям. Почему в одном случае казус превращается в Казус с большой буквы, а в другом — нет?

Еще вопрос: Вы действительно думаете, что можно сказать о каком-нибудь подходе к изучению прошлого, тем более таком подходе, как сериальная история, что он — умер и его песня спета, если в сегодняшней ситуации фокус сместился с него на другие подходы?

Л.П. Репина (ИВИ). Как соотносится изучение конкретных “форм согласия” и изучение “соглашений” в рамках подхода современных французских анналистов? Другой вопрос. Разрешается ли в альманахе упоминаемый во вводной статье вопрос об изменениях в самом индивиде? Третий вопрос: в чем различие микроистории и локальной истории с точки зрения современных французских историков?

О.Е. Кошелева (Академия педагогических наук). В тексте дается историографический обзор итальянской, французской и немецкой школ. Почему ничего не говорится об англоязычной историографии микроистории? Каковы положительные или отрицательные стороны этой школы? Второй вопрос: не является ли название “казус” неким эвфемизмом понятия “скандал”?

Г.М. Тушина (Москва). Если казус — не скандал, то в чем принципиальное отличие казуса от “исторического события”? Является ли “казус” элементом, частью события, соотносясь с ним как часть и целое?

О.И. Тогоева (ИВИ). Не следует ли различать казусы, произошедшие с известными людьми, и казусы, произошедшие с людьми рядовыми? Не есть ли это разные типы казусов, которые могут иметь разное историческое значение? Какие из них важнее? Что лучше: изучать какие-то неизвестные моменты из жизни знаменитых людей или выискивать казусы, связанные с совсем неизвестными людьми? (Ведь тот же Менюккио не был известен, пока до него не добрался Гинцбург.) Не о разных ли индивидах мы пишем, когда касаемся, с одной стороны, очень ярких личностей, с другой — совершенно рядовых, неизвестных людей?

Е.М. Михина (ИВИ). Следует ли различать как явления разного порядка казусы, которые превратились в таковые в созна-

нии современников и получили резонанс (Казус с большой буквы), и казусы, которые современниками замечены не были, но которые историк, зная ход последующих событий, может счесть принадлежащими к определенной тенденции (о чем мог не догадываться “автор” казуса)? Можно ли сказать, что вся историческая ткань образована микроказусами, сплетена из них, причем все герои таких микроказусов не похожи друг на друга, по-разному воспринимают действительность?

Ответы на вопросы

Прежде всего — *о соотношении макро и микро*. Я отнюдь не считаю, что макроистория и в частности сериальная история вовсе умирает. Уходит в прошлое лишь та версия сериальной истории, которая целиком фокусировалась на объектном анализе общих закономерностей и “тотальных” структур. Сыграв в прошлом свою роль в науке, сериальная история имеет и будущее, но в той мере, в какой удастся найти способ соединить ее с субъектной историей единичного и массового. Изживает себя лишь та, еще не так давно считавшаяся “образцовой”, форма макроистории, в которой прошлое мыслилось только как история масс.

Несколько сложнее вопрос *о соотношении индивидуального, единичного и нестандартного*. Соглашусь, что индивидуальное поведение может изучаться и через анализ случаев, в которых человек выбирает между разными вариантами принятых норм. Но наиболее показательны все-таки казусы, в которых персонаж избирает вовсе не апробированный до сих пор вариант поведения. Это может быть поведение, пренебрегающее нормами или, наоборот, абсолютизирующее их (и потому шокирующее окружающих попыткой воплотить недостижимые для большинства идеалы). В таких случаях виднее, *что может* человек данной группы в данное время и в данной конкретной ситуации; этот тип казусов показательнее для решения нашей сверхзадачи — осмысления возможностей отдельного человека на разных этапах исторического прошлого.

По поводу типов казусов и общей специфики нашего казуального подхода. В одной из статей альманаха специально исследуется казус как скандал. Но это отнюдь не единственный и даже не самый важный для нас вариант казуса. Мы рассматриваем и казус как конфуз; казус как некое неординарное событие; как случай, выявляющий характерную социальную тенденцию; как случай своего рода, девиантного поведения конкретного человека.

По отношению к каждому типу казусов нужен не вполне совпадающий набор исследовательских приемов. Но есть у всех

прежнему лишь в малой степени может влиять на простирающийся вокруг него мир?..

Мне кажется, этот вопрос беспокоит сегодня довольно многих. Неудивительно, что приобретает особую актуальность и проблема роли отдельного человека в разные периоды прошлого. В каких пределах обладал он свободой воли, насколько мог противостоять групповым стереотипам и общему “ходу вещей”? Исследование этих аспектов я уже называл нашей сверхзадачей. Стремление наметить подступы к ее анализу придает своеобразие всем нашим общим и частным этюдам. Оно же определяет их отличие от казуальных исследований других историков, как отечественных, так и зарубежных. К тому же, в отличие от наших предшественников, мы стараемся изучать именно *действия и поступки* людей прошлого, а не то, насколько в их *сознании* присутствовали черты, роднившие их с Индивидами и Личностями. Нам хотелось бы понять, насколько люди прошлого – даже не обрета достоинств Индивида или Личности – были в разные времена способны на нестандартное (девиантное) поведение в самых различных, в том числе и обычных, повседневных ситуациях.

Есть ли у нашего коллектива уже сегодня какие-то достижения на этом пути? Читателю альманаха известно, что весь он сконцентрирован как раз на действиях и поступках людей прошлого. Это позволяет, во всяком случае, привлечь внимание к поиску путей решения наших главных проблем. Как отмечено во вводной статье, главное, что мы стремимся конкретно изучить, это – как в разные времена индивидуальный опыт взаимодействовал с принятыми стереотипами. Эта особенность нашего подхода, хотя и не “уникальна”, но, на мой взгляд, достаточно существенна.

Отдельный вопрос: *как частный казус превращается в новую норму*, в Казус с большой буквы? Этот сюжет уже рассматривался в недавно изданном нашим коллективом труде “Человек в кругу семьи”. Как показала в нем, в частности, И.С. Свенцицкая, такому превращению могла способствовать общая ломка стереотипов в данном обществе, сопровождавшаяся массовой профанацией господствовавших идеалов. Говоря более общо, я бы назвал два ключевых момента, повлиявших на возможность превращения девиантного казуса в распространенную норму: 1) специфика и содержание девиантного поведения; 2) характер “социального контекста”.

Об отличии микроистории от традиционной локальной истории. С точки зрения Б. Лепти, первая – в противоположность второй – “антифункционалистская”. Здесь нужно заметить, что на практике полного отказа от функционалистского объяснения прошлого у французских коллег, по-моему, не получается. На мой взгляд, огульное отрицание функционализма в историческом объяснении вообще мало плодотворно.

О различиях между “формами согласия” (formes d'accord) и “соглашениями” (les conventions). Оба эти понятия — из лексики социологов Л. Больтански и Л. Тевено, пользующихся заметным влиянием в современной французской историографии. Схематично я бы охарактеризовал соотношение этих понятий следующим образом. В любой “прагматической ситуации” между действующими в ней лицами может быть достигнуто некоторое взаимоприемлемое согласие по волнующим их социальным вопросам. Оно может быть оформлено в соглашении, устанавливающем то, что обеим сторонам представляется справедливым, оправдывающим их готовность на согласованное поведение: тем самым конфликтная ситуация оказывается преодоленной в рамках непосредственного взаимодействия самих астеури и вне вмешательства каких бы то ни было третьих сил.

О проблеме изменений в статусе индивида в ходе взаимодействия его личного опыта с массовыми стереотипами. Пока что можно говорить лишь о сугубо предварительных наметках к рассмотрению этого важного вопроса. А priori ясно, что во всех случаях нестандартных решений астеури в той или иной мере переходит от полной подчиненности стереотипным нормам к “своеравному” поведению. Не поможет ли исследование конкретики девиантных казусов уяснению того, насколько — в разных обстоятельствах — меняется при этом тип индивидуальности (и меняется ли)?..

Об англо-американской микроистории. Ее специфика нуждается в дополнительной проработке. Требуется специального анализа полемика французских и итальянских историков против микроисторических подходов Клифорда Гирца и так называемой символической антропологии. Оправдан уже начатый у нас анализ современной англо-американской просопографической историографии (“биографической” или “персональной”). Своеобразие микроанализа, используемого в этой историографии, на мой взгляд, пока не совсем уяснено.

О соотношении “казуса” и “события”. Определяющим здесь выступает избранный исследователем ракурс анализа. Можно, например, рассматривать в качестве казуса такое событие, как Бувинское сражение 1214 г. В то же время можно было бы вычленить в этом событии ряд отдельных казусов, каждый из которых заслуживает специального внимания.

О казусах с людьми великими и малыми. Своеобразие казуса зависит не от того, с кем он произошел, а от его внутреннего смысла: казус в жизни великого человека вполне может оказаться в рамках нашего исследовательского подхода менее интересным — если, например, он вписывается в поведенческий стандарт, — чем необычный казус с рядовым персонажем.

Обсуждение

М.А. Бойцов (МГУ). История, “доносимая” до читателя с помощью казусов (как и при посредстве биографий или описания отдельных особо ярких или же попросту характерных событий и ситуаций) — это в основе своей та же самая история, что при желании описывается и в общих, совершенно надындивидуальных категориях типа “исторические закономерности”, “объективные процессы” и пр. Но это же и история, увиденная в ином растре, а значит иначе воспринимаемая и предполагающая несколько иную роль исторического знания в обществе.

Недоверие к социологизирующей истории в наших условиях вполне понятно как естественная оскоми́на после многолетнего навязывания социологизированной теории в качестве единственного способа интерпретации прошлого. Однако дело вряд ли сводится только к конкретной ситуации в нашем историческом сознании. Рост привлекательности, так сказать, “казуального” (от “казус” в обсуждаемом смысле) способа писания истории ясно заметен и на Западе. Это совершенно не обязательно радостно приветствовать, но необходимо констатировать. Характерное “мельчание” исторической картины, как представляется, не мода, не настроение и не случайность. Мне видится здесь отражение состояния не только исторического знания, а общества в целом — в отличие от прошлых десятилетий и даже веков в нем уже нет более “великих” идей.

Еще раз подчеркну: говоря об отсутствии идей, я менее всего склонен упрекать нынешних историков за недостаток творческой фантазии и слабость их интеллектуальных усилий — напротив, никогда историки не проявляли столько изощренной изобретательности, как в последние десятилетия. Правда, ни одно из сделанных ими маленьких открытий не создало новую “большую” идею, которая была бы в состоянии сколько-нибудь интегрировать наш образ прошлого — он продолжает дробиться, если угодно, “казуализироваться”. Хорошо ли это или плохо — разговор особый.

Нам прекрасно известны “великие идеи” прошлого, которые создавали в обществе относительно целостную картину мира, а значит и истории. Это прежде всего идея религиозная, национальная (или национально-государственная) и, условно говоря, “идея социальной справедливости”. Каждая из них была не просто красивой теорией — она обладала сотерическими функциями, обещала обществу спасения, и общество с надеждой шло за порождавшимися в нем этими великими идеями иллюзиями. Великие общественные идеи действовали на историков как магнитное поле на металлические стружки, и под более или менее свободными перьями знатоков минувшего возникала очередная вполне целостная и в очередной раз весьма убедительная в этой целостности картина прошлого. Когда магнитное поле отсутствует, металлические опилки “указывают” не на по-

люс, а в самые разные стороны. Между тем за последние десятилетия все великие общественные идеи, похоже, повыветрились — на время или насовсем сказать трудно. И рост индивидуальной свободы, ослабление зависимости личности от общества тут, похоже, одна из главных причин. Даже самые массовые из идей современности, вроде идеи экологической или феминистской, не в состоянии оказать серьезное интегрирующее влияние на нашу картину прошлого.

Повышенное внимание к уникальному, индивидуальному и случайному в истории — это прямое следствие умирания (или погружения до поры в анабиоз?) великих идей в европейских, новоевропейских (Америка и проч.) и полуевропейских (мы) обществах. Конечно, в случае, например, вторжения инопланетян, наше историческое сознание сразу же приобретет куда большую целостность, но пока что даже о подготовке такого вторжения еще ничего не слышно. Концепция альманаха “Казус” предполагает, как представляется, помимо прочего, ведение прямого и честного разговора об неинтегрированности, более того, подробности нашего образа прошлого, современного исторического сознания, с которыми, собственно, и предстоит жить нынешнему поколению. Что же до “казусов”, т. е. осколков исторической реальности, которыми нам более всего интересно любоваться в нынешнюю пору, то у них при всей пестроте есть, как, похоже, следует из обсуждаемого доклада, одна общая черта. Их объединяет между собой тот высказанный или же немой вопрос, с которым их рассматривает историк, и вопрос этот относится к степени самостоятельности, которую может позволить себе исторический индивид в тех или иных заданных ему исторических обстоятельствах. Я бы с легкостью назвал этот подход либеральным и вписал бы его (как и все продуктивное направление, объединенное девизом “человек в истории”) в логику развития послевоенного общества и его исторического сознания. Несколько мешает сделать это лишь ощущение присутствия в его подтексте одного вопроса, который нельзя отнести ни к актуальным, ни даже к “великим”, но стоит провести по категории вечных — это вопрос о свободе воли (или же, в иной формулировке: о границах этой свободы).

Е.М. Михина. Менястораживают высказывания о том, что, мол, у каждого человека должно быть право выбора. Это звучит как-то “идеологически”. Слово “каждый” меня здесь смущает. Если действительно — “каждый”, то о чем вообще разговор? Самое интересное для меня — если не каждый и не всегда, вот тогда и казус появляется. Я так понимаю, что каждый и всегда осуществляет свое право выбора только тем, что создает свою картину мира, по-своему все воспринимая. Это что-то вроде фиги в кармане, которую мы все имеем. Неужели эта фига в кармане является сама по себе казусом? Я думаю, что, если она как-то обнаружена, тогда это — казус.

О.А. Кривцун. Хотелось бы сказать несколько слов о том, как колебания между микроисторией и макроисторией проявляются в истории искусства. Долгое время критерием профессионализма в искусствознании было умение исходить вдоль и поперек ту эпоху, которой ты занимаешься, и максимально описать и уделить внимание частному, отдельному, детальному, нюансам и характерам. Потом, начиная с 80-х годов, под влиянием истории ментальностей, произошел резкий поворот в изучении истории художественного сознания. Стали строить и учебные курсы (в том числе эстетику) как синтетическую историю искусств, как эволюцию типов художественного видения. В итоге получаются очень часто вещи скучные, схематичные — именно синтетические. Если просто выявлять общие признаки художественного сознания, история искусств оказывается как бы “выпаренной”. В самом деле, сопряжение микро и макро, наверное, оптимальный вариант...

Если продолжать аналогии с историей искусств, то вся она состоит из казусов. Но в истории искусств все-таки наибольший интерес заметен к тем “казусам”, которые оказываются подхваченными последующими поколениями в развитии культуры. Есть казусы, которые оставляют след, бросают “тень”, и такие, которые проходят бесследно. Чтобы произведение искусства состоялось, оно должно вытекать именно из казуса. Мне вспоминается, как Ахматова критиковала какие-то стихи Пастернака; она писала, что эти стихи недостаточно “бесстыдны”, чтобы быть большим искусством, в них слишком много общих мест, какая-то схематичность. А искусство нуждается в глубокой интимности, только в этом залог того, что оно обретет надличное состояние. Сопряженность этих полюсов мне кажется здесь очень интересной. И когда мы говорим о жизни отдельно и жизнь как “анархию”. Там, где жизнь, — творчество, там, по моему, казус тоже вписывается в некую траекторию, он является порождением внутренней логики данного жизненного пути. В то же время казус может быть одним из элементов жизни как анархии. Ю.Л. делает акцент на самоценность казуса, который позволяет нам максимально полно воссоздать силуэты существовавших в прошлом людей. То есть делается акцент на стереоскопичность. Но природа казуса такова, что предполагаемая казусом стереоскопичность временами перетекает в стереотипичность, и, я думаю, эти вещи взаимосвязаны.

Л.П. Репина. Не могу согласиться с тем, что “казус” всегда выражает нечто “известное сравнительно хорошо”. В последнее время мы как раз говорим в основном о малоизвестных вещах. Хотя в нашем материале есть и очень известные казусы, но, как здесь уже было сказано, речь нередко идет и о совершенно неизвестных случаях с неизвестными людьми и о неизвестных казусах с известными людьми. Не согласна я и с тем, что в отда-

ленном прошлом нам трудно обнаружить нечто уникальное и неординарное. Скорее наоборот, в источниках оставляют след в первую очередь неординарные казусы.

Г.С. Черткова. Мне показалось, что та сверхзадача, которую сформулировал Ю.Л., исключительно важна для нас всех. Это — как единичное вписывается в общее, как оно с ним взаимодействует. И очень важный аспект проблемы затронула Е.М. Михина. По существу, это — роль маленького человека в истории. Может ли простой, рядовой человек что-либо сделать в истории? Когда мы говорим о роли личности в истории, мы обычно имеем в виду выдающуюся личность. Но в какой мере каждый из нас может повлиять на историю? Мне кажутся интересными несколько аспектов. Здесь приводилось известное высказывание о том, что человек на три четверти детерминирован, и высказывалась мысль, что изучение отдельных казусов может опровергнуть это. Должна сказать, что я не прихожу в ужас от мысли, что я на три четверти детерминирована, остается одна четверть — и это очень немало. Еще не всякий может эту четверть задействовать. Кроме того, эти три четверти детерминированы не у всех одинаково, они у каждого состоят из детерминаций разного типа. Общество создает много разных детерминант. И в каждом человеке эти детерминации сочетаются по-своему. Это оставляет большой простор для самовыражения, для, если позволите так сказать, детерминированной недетерминированности.

К тому же каждый человек живет как бы в двух историях: в большой, глобальной истории и в своей малой, личной истории. И эту его малую историю общество, конечно, тоже детерминирует, но он творит ее в гораздо большей степени, чем глобальную. И, творя ее, он осуществляет себя как личность и выходит в большую историю. В семинаре по исторической антропологии у нас когда-то делала доклад исследовательница Мелик-Гайказян, которая занимается синергетикой. Доклад ее вызвал у многих несколько критическое отношение. А сейчас я, слушая все, что здесь говорится, стала почему-то вспоминать некоторые основные положения синергетики. Ведь собственно говоря, если очень грубо, очень примитивно изложить то, к чему сводится эта теория применительно к истории, то она говорит, что по существу история на очень большом отрезке детерминирована, но в каких-то местах — в точках бифуркации — нет. В этих точках бифуркации система приходит в неравновесное состояние. И тут очень большую роль играют всевозможные случайности. Когда система уже выведена из состояния равновесия, она может измениться (хотя необязательно) и снова приобрести состояние равновесия, детерминированности. Означает ли это, что за исключением каких-то кратких периодов все детерминировано? Казалось бы, да. Но когда автора этой теории синергетики нобелевского лауреата И. Пригожина спросили, так ли это, он сказал примерно следующее: “Так-то оно так, но

весь фокус в том, что никто не знает, когда наступает точка бифуркации. Это становится ясно только задним числом”.

Иными словами, мы действуем и живем, не зная, не попадают ли наши действия именно в точку бифуркации. То есть, видимо, человек должен жить так, как будто бы он всегда живет в момент бифуркации, когда у каждого из нас есть шанс воздействовать на большую историю. Как часть массы, мы всегда творим большую историю. Это фактор объективный, и от этого никуда не уйдешь; но у каждого из нас есть шанс творить ее и в качестве личности, хотя мы об этом обычно не знаем и в каждый конкретный момент не догадываемся.

П.Ш. Габдрахманов. Мне показалось, что в обсуждаемой статье говорится очень немного о каких-то конкретных проявлениях дихотомии макро- и микроистории. А между тем, в этом — корень и существо обсуждаемой проблемы. Я со своей стороны мог бы предложить по крайней мере две дихотомии, которые характеризуют более общую дихотомию между макро и микро. Первую дихотомию я бы условно определил как дихотомию между “свободой воли” и “предопределением”. Мне кажется не менее важной, чем дихотомия структур и индивида, другая дихотомия, а именно: что заставляет совершенно разных людей действовать в одинаковой ситуации примерно одинаково. Вторая дихотомия — дихотомия между индивидуальностью выбора и его типичностью, между единичным и общим. Ведь каждый, делая тот или иной выбор, ощущает его как собственный, индивидуальный, исходящий из личного опыта. А на поверку получается, что этот сугубо индивидуальный выбор оказывается более или менее типичным и характерным для многих людей. Как объяснить эти дихотомии?

По-моему, в поисках ответов на эти конкретные вопросы заключается путь, по которому мы должны идти, решая проблему макро и микро. Кроме того, мне представляется чрезвычайно важным видеть пределы предлагаемого метода микроистории. Попытка объяснить с его помощью всё и вся мне кажется такой же неверной, как и попытка объяснить все в истории с помощью каких-то надличностных, надиндивидуальных, надчеловеческих структур.

Я бы позволил себе несколько метафор, аналогий, хотя каждое сравнение, конечно, хромает. Смешно, мне казалось бы, с помощью микроскопа пытаться изучить океан. Конечно, можно взять пробу воды и под микроскопом изучить строение капли, какие микроорганизмы в ней существуют, сделать ее химический анализ. Можно взять миллион проб, как следовало бы действовать, исходя из логики сторонников прагматического поворота. Они предлагают: давайте мы изучим совокупность конкретных судеб, объединим их — и вот перед нами история, конкретно осязаемая. Но я думаю, что, возвращаясь к аналогии с океаном, в этом случае мы получим не более чем ведро воды, состоящее из капель, взятых из разных частей океана и имеющих разный химический состав и разную мик-

рофлору. Но не более того, потому что изучение океана предполагает не только микроанализ, но и макроанализ и массу других разных вещей. И очень хорошо, что мы понимаем это, очень хорошо, что Ю.Л. говорит о сплаве микро- и макроистории, а не о всеобъемлющем характере и всеохватности только микроподхода.

Но я бы сказал больше. Наверное, нам не нужно утрачивать в наших дальнейших исследованиях общую перспективу некоего целостного “механизма”, часть которого мы собираемся изучать в каком-то совершенно новом масштабе. Мне сегодня все время вспоминается “Декамерон” Боккаччо. Он ведь начинается с описания чумы в городе, и затем происходит казус, может быть и литературный, но вполне могущий быть историческим казусом — когда группа юношей и девушек уединяется в поисках спасения от чумы и начинает рассказывать друг другу истории. Но до этого описание чумы дает нам целый веер различного рода казусов — реакцию людей на ситуацию чумы. Кто-то бежит из города, кто-то пытается помочь ближнему, кто-то пытается изолироваться в этом городе, либо происходит “пир во время чумы”. То есть имеет место целый веер различного рода казусов. А результат, как вам известно, был один: смертность превысила 50%.

Думаю, что в казусах не нужно видеть некую панацею, единственный способ, который может нас вывести на изучение “исторической ткани”. Эпидемии, как известно, сходят на нет в новое время в связи с развитием санитарии и медицины. И они, конечно, не спускаются к нам с небес на землю, они являются результатом целенаправленной деятельности людей, прежде всего их производственной деятельности. Как ни пахнет от этого марксизмом, но ход моих рассуждений все же выводит меня на это соображение. Без этого мы теряем некий стержень в истории. В заключение я бы хотел задать еще один, может быть риторический, вопрос. Ю.Л. говорил сегодня о стремлении с помощью микроистории сделать прошлое более осязаемым. Но разве исследователь сериальной истории, макроисторик, обнаруживший зависимость между динамикой цен на хлеб и динамикой смертности, не ощущает себя прикоснувшимся, осязаемо прикоснувшимся, к исторической ткани? И это несмотря на то, что он занимается, казалось бы, самыми общими вещами, а о личностях, об индивидах, о казусах и не заговаривает.

Заключительное слово Ю.Л. Бессмертного

Остановлюсь только на соображениях, нуждающихся, на мой взгляд, в комментариях. Прежде всего о *производственной деятельности как главном “стержне”*... А кто собственно отрицает,

что “без труда не вынуть и рыбку из пруда”? Я и сам не один десяток лет изучал, как средневековые крестьяне пахали землю, собирали урожай и обеспечивали возможность для жизни самим себе и всем другим. Вполне допускаю, что в будущем — и может быть даже не столь отдаленном — вновь возродится научный интерес к производственной сфере, утраченный историками в последние десятилетия. Вопрос не в том, изучать производство или нет. Задача, на мой взгляд, в поиске новых подходов к его исследованию, подходов, которые бы не сводили все лишь к анализу обезличенной массовой деятельности или ее материальных результатов. И в числе таких перспективных подходов мне видится и казуальный анализ.

Поясню мою мысль. Конечно, немаловажно исследовать и динамику цен, и ее связь с динамикой смертности, и величину урожайности, и номенклатуру выращиваемых продуктов, и многое-многое подобное. Но ведь для историка все эти сюжеты — не самоцель. Они интересуют его в конечном счете постольку, поскольку помогают понять людей прошлого, их облик, их своеобразие, их уникальность. Поэтому рассматривая действия людей в производственной сфере, мы не можем не интересоваться в первую очередь выбором их решений, мотивами их поступков, тем, как они сами понимали свою производственную деятельность, как к ней относились, насколько стандартно вели себя в ней, в какой мере (и насколько успешно) пытались ее перестроить и т. д. Мне кажется бесспорным, что в поисках ответов на эти вопросы пригодится и анализ отдельных казусов, причем заимствуемых как из собственно производственной сферы (например, анализ отдельных попыток экономических нововведений, или, скажем, несоблюдения *pretium iustum*, или же неизвестных раньше приемов труда и т. п.), так и извне ее: ведь общий облик человека так или иначе сказывался на его поведении везде и всюду.

Конечно же единичные казусы — это не “панацея”, но, тем не менее, *познавательное значение казуального подхода* достаточно велико. И на нем стоит остановиться подробнее. Смысл изучения отдельных казусов вовсе не в том, чтобы уподобить их “миллиону проб вод”, а затем “объединить”. Идя этим путем, мы не получим никакой “конкретно осязаемой” истории. Образ “пробы воды” нельзя даже отдаленно уподобить исследованию разных персонажей истории: ни в какие времена своеобразие отдельных людей не было соизмеримо с вариациями в “пробах воды”; даже самые похожие люди никогда не сливаются, подобно каплям воды, в какой бы то ни было океан.

Однако дело далеко не только в этом. Там, где удастся с достаточной полнотой осмыслить заботы, чаяния и приоритеты отдельных действовавших в прошлом лиц, историк получает, на мой взгляд, редкостную возможность максимально приблизиться к главному предмету своих изысканий — человеку других

эпох. В подобных случаях открывается самое заветное в прошлом, а средостение, извечно отделяющее историка от изучаемых им героев, становится наименее непрозрачным. И даже если исследователю открываются при этом всего лишь один-два субъекта из отдаленного прошлого, осмысление их образов дает колоссально много для понимания всего их мира. Это — как телескоп, позволивший рассмотреть пусть лишь одно живое существо на далекой планете. Конечно же, на той планете могут быть и совсем другие “гуманоиды”. Но даже рассмотрев лишь одного из них, мы уже совершили бы гигантский прорыв в познании другой жизни (включая, между прочим, и познание ее производственной стороны).

Объясняется это тем, что стержнем любого сообщества одухотворенных существ выступает его культурная уникальность. *Именно ее важно постичь как в мирах иных, так и в каждой из эпох прошлого.* Поэтому одна из важнейших задач исторического познания — в том, чтобы осмыслить конституирующие элементы культурного универсума прошлого, включая, естественно, в первую очередь своеобразие восприятия и поведения людей и их психофизические, ментальные, когнитивные и иные особенности. Если казуальный анализ позволяет сделать это по отношению хотя бы к отдельным людям той или иной эпохи, он уже оправдывает себя и может считаться одним из перспективных инструментов историка.

Теперь снова *о свободе воли.* Я с большим интересом слежу за работами И. Пригожина и за изысканиями других специалистов по синергетике. Их наблюдения, по-моему, лишь подтверждают недостаточность формулы Лейбница. Ведь если никто не знает, насколько данное состояние общества близко к неравновесному и к точке бифуркации, то, соответственно, никто не может предсказать, не явятся ли девиантные действия отдельного человека — будь-то президента страны или бомжа — тем критическим импульсом, который приведет к обвалу существующей общественной структуры. Отсюда естественный интерес к возможности девиантных решений в разные времена, возможности, которую может прояснить как раз анализ отдельных казусов.

Далее. *О природе казуса как предмета познания.* С какого момента и при каких обстоятельствах казус становится объектом, заслуживающим специального рассмотрения? Можно ли говорить о возникновении познавательно важного казуса там, где возможностью индивидуального выбора обладает “каждый”? Вряд ли нужно говорить, что возможность девиантного поведения — не то же самое, что и ее реализация. Но в некоторых сферах таковая возможность настолько широка, что почти предопределяет повсеместную необходимость индивидуальных решений. Это относится, например, к частной жизни, в которой каждому человеку приходится ежечасно делать выбор и прини-

мать решения, касающиеся его взаимоотношений с близкими*.
(В этой сфере стереотипы неспособны предусмотреть все многообразие конкретных ситуаций.) Во всяком случае, широта возможностей для выбора решений отнюдь не исключает их индивидуальности и, следовательно, не исключает возникновения казусов, заслуживающих специального внимания.

Однако познавательное своеобразие казусов создается, конечно, не их всеобщностью, но, наоборот, их своеобразностью или уникальностью. С познавательной точки зрения важно констатировать не только то, что в некоем обществе, как выразилась Е.М. Михина, каждый человек “держит фигу в кармане”. Такая “позиция фигуры” может рассматриваться как атрибут какого-то группового стереотипа и представлять определенный интерес лишь в плане изучения такого стереотипа. На мой взгляд, не менее, если не более важно выяснить, в каких ситуациях тот или иной конкретный персонаж почему-то перестает держать свою фигу в привычном месте и начинает ею как-то “манипулировать”. Не проясняет ли анализ таких “операций” и смысл фигуры, и своеобразие данного персонажа, и его взаимоотношения с окружающими, и даже облик данной группы в целом? Да извинят мне этот “фигурный” лексикон! Я использовал его лишь потому, что хотел

* Когда этот текст находился в наборе, в № 12 журнала “Родина” за 1996 г. была опубликована беседа с четырьмя историками, в том числе со мной, о “возможных подходах к исследованию частной жизни в России”. К сожалению, ни печатный вариант этой беседы в целом, ни звучащие от моего имени высказывания не были согласованы со мной до выхода журнала в свет. Между тем некоторые из утверждений моих коллег вызывают у меня категорическое несогласие, не нашедшее отражения в публикации. Неточно переданы и отдельные из моих собственных соображений. В первую очередь должен возразить против заголовка публикации — «Стоит ли копаться в “грязном белье?»» — и соответствующих этому заголовку высказываний отдельных участников беседы. На мой взгляд, история частной сферы способна, среди прочего, высветить едва ли не самое светлое в духовном опыте человечества — заботу о близких, материнские и отцовские чувства, историю любви и дружбы, явления взаимопомощи и самопожертвования, внутренний мир человека и др. Допустимо ли, имея в виду изучение подобных сюжетов, использовать понятие “копание в грязном белье”? Можно ли приравнивать анализ частной сферы к “подглядыванию в замочную скважину” и к действиям, идущим вразрез с “элементарной стыдливостью”?

В необоснованности подобных подозрений читатель мог бы убедиться, познакомившись с уже упоминавшимся выше коллективным трудом “Человек в кругу семьи. Очерки по истории частной жизни в Европе до начала нового времени” (М., 1996). Наблюдения и выводы авторов этого труда отличают не интерес к “клубничке”, но поиск новых подходов к пониманию взаимодействия общества и индивида, к раскрытию роли отдельного человека в преобразовании культурных стереотипов. Я убежден, что научная актуальность истории частной жизни связана в первую очередь не с “досужим любопытством” (это высказывание бесосновательно приписывается мне в упомянутой журнальной публикации), но с неотвратимым стремлением современного общества к самопознанию, стремлением, составляющим одну из конститутивных черт современного человека. Без осмысления истории частной сферы такое самопознание поистине невозможно. Ведь и производственная, и политическая деятельность людей — не самоцель, она призвана в конечном счете лишь обеспечить им необходимые условия повседневного существования, включая едва ли не в первую очередь благоприятные условия частной жизни в кругу близких.

на предложенном моим оппонентом примере показать, что анализ отдельных казусов представляет самостоятельное по сравнению со сферой ментальных стереотипов исследовательское поле и как таковой заслуживает специального внимания.

Наконец, о поднятой М.А. Бойцовым *проблеме истоков казуального подхода* в современной историографии. Нетрудно заметить близость общих подходов М.А. Бойцова к тем, которые формулировал сегодня и я. Это и сделало возможной нашу совместную работу над альманахом “Казус”. Мне хотелось бы не столько спорить с соображениями моего соредатора, сколько несколько развить их, отмечая попутно те высказывания, которые я предпочел бы сформулировать по-другому.

Освобождение истории от сотерических функций – великое благо для нашей науки: оно снимает с нее груз непосильных задач и позволяет историкам выполнять свой профессиональный долг без оглядки на идеологические императивы. Выполнение профессионального долга становится от этого не менее, но лишь более ответственным делом. Речь идет не только о верности ремеслу историка и соблюдении всех норм исторического познания. Ведь сверхзадача исторического познания остается прежней: наше самопознание. Чтобы остаться ей верной, историк, как и прежде, *volens-nolens*, вживается в чаяния и интересы своих современников, стремясь найти ответы на волнующие их вопросы.

Если говорить о дне сегодняшнем, то в данном случае обнаруживается потребность в обсуждении, в частности, свободы воли отдельного человека, или же, в иной формулировке, “границ этой свободы” (т. е. вопроса, который, по справедливому суждению М.А. Бойцова, относится к числу “вечных” для историков). В ходе такого обсуждения и по мере преодоления телеологических представлений о ходе истории как раз и возникла потребность глубже осмыслить роль непредвиденного, случайного, уникального. Вместо навязчивого стремления “угадать”, насколько те или иные действующие лица истории выражали “закономерные тенденции” общественного развития, историк, естественно, переносит центр тяжести в своем анализе на многосмысленность каждого мгновения прошлого, на неповторимое своеобразие каждого доступного его наблюдению персонажа, на специфическую констелляцию сложившихся обстоятельств, на непредсказуемые последствия индивидуального выбора любого *acteur*.

Степень самостоятельности, “которую может себе позволить” тот или иной исторический персонаж в заданных ему исторических условиях, была, разумеется, далеко не тождественной. Но сосредоточиваясь на действиях отдельных *acteurs*, исследователь казусов не столь, на мой взгляд, “мельчит” (по выражению М.А. Бойцова) историческую картину, сколько осмысливает ее в “другом растре”, ничуть не уступающем, как мне

кажется, по своему познавательному пафосу былой истории надындивидуальных категорий.

Я вообще не уверен в плодотворности разделения идей, присутствующих в общественном сознании, на “великие” (по терминологии М.А. Бойцова) и не обладающие этим свойством. Не важнее ли их соотношение со спонтанными чаяниями людей данной эпохи? А с этой точки зрения поворот к отдельным человеческим судьбам, к их роли в различных жизненных ситуациях и вообще “к уникальному, индивидуальному и случайному в истории” можно, как мне кажется, рассматривать не как “прямое следствие умирания великих идей”, но лишь как результат их переосмысления в духе времени. В казуальном повороте мне видится поэтому свидетельство сосредоточения на подлинно стержневых для сегодняшнего дня аспектах миропонимания, на болевых точках нашего общественного сознания.